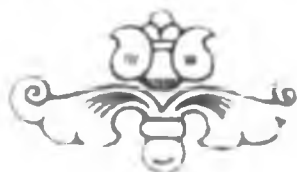




МЕСЯЦЕСЛОВ



СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСК
1979



ЯНВАРЬ-КЫША ЗИМЫ



НЕГ глубокий и податлив:
оступись с тропки-дорожки — и накроют с головой белые волны, не выплыть...

Пышным инеем, мерзлой нависью в дугу черемухи гнет, березняк-подрост вершинами в сугробы

клонит. Воспринимаешь согбенные деревца как шлагбаумы. Опушены, закрывают они доступ в чащу.

Но ударить лыжной палкой — и вверх взмоют шлагбау-

мы: проходи. Словно расступятся березки: из плена снежного нас вызволил — проходи!

Да что сейчас в лесу делать? Стужа, безмолвие. По следам разве пробежаться?

На взгорке в бурьяне сорока скакала, семена клевала. Сорила, мусорила — и чирк по снегу крыльями, на взлете чирк длинным хвостом.

Лоси, широко шагая, перебрали просеку. Один о пень почесался, рогом его ткнул бодливо, отметив свежей царапиной. Второй, спутника поджидая, в ивняке стоял, с копыта на копыто переминался.

Куница снег испятнала, делая взад-вперед пробежки. Что, греешься — в шубейке, да зябко?

Следы, следы. Зима не лето, на встречи надежд мало. Единственно следы говорят о жизни лесной, потаенной...

Январь — по старинному присловью «крыша зимы». Иногда его «шапкой» зовут. Метко сказано — «шапка»! На большее, чем шапочное знакомство с жизнью хвойных трущоб, скрытными их обитателями, не рассчитывай, если впервые топчешь таежные тропы. Холод — птице не летать; вьюга — зверю не гулять!

Снег, стужа — январь.

А еще — елка с Дедом Морозом, веселый праздничек.

Седа у Мороза, длинна борода. Так и спросил бы:

— Сколько лет тебе, старче?

Не очень чтобы много: с 1700 года, при Петре Первом, Россия стала праздновать новоегодье 1 января, а Дед Мороз у елок появился еще поздней. Заранее был обнародован строгий царский указ: «Перед воротами учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевельных». Получается, первые новогодние елки выставлялись на улице, и не только елки, а и сосны, можжевельник.

Первый, старший месяц года — январь величался в народе батюшкой. Тем не менее в календарях бывал он и пятым, и одиннадцатым по счету. Ведь Древняя Русь начинала новый год или около 1 марта — с первой борозды на юге, с капелей, ручьев-подснежников на севере, или — позже — 1 сентября, осенью, когда сено в стогах, зерно в закромах.

Январь. Утром алые зори. Дым из труб столбом. Морозная лиловая мгла застит на восходе оранжевое солнце.

Луна по ночам словно дымит, звезды мигают...

Сейчас нет-нет и услышишь из людской толчеи на улицах:

— Мороз не велик, а стоять не велит.

— Солнце на лето, зима на мороз!

Пословицы, да? Не совсем так. И пословицы, и строчки месяцесловов — так будет вернее.

С незапамятных времен существовали на Руси особые, устные календари — месяцесловы. Создаваемые крестьянами, пастухами, охотниками, рыбаками, они соединяли в себе как веками накопленные знания о родной природе, так и хозяйственные советы, бытовые обряды, обычаи.

Поскольку народные календари были устными, они нуждались в канве, которая облегчала бы запоминание дат. Этой канвой стали со временем святцы — перечень почитаемых церковью праздников. Однако месяцесловы гораздо старше. Мало обнаружишь в них почтения к «угодникам божьим», «святым мученикам», «пророкам», коль редкий из них избегал в месяцесловах прозвищ, кличек: «Дарья — прорубь грязна», «Илья Пророк — три часа уволок», «Акулина — вздери хвосты» и т. д. Поэтому удивительно ли, что устные, жившие в народной молве календари преследовались боярами и попами.

И все-таки месяцесловы дошли до наших дней. Выдержки из них за образную меткость В. И. Даль, известный собиратель фольклора, включил в свой труд «Пословицы русского народа». Постоянно делал он ссылки на них и в «Толковом словаре». Строчки месяцесловов встречаются в стихах А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, в прозе Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого — значит, жить им вечно.

По месяцесловам начало января давал Васильев день — древний овсень, таусень. Пусть снег, пусть стужа — по деревням бывало идет гульба: гармонь, песни, на конях лучшая сбруя, расписные санки вихрем летят. Гости в избу — потрудишься, хозяйка! Что есть в печи, на стол мечи!

Справлялась коляда — древний, от языческой старины праздник с ряжеными, то есть народным маскарадом, с шутками, удалым молодечеством. Обычай «бесовской вольницы», проклинаемый церковью, соблюдался даже в царских дворцах. А что о крестьянской сельщине толковать?

От избы к избе валили колядовщики, славя соседей в величальных песнях. Виделись им терема златоверхие, тын серебряный.

Призывали славильщики хозяина избы:

Стань-ка на лыжи,
К ополю ближе —
По мягкий хлеб,
По ярушничек.

Пусть, мол, рожь у тебя будет ужиниста: «из колоса осьмина, из полужерна пирог — с топорщице долины, с рукавицу ширины». Хозяйке особое пожелание, чтобы коровы

Сметаной доили,
Маслом цедили!

12 января — «Ко дню Анисьи холода повисли». Мороз... Имел мороз встарь и отчество — Васильевич, по первому январскому дню! Вообще же месяц именовался встарь просинцем. За то, что поясней стало, чем в декабре, к овсеню, таусеню дня «на куриную ступню прибыло». Пруды, реки от стужи до дна промерзли, вода выступив на поверхность, «лед впросинь красит».

Подсказывали месяцесловы: «Сухой январь, студеный — к жаркому лету», «Снег — крестьянское богатство», «Снегу надует — хлеба прибудет.

19 января — «крещенские морозы». Славой венчали удальцов, кто купался в проруби.

А помните у В. А. Жуковского?

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили...

У парней — свои потехи. Там они шутки ради сани на избу затащили, тут двери водой облили и заморозили — не войти, не выйти!

Помимо крещенских, известны были афанасьевские морозы (31 января): «Афанасий да Кирило забирают за рыло». Бабки внуков стращали: «За нос держитесь — уже поморозите, домой не пустим».

Между тем январь — перелом зимы. «Новый год — к весне поворот».

Отмякла погода, глядишь, виснет с крыши ранняя сосулька.

Под снегом в лесах, среди мхов, палых листьев прячутся вешние первоцветы — зеленым-зелены, в пазушках листьев бутоны.

Синиц тянет на песни-веснянки.

Стайки гостей из Заполярья — пуночек реже видишь: начали отлет к гнездовьям, на север дальний. Сделан к весне первый шаг!

Сделан, сделан — уж черный ворон кружит, присматривая себе подружку, уж волки готовятся к гону...

Близкое родство первого месяца года с весной отражено в месяцесловах: «Январь — весне дедушка».

САМОЕ-САМОЕ

памятные даты фенологии *



Январь — наиболее холодный месяц зимы. Средняя месячная температура под Вологдой — $11,7^{\circ}$, в Тотьме — 13° , в Великом Устюге — 14° . За последние десятилетия самый морозный январь пришелся на зиму 1939/40 года, когда в отдельные дни стужа почти повсеместно в Вологодчине достигала 45-46 градусов, а в восточных районах области — близко к 50° .

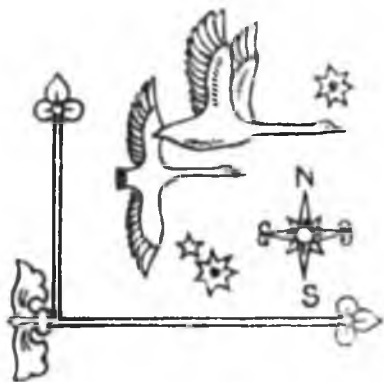
Трескун январь елки на лучину шеплет, но выпадал и мягким. В 1971 году, в пору затяжной оттепели, 11 января столбик ртуты поднимался до 6° тепла. Солнце, лужи... В голубом небе кувырка-

лись голуби... Еще немного — вскрылись бы реки! Значит, был самый-самый теплый январь? Нет, в 1289/90 году зимой на Руси вообще не выпадал снег, в январе свежей листвой зазеленели сады и леса, зацвели цветы, и в феврале уже вызрела земляника.

* Фенология — наука о сезонном развитии природы, обусловленном сменой времен года. Термин «фенология» появился в 40-х годах XIX в., однако в Вологде регулярные наблюдения велись еще с 1806 года учителем Алексеем Фортунатовым. Примечательные явления природы заносились в летописи с древнейших времен.

КТО И ГДЕ? КУДА И ОТКУДА?

адресный стол



МЕДВЕДЬ — в берлоге. Отверстие, через которое поступает воздух, — «чело» — обращено в южную сторону. Ох, не проспать бы приход весны! У медведицы в конце января уже медвежата. Один, чаще два, реже три, крайне редко — четыре. Крохи они, каждый с меховую варежку!

ВОЛК — ноги кормят. Хоть бы что волкам отмахать за ночь километров пятьдесят! Сегодня здесь, завтра там! Бродят серые семейными стаями, вожаком — волчица. Снег стал глубоким — и в лес волки ни ногой. Известную пословицу надо так изменить: «Сколько ни корми волка, он в лес не смотрит!»

РОСОМАХА — в исключительных случаях вес достигает 32 килограммов, но зверь силен не по росту, неутомим в скитаниях. Глушь, безлюдье — вотчина росомых круглый год.

ЛОСЬ — нет необходимости искать, всюду есть! Если зима многоснежная, то лоси пасутся подолгу в одном месте. В кустарниковых низинах Присухонья, на виду дымных труб Вологды, Сокола, по болотам близ Череповца и то встречаются

лежки лосей в снегу, оскобленные ими осины.

КАБАН — зашел и прижился. Морозы ему не страшны, но страшен глубокий снег, затрудняющий передвижение. В полях у Кубенского озера попадались кабаньи гурты по 10—20 голов. Страдая от голода, кабаны заходят в деревни, на свалки, скапливаются на непромерзших болотах, где питаются корневищами трав, в полях подрывают картофелехранилища.

ГЛУХАРЬ — в сосновых борах и болотах, оседлый, основательный житель. Распорядок дня твердый. Утром и вечером вылетает щипать сосновую хвою, порой на одни и те же деревья. Иглы там, что ли, мягче и слаще? Мороз под 30° — глухарь добирается к соснам пешком. Пурга, метель, свирепые холода — и глухарь под снегом сутками подряд. Голод — плохо, стужа — того хуже.

БЕРКУТ — есть, встречается! Где? Зимую гораздо чаще около скотобоен, городских свалок, чем в глубинной тайге. Случается, отлетает к югу. Мало у нас орлов, очень мало — считанные единицы.

КРЯКВА — думаете, только на юге зимует? На незамерзающих речках, был бы корм, кряква легко выносит наши морозы. В компании с другими утками, даже лебедями, как бывало не раз, например, в Сямженском районе.

СОЛОВЕЙ — в Африке, в тропиках эта глазастая серая птичка не привлекает ничего внимания: молчит соловушка на чужбине! Голос подаст перед тем, как на Родину лететь.

ЩУКА — где ее нет? В некоторых северных озерах водятся одни щуки. Подо льдом не дует, не поро-



Не любит лось зря ноги мять: поел, да и на бок!

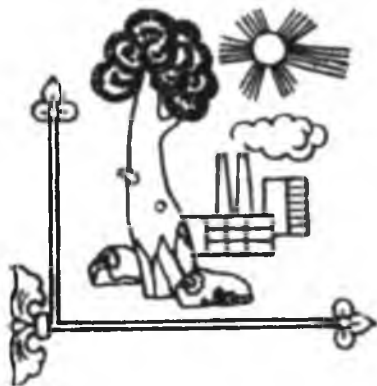
шит снегом, тем не менее в плохую погоду щука предпочитает отсииваться. Зато после метелей, длительных холодов играет аппетит у зубастой.

СУДАК — не прочь и он заморить червячка. Промышляет рыбешку в закоряженных ямах, на камени-

стых подводных грядках. Славится у нас судак с Белого озера. Есть он и в Кубенском, Онежском озерах, в Рыбинском водохранилище.

КАРАСЬ — один в тину зарылся, оцепенел, другой — страшно молвить! — в лед вмерз... Ничего, придет тепло — оттают, оба поплывут!

МОЙ КРАЙ РОДНОЙ



Весь Север, и земля Вологодская не исключение, изобилуют местами, почитаемыми как памятники истории и природы. Одни из них известны широко, о других знают лишь окрестные жители.

Ансамбль Кирилло-Белозерского монастыря и деревянные шлюзы бывшей Мариинской системы, которую сменил полноводный путь Волго-Балта; каменные кружева древних строений Великого Устюга, осаждаемого толпами туристов, наезжающих со всех концов Советского Союза, и домик Петра I в Вологде.. Кажется, можно ли с ними поставить

лесное урочище. Модно, если о нем слышали разве что таежники? Но и Модно по-своему примечательно: ведь здесь сохранились старейшие сосны — иным деревьям, полагают, по 400 лет!

Или вот дорога близ Великого Устюга.. Голубые ели вдоль обочины.. Специалист определит, что они из Аляски. Как тут появились? Устюжане Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов и другие землепроходцы сотни лет назад прокладывали пути на Чукотку, Камчатку, Дальний Восток. Их имена встретишь на всех географических картах. Вологжане принимали активное участие в освоении Аляски, закладывали в Северной Америке русские города. Один из безымянных путешественников, вернувшись домой, и посадил вывезенные им аляскинские ели на родной земле — в память о своих походах, в назидание потомству!

Понятно, достопримечательности Вологодчины трудно даже перечислить. На страничках «Мой край родной» будут названы лишь некоторые, чтобы тем самым помочь краоведам, любителям природы в выборе маршрутов своих путешествий по Северу.

ПАМЯТНИК

ЯНВАРЬ 1924 года.

Скорбная весть — умер Ленин — достигла окраинного Вытегорского уезда. Газеты с портретом Ильича в траурной рамке передавались из избы в избы.

В селе Макачево учительствовал тогда Петр Петрович Петров. Он был знатоком природы и заложил хороший сад. Любил книги, играл на скрипке и создал самодеятельный театр. Повсюду в округе Петр Петрович пользовался непререкаемым авторитетом.

Скоро прослышали макачевские мужики, что в Вытегре горожане на свои трудовые сбережения воздвигают монумент Владимиру Ильичу Ленину.

— Отметим и мы память вождя, — сказал учитель.

Жилось в те годы тяжело. Кое-где по дворам всего-то инвентаря — соха да деревянная борона. Лаптями не гнушались. По избам горела лучина. Страна только-только поднялась из разрухи после империалистической войны и нашествий белых генералов и интервентов.

Ни о граните, ни о бронзе поэтому не могло быть речи в глухом селе. Своя была задумка у Петра Петровича. Нет камня, нет металла, так что ж — найдется материал еще более вечный! Вечный и живой, как вечна и жива пребудет в веках народная любовь к Ильичу!

Весной, едва снег сошел, на пустыре за школой закипела работа. Трудились ученики, трудился учитель. Помогали детворе взрослые. Вырубали корни. Корчевали пни. Выравнивали площадку.

Возникла на пустыре рощица. Юная, хвойная. Пушистые елочки, принесенные из лесу и бережно пересаженные в новую почву, тянулись рядами. Эти ряды образовали слово, дорогое всем:

ЛЕНИН.

Елочки были маленькие, нуждались в досмотре и уходе. Их пестовали всей школой.

Деревья укоренились, от весны к весне выше и выше поднимали сплетение смолистых ветвей.

Шли годы. Неумолимо время: обветшала школьная постройка, ее перенесли на новое место. А роща зеленела, набиралась сил, прозвали ее в окрестных деревнях Ленинским парком.

Сейчас там высажена и акация. Вместе с елями кусты ее кружевной листвой образовали —

ЛЕНИН. 100.

Так пионеры из Макачева отметили столетний юбилей В. И. Ленина.

Много на Севере мест памятных. Среди них еловая рощица в вытегорской деревеньке, затерянной в глуши, по-особому трогает и волнует сердца.

ШЕПОТ СНЕГОВ

ПАДАЕТ снег, шелестит, касаясь ветвей и стволов. Шорох в лесу. Сливается он в несмолкающий шепот, задумчивый, немного грустный.

Каждое дерево по-своему встречается со снегом. Запахнув хвою, ели протягивают навстречу снежинкам кончики хвойных лап. Небрежно, свысока — одни пальцы. Ну, привет... привет! Дают понять: нам и без тебя, снег, обойтись можно, в хвое, как в тулупе до пят.

Отрешенно, в рассеянности сосны принимают на себя снег, и он скапливается меж дымчатых игл. Рябина, с которой дрозды не оклевывали ягод, показывает багряную мерзлую гроздь: пожалуйста, засыпли... Березы опускают гибкие ветви. Летит снег — белый мимо белых стволов. Не шелохнутся березы. Опустив сучья, подсказывают: сюда сыпни... сюда! Ножки укрой, босиком нам зябнется!

Молодая елочка растопырила лапки, будто зеленые ладошки. Внове ей снег. Сдается, разглядывает она льдистые

кристаллы. Снег шепчет, и елочка, похоже, шепчет: хорош-ш-шо...ш-шо...хорошо!

Снегопад — шорохи, шепот.

Лес чутко слушает. Поля слушают. Вспыхнул в одинокой избе свет в окнах, и как глаза открылись — на лес, на поле с изгородами, стогами соломы. Слушает изба, глаза-окна распахнула: она, поди, знает, о чем шепчут снега!

Бережно, ласково опускаются снежинки. Шепчут, шепчут...

Мне, думается, понятен этот шепот: если касаться деревьев, трав и белых крыш, то надо бережно, как снежинки их касаются в мягкий зимний снегопад.

СНЕГИРИ

ВЗЛЕТЕЛ он на куст заиндевелый — и будто солнышко вспыхнуло, в мороз-трескун зарделось жарко. Послышался томный, напевный звон:

«Пи-пик, пи-пик...»

Снегирь-снегиришка, нарядная рубашка, без тебя и зима не красна!

Всяк снегиря знает, стар и млад ему рад. Стужа снегирьку не в стужу: всегда серый кафтан нараспашку, рубаха кумачовая распояской. Приосанится, распушит перышки — до чего ж солиден, представителен! Летаёт плавно, по снегу выступает не скоро, не торопко, а в самый раз. Пусть воробей суетится, нахохленный, стужей пришибленный, корочку клюет и горюет: «Чуть-жив! Чуть-жив!» Синицы, вертячки-непоседы, пускай в сучьях снуют, хвостами крутят, возле каждой козявки галдят... Нет, снегирь не такой. Золота перед ним насыпь — не изменит своей степенности. Что там золото: льняного семени кидай горстями, мороженую рябину клади кистями — и тогда снегирь, если примет угощение, то словно вам одолжение сделает.

Правда, правда, понаблюдайте у зимней кормушки повадки ее постоянных посетителей, да в холода, после метелей, когда голод-то не тетка, и вы поймете моего давнишнего приятеля, который говаривал: «Да-а... Снегирь, он себя не уронит!»

Зимой снегири держатся стайками, семьями. Ладят между собой по-семейному.

Беда приключилась, кто-либо из стаи погиб, скажем, попал кошке в зубы — остальные снегири подолгу, днями на-

пролет, ждут пропавшего, горько перекликаются, будто оплакивают его. Печален, за душу берет их скорбный звон:

«Пи-пик, пи-пик...»

Среди птичек так ведется, что нет равноправия: поют певцы, слушательницы слушают. Вот у снегирей иная картина: снегирек поет, снегурочка вторит. Хотя выглядит бедновато снегурочка-смуглянка в сравнении с румяным, как наливное яблочко, снегирьком, в пении соблюдают они равенство.

Еще одно заметим: снегири восприимчивы к музыке и очень понятливы.

Издавна принято держать дома попугая: какаду, ару, на худой конец — австралийских волнистых. Учат ару, какаду мучают, убаживают и пристают: скажи то, скажи это. Праздник, ликование, когда попугай придушенным голосом прокартавит:

«Попка дурак...»

Снегиря подобной чепухе не выучить, хоть лоб расшиби. От человека он перенимает лишь музыкальные мелодии. Разве не прелесть, если дома снегирек свистит, выводит мотив «Калинки»? Прелесть, да и только!

Но в клетке снегирь блекнет: линяют румяна, одевается снегирь в темный, иногда совсем черный, как бы траурный наряд.

Нет, нет, снегирь на вольной воле и хорош и пригож! Алая грудь. Ослепительно белое надхвостье. Спинка серо-синяя. Темя, крылья и хвост черные, с синим шелковистым отливом... Да откуда же взялись столь яркие, столь горячие краски в разгар зимы студеной? От зимы и взялись. От белых полей, от изб, синеющих издали с бугра, от зорь алых. Снегирь, он весь для зимы — кафтан нараспашку, красная рубаха навыпуск!

В самом деле, зима на пороге — снегирь у крыльца.

Чуть в марте небо тронет влажная испарина, снегири исчезают. Разлетаются по ельникам, скрываются в чащу тенистую, замшелую.

Редко-редко увидишь летом снегиря. Не оттого ли он в чаще прячется, что по зиме горюет? По белым снегам, по стылым зорям тоскует, когда изморозная мгла беспросветна, вьюга метет, небо застит, а он на ветку вспорхнет — и будто солнышко вспыхнет. Воссияет солнышко, зардеет ало — издаст снегирь напевный звон:

«Пи-пик, пи-пик...»

Однако и снегирию зимой трудно. От бескормицы, голодом

понуждаемый, снегирь кочует к югу. Зимой его встречали даже в Африке.

...Утро. Деревья в инее. Снег искрится. Фонари на улице гаснут.

Открываю форточку, семена в кормушку сыплю, рябину, сушеный шиповник кладу: не пущу снегирьков в Африку!

НА ЗАКАТЕ

СТУЖА месяц кряду. С утра город дымится, выше кровель затопленный морозной мглой. На стенах домов и тополях, проводах и заборах мохнатый иней.

А навестить местечко мое надо.

Давно держу на примете полянку в ближнем лесу. Который год там держится тетерев-косач. Гул уличной суеты достигает — через поля, через луга — любого угла лесного острова. А бывало, изрядно возле города водилось тетеревов, и на вешних рассветных зорях как забурлит у них гульбище, на нашей улице слышать. Не то нынче: донесется голос косача и, наткнувшись на железобетонные громады отстроенного на пустырях многоэтажного жилого массива, потухнет тоскливо, рассеется. Для почина один сойдет, для песни одного мало! Так жив ли хоть он, краснобровый запевала? Может, стужа его сгубила? Боюсь, на зубы собакам попал, — есть их, бродяг.

Снег, словно терка, лыжи дерет, не давая им скольжения. Мороз обжигает лицо, на бровях намерзают ледышки.

Белым белы перелески, прутья нижние в сугробах, верхние в инее.

Тонкие иглы, льдистые кристаллы густо опушили клочья не скрытой снегом осоки, сухие будылья бурьяна. Иные колосистые былинки походят на плюмажи из страусовых перьев. Накудесил мороз: кругом сказка — стой и удивляйся, когда б погода была чуть помягче! Не постоишь — живо поморозишься!

Ничего, уже потеплело, как отмахал первый километр, и начали попадаться на снегу следы. Чудный посев — крестики и нолики, кляксы и росчерки! Зимний снег без следов все равно что деревья без птичьих песен, не верю в него, не могу признать. Как и лес мне не лес, будь он того дремучей, если не хранит на мху оброненного глухарем пухового перышка. Поле для меня бедно, если только хлеба, если не стрекочут кузнечики, не синют с межи васильки...

Следы, собственно, встречались гораздо ближе — у самых домов. Но собачьи. До застройки на пустырь лисы забежали, зайцы, не говоря о горностаях, о мышах.

Отодвинулись звериные, птичьи следы. На целый километр...

У гривки поломанной ветром полыни кормились сороки и снегири. Сороки ловчились клевать семена прямо с полу. Снегири-коротышки сперва молотили полынь, сидя на стеблях, лишь потом слетали вниз. Осимь изрыта серыми куро-патками. Охотились горностаи возле скирды соломы. Заяц-русак с осими приворачивал к низинному ручью. Лисица была... Есть, есть следы, поднакопилось их с тех пор, как стоят холода без снегопадов.

Низко повисли провода электропередач, белые от инея. Столбы высоковольтной линии гладкие, бетонные. На вершине крайнего ко мне столба ветер трепал соломенное гнездо. Свила его, по-видимому, ворона, не убоившись ни высоты, ни гулкого, неумолчного стона проводов. За нею эту соломенную хатку по два лета занимала пара соколов-чеглоков...

Чадит громадными трубами городская ТЭЦ. Теснятся по заполью кубики жилых зданий. Мигают на повороте автомашины, вздымаются башни мелькомбината, золотым шлемом колокольни блещет Софийский собор.

Выйдя к накатанной лыжне, я ходко пересек поле и углубился в лесной остров.

Жив запевала!

Вся поляна в лунках, как в оспинах. Неделя за неделей стужа, и тетерев больше, чем обычно, проводит времени в снегу, зарываясь в него и днем.

Обычно лунки тетеревов бывают мелкие. Но первая же копанка теперь оказалась глубиной около метра. Да и остальные такие же: сунув руку в прорытый тетеревом туннель, с трудом нащупываешь дно, обледенелые от дыхания птицы гладкие стены. Очевидно, мороз принуждал косача закапываться глубже. Причем, интересно, что, проминая в снежном пласте ход, тетерев иногда высовывал голову наружу: возможно, из присущей одинокой птице осторожности, возможно, проверял глубину своей норки, словно примеряя, достаточно ли будет ему тепло.

Солнце склонилось к закату, окрасив темное облако над городом в багрово-лиловые тона. Облако никло к крышам домов, и шлем колокольни еле угадывался сквозь плотную пелену. Снег отливал розово, синел, каждая щербинка шеро-



Следы, следы на свежей пороше...
Это мимо сосенки заяц-беляк проскакал.

ховатость выделялась на нем. Тонкая, как срез лимона, бледная луна медленно напивалась желтым светом.

Я озяб и еле-еле волокся вдоль опушки леса. Немели губы, перехватывало дыхание. Ночью опять будет под сорок...

Неожиданно в обляпанных снегом мерзлых елках разлилось сдавленное сопенье. Я задержал шаг, и тотчас слышался шепот:

— Проезжайте, чего вы!

За елками прятался мальчишка в лыжной вязаной шапочке с помпоном. Околел чертенок! Жметя, дышит в варежки и ползгивает зубами.

— Чего... чего вы!

— А ты что? Вылазь и марш домой! Закоченел, небось, драть тебя мало!

Я невольно обернулся, перехватив взгляд мальчишки. Почти мгновенно — есть охотничья-то сноровка — я поймал в поле одинокую темную точку. Тетерев! Запевала! До меня еще не дошло, что живая точка, шевелившаяся вдали на березе, именно тетерев и именно запевала, как я рывком уже втискивался в елки. Голову, спину осыпало мерзлыми комьями.

— Ведь закричу, — жалобно пообещал парнишка шепотом.

— Кричи, если места тебе мало.

Тетерев щипал почки. Он черен, точно обуглен. Ухарски, в косицы, крутые, как бараньи рога, завиты перья хвоста. Жаль, далеко: не различить белых зеркала на крыльях, красных бровей.

Косач вытягивал шею, ветви под ним пружинили, срывался иней, серебрясь, плыл косо.

— Кричи, — повторил я, усмехаясь. — Кричи, я слушаю. — и прикусил язык: у мальчишки-то косички!

Моргает девчушка белыми ресницами. Съежилась. Тоже мне нужда — под елкой околевать!

— Давно сидишь?

— Не...

— У меня горячий кофе в термосе...

Не дослушала, тянет свое:

— Не...

— Что «не»? Что «не»?

— Не хочу.

— Из города?

— Ага. Мы недавно переехавши, — ответила девочка по-деревенски. — Никак еще не привыкли... А вы, дяденька, ви-

дали, как поляши... Ну, тетерева, тетерева! Как они, дяденька, в снег ныряют? Ласточкой — головой вперед или солдатыком — вперед лапками?

Это вопрос! Я ли не бродил по лесам и полям на своем веку, но и целью такой не задавался, чтобы узнать способ, как тетерева зимой в снег падают.

— Посмотри — увидишь. Не буду мешать.

Я осторожно выбрался из укрытия: не спугнуть бы косача — чутки тетерева. Тем более этот: одиночка, значит, вдвойне бдителен.

Сколько же лыжней накатано из города к лесу! Не будь стужи, и сейчас, глубоким вечером на закате, когда лисы выходят на охоту и тетерева забираются в снег на ночлег, поле еще пестрело бы людьми.

Лыжни и лыжни...

Из деревни рвемся в город, из города — в поля хоть на час! Чего нам надо? Что ищем?

БЕЗ ЗАМКА

Под елью рылась белка. Расцарапала верхний жесткий слой снега, и красные лапки ее мелькали, выгребая зернистые комья, поднимая мелкую, как пудра, пыль. Скоро лунка превратилась в ямку, ямка стала штольной, уходящей вглубь, к корневищам дерева.

Белка скрылась в снегу. Целиком, вся, кроме хвоста, который подрагивал, высовываясь наружу.

Мне знаком здешний уголок. Тут не лес, просто посадка вдоль железнодорожной колеи. Рядами у насыпи березы вперемешку с молодыми дубами, орешником, ясенем. Они прижимают к ельнику, столь частому, что не прорасться. Может, поэтому дорогой мне уголок мало кому известен. Случись сюда попасть, не премину его проведать. Бывало, приедешь за грибами, а в лесу пусто. Одна надежда — посадка: выручит, наберешь и на суп, и на жаркое. Гриб растет в посадке отменный, и всего лучше подберезовики: тугие, с бурой бархатистой шляпкой, с ядреным корнем. Лишь на орехи не везло: как ни приеду, все не в срок. То они зелены, то лещины кем-то обраны — возможно, белками.

Застал я как-то одну, когда она откладывала на зиму желуди. Признаюсь, странным показалось, как белка помалу прячет их в мох. Нет бы кучей, да в одном месте, да укрыть хорошенько — зимой и без забот знай себе пользуйся! А то

растаскивает: тут пяток, там пяток. Ищи потом, копайся, как сейчас, в сугробах! Сколько, небось, захоронок зря пропадает?

Она вылезла из копанки с желудем в зубах. Присела на задние лапки и, кинув хвост на спину, словно затем чтобы заслониться от пронизывающего ледяного ветра, вмиг очистила дубовый орешек, сгрызла его. И опять нырь под снег. Белка явно спешила: не терпелось ей с утра пораньше заморить червячка.

Очередной желудь она унесла на елку. Держа его в передних лапах, зубами вспорола кожуцу и содержимым лакомилась уже менее поспешно.

И снова она на снегу. Вытягивается в струнку, озирается. Слушает, смотрит. Потом прыг в кладовку, мазнув по снегу хвостом.

С четвертым по счету желудем белка забралась в сучья ели совсем высоко. Осторожность проявляет или заподозрила, что рядом посторонний?

Ждать пождать — нет ее. Видно, позавтракала.

Пора и мне уходить.

Вдруг откуда ни возьмись еще белка. Она была помельче, зато пушистей первой и прискакала по снегу. Да сразу к копанке, со всех ног к соседской кладовой. Конечно, раз кладовка без запора, то бери, что хочешь.

Долго ли, коротко ли побыв под снегом, белка вылезла назад. Щекастая, с глазами навывкате мордочка ее выражала растерянность. Горбя пепельно-серую спинку, зверек поелозил по снегу, обнюхал кожуцу желудей. Да давай ворчать, давай злиться! И топ лапкой, топ. Хвостик дрожит и дергается.

Нечего, голубушка, нечего! Я смеялся. Ишь, разбежалась на готовенькое! А не досталось, опоздала — так и лапами топать? Ступай-ка на елку шишки шелушить. Нечего... Нечего на чужой каравай рот разевать!

Вот теперь мне понятно, отчего у белок зимние кладовые таковы, что и замка не надо!

ПОСЛЕДНЕЕ ЗИМОВЬЕ

СВИВАЛИСЬ над рекой с ревом снежные вихри, гудело от них в окрестных лесах, но омут берёг устоявшуюся в нем истому. Из придонных наслоений тины, заиленных камней, коряг вырывались пузырьки, летели и разбивались о лед с сухим треском, умноженным толщей воды и льда.

Очутись летом плотица хоть на миг в этой ледяной духоте, в кромешных этих потемках — сердце лопнуло бы со страха...

А сейчас в красноглазой рыбешке через край плескалась радость: чувствуете, буря утихает? С разгона плотица бросалась из стороны в сторону, падала отвесно, чтобы взмыть вдруг вверх, и то вставала вниз головой, то подставляла льду бочок, словно лед мог зажечь на чешуе слепящие зайчики.

Есть на воле солнце...

Кружили мальки. Окунье — поодиночке крупные, стаями полосатая ребятня — рассекало омут.

Есть солнце, светит!

Общее возбуждение не разделяла щука, дряхлая развалина: бревно бревном лежала на мхах, и спина, и бычьи ее глазищи обрастали оседающей мутью, илом, как мхом.

Плотица пронеслась, как перепрыгнула старуху. Эй, очнись, эй, порадуйся! И снова играючи перемахнула через нее.

Из-за обилия ключей, родников омут целиком не замерзал. В промоины гляделось небо, зауженное прибрежным крупнолесем. Валил постоянно пар. От избытка сырости древостой поражался гнилью, мох облеплял кору, сучья, с хвойных лап висли сивые лишайники. Вдоль берегов бурелом... В омуте бурелом: сорвавшиеся с крутизны стволы, сучья создавали непролазные завалы, и в них скапливалась рыба на зимовье. Пескари и голянки черно, в несколько рядов, устилали дно. Вплотьмах оцепенело жались головасти, язи, оттирала рыбью мелюзгу от выхода подземных ключей. Теснота, давка...

Плотица уплыла к знакомым зарослям. Есть хотелось — по телу дрожь! Не поспела. Такая же, как она, плотичка-годовичок усердно рыла ил, мотаясь всем телом, дергала корешок. Ах, противная! Налетела плотица, вырвала корешок у соперницы: мое... все мое! Шмыг под камень. Сосала корешок, как леденец.

Яснала полынья. Обозначился правый берег — обрыв, истыканный норами раков. Проступили бревна-топляки на дне, колодины, путаница коряг и валенок с калошей, в котором — это плотица знала точно — на зиму устроился старый рак. Тут и там в полосе света запоблескивали блесны, вонзившиеся крючьями в топляки.

Будто мошка к огню в ночи, к полынье льнула всякая мелюзга, толклась пьянея от вольной, с запахом снежной свежести воды. Из потемок вынырнула стая окуней: полосатые горбачи глушили мальков хвостами и, распахив пасти, гло-

тали живьем, на ходу, все в стремительном разбеге. Врезался в стаю черный, как головешка, окунь, цапнул ближнего сородича поперек тела и понес. К нему кинулся щуренок, из молодых да ранний — окунь с перепугу выпустил добычу. Хап щуренок — и полосатенького как не бывало. Оторопело топорищил колючие плавники черный окунь, шамкал безобразно широким ртом, как ругался...

Шум в омуте складывается из множества звуков: плавного течения, омывавшего берег, толчеи ключей, движения множества рыб, но больше всего из сопенья, чавканья, хруста. Жировали, отъедались зимовщики, наверстывая дни прошедшей непогоды, как дни вынужденного безделья и голодовки.

Взбурлила вода, колыхнулась: на глубину пала выдра. Спасайся, кто может! Окунь — врассыпную, врассыпную — мальки...

С шерсти выдры осыпались блестящие горошины воздуха. Обмерла плотица — не шелохнется. Плоские в зеленом огне зрачки зверя скользнули по ней равнодушно. Щуренку бы стоять — нет, шарахнулся, выдал себя. В броске выдра настигла его легко, подхватила и унеслась в полынью.

Плотица, от беды подальше, заскочила в ближнюю норку. Щелкнули рацы клешни: немного не дотянулись, а то расстригли бы пополам!

Из норы вон — черный окунь сторожит. От него в траву пряталась — достался тычок от мясистой толстой плотвы: куда, мол, затесалась, малявка. Ее-то не обидит окунь... Выросла и задается, тетеха!

На дне плотица укололась о ерша — пырнул ее колючками... С грехом пополам нашелся укромный уголок возле топляка. Юркнула плотица к нему и обомлела: не топляк это — щука! Смыкала и размыкала дряхлая развалина медные крышки жабер, дремалось старухе. Тихонечко-тихонечко отплыла плотица ближе к отмели, притаилась под камнем. Нагулялась, довольно...

Занесло с верховий налимов. Мутно-пестрые увальни нашли, что подходят им осклизлые коряги, утопшие колодины. Пузатый толстяк с усом на нижней губе принялся тереться о придонный камень, натужно выдавливая икру. Двое-трое налимов поменьше, мешая друг другу, поливали икру молоками. А узкий головастый налим полез набивать икрой рот. Насытившись наконец, отвалил и отдался течению.

Пахло от него ужасно. Еле-еле шевелился обжора: брюхо отвисло, с губ тянулась икраяная слизь, как слюни. Гольяны

подались от него в сторону. И старая щука брезгливо задвигалась. Разинула пасть старуха, словно бы зевнула, и... толстяк исчез. Исчез в щучьей глотке, будто и не бывало его в омуте!

Полыньи, промоины померкли. Сделалось холоднее. Разорванное стужей, рухнуло на лед гнилое дерево с обрыва. Гул падения долго не затихал в воде, долго лед змеился трещинами.

Раньше всех почувствовали опасность голяны, последняя на зимовье рыбешка. Густо набилось их в омут, в давке, в толчее и очищали они дно.

Щуку оставила дрема. Заработали плавники, чаще смыкались и размыкались жаберные крышки, цедя воду. Старуха как бы разминалась да так поддала хвостом — в один мах пересекла омут и скрылась!

Занесло с верховий дохлого язя — на весь омут вонь. И пустились вниз по течению окуни. Затем рыба повалила валом — со всех зимовальных ям...

Плотичка рада не рада, что освободилось столько удобных стоянок, приискала себе укрытие под берегом, где бил подземный родник. К запаху она притерпелась. Задремала, и привиделось ей лето, пронизанная солнцем река, скот, забредший от жары в воду — много-много скота, он мутит воду, и некуда было деться от запаха навоза.

Родничок выбил ямку. Кустились водоросли. Мытые, чисто-начисто вымытые камушки устилали дно. Хорошо было плотице!

Проснулась утром — никого, опустел омут за ночь. Редко-редко проюлит по дну ерш, в зарослях травы проплывет окунь... Хорошо! Корешок выкопай, сощипни сочный стебелек — никто не позарится, ешь сама.

Ей ли было догадаться, отчего вдруг запустело зимовье? Плотица дрожала за свой уголок: не отнял бы кто-нибудь. Где стояла, там вволю и кормилась. Свежая струя родника приятно холодила. Нет, чуяла она посторонний запах, чуяла, что омут потемнел. Да ей-то что? Несет течением мертвую рыбу — пускай несет. Она ведь жива!

Отплыть бы рыбешке в сторону, она, как ни была мала, неопытна, поняла бы сразу: не вода течет в берегах — течет отрава. А отчего, почему, красноглазой ли, отощавшей на зимовье худышке доискаться причины?

Мало-помалу и возле родника становилось нечем дышать. Жабры жгло. Появилась сонная вялость, подобная той, какая нападает на рыбу в затяжное ненастье.

Сунулась было к полынье выдра — отскочила, будто ожегшись. Загорланили вороны. Оскальзываясь по наледи черными лапами, они подходили к полынье и выхватывали плававшую кверху брюхом рыбу, орали обрадованно.

Пир их разогнал рыбак на лыжах и в долгополом брезентовом плаще поверх полушубка.

Рыбак плевался, стучал в лед пешней:

— Река это или сточная канава? С души воротит!

Перемогалась плотица, льнула к роднику. Но жабры уже палило огнем. Мнилось, что пришло лето, распеклось солнце, в реку набился скот от зноя — помутнела вода.

Задышающуюся, ослабевшую плотицу вынесло из ямки. Понесло, потащило возле дна. На пути — знакомые коряги, пучки водорослей... Мимо, все мимо! Бревна-топляки в блеснах, осколки бутылок, размокший валенок... Свет из полыньи... Мимо, мимо!

Как черное облако накрыло, ничего больше плотица не чувствовала. Швыряло ее, било о камни, сдирая с боков чешую, и несло, увлекало течением неведомо куда.

ЗАГАДКИ ДЕДА- ВСЕВЕДА

КТО ЕЛКИ СТРИЖЕТ,
КТО КАШУ ВАРИТ?

Следопыты-знатоки, что вам на почин загадать, какие бывальщины для знакомства рассказать? Ах, как наш порхан по полям, по лесам порхан — бел кафтан без пол, без пуговиц. Худенька его шубенка, да мир покрыла, и холодна, да греет...

Это не сказка, не присказка, и мои бывальщины еще впереди — про живую воду и лисицу с подковками, про пирожок на пне и медвежьей деревни в лесу темном.

Дедом-Всеведом меня на селе прославили. Дед и дед, куда денешься, раз на дом пенсию но-



сят? Всевед-то за что, про что? А люблю ум пытаться, на загадки повадлив: одна старому, две малому, три про запас. Век свой в тайге провел, мне медведь — земляк, глухарь — добрый соседущка, каждую елку на своих тропах знаю, сосне лапу хвойную пожму, и никто не осудит. Так-то, наматывайте на ус, с кем повелись! Давайте-ка вместе по всем двенадцати месяцам пройдемся, тайники мои навестим и на том условимся: мои загадки — ваши отгадки.

Снеги падали, перепадывали.
Как у нас-то кошка в сапожках
Избушку метет,
А старик на полатах обувается,
Старуха под полатами да догадается...

— Ты куда? — всполошилась моя Антипьевна. — Если по воду его послать — ноги болят; если в лес идти — на вожжах не удержишь! Мешок-то зачем тебе?

— Под загадки, бабушка, под сказки-бывальщины, моя клюквягодка.

Лес у нашего села под боком. Ходко добежал. Беспокоюсь, все ли ладно у земляков, все ли подобра-поздорову?

Мороз, снег... Снегу-то вовсе не впроворот! Добро бы только на земле, но и деревья в всячых сугробах, в инее. Молодняк не вынес тяжких нош: елок-то молодых наломало, сосенок накалечило — глаза бы не смотрели. Ох, зима, один урон от тебя!

Постой, старик, не спеши, сперва разберись — после суди.

Снег ломает деревья, то избыток подроста убирает, как прополку ведет.

Худо — большие холода, а не будь стужи — не отвердел бы снег, и рысь бы в нем вязнула, заяц по уши тонул.

Ломкой стала на морозе древесина, так это дятлам к выгоде. Стараются работнички, в бору стукоток. Мало того, что дятел дыр надолбит, пробираясь к гнилой сердцевине, он с сухого пня и кору, как шкуру, спустит: на тебе, пень! На... на! Впредь не привечай личинок, жуков да закорышей, не напускай на лес порчу!

У синичек клюв слабенький, не чета дятлову долоту. Между тем синички зимой перенимают повадки дятлов. Если дятел пни крушит, то синицы-лазоревки и гайки долбят стебли дудок. В полых их коленках с осени набиваются комары, пауки, куколки бабочек, гусеницы...

Хожу я, радуюсь: все мое, до всего мне интерес — будь это лунка-копанка, где в снегу под старой елью черный дятел желна переспал, или след зайца в осиннике, или трухлявый пень-голыш, с которого кора донизу спущена. Очень мне дороги они, приметы зимней жизни, с ними и я живу! Живу, живу снежным раздольем, стынью колкой, морозной, в каждой блестянке на снегу, в каждом следе — зверином нарыске, птичьим росчерке! У вас все добро — и ладно, и мне легче; вам тяжело — от себя взял бы последнее и с вами бы поделился.

Так-то... так-то!

А, загадки я вам посулил? Помню я обещанье, по сторонам гляжу и наготове котомочку держу.

Не терпится? Вот, пожалуйста, первая вам бывальщина... Через осинник шел, ее нашел. Стоит, значит, тонкая осинка, вершиной к тропе склонилась. Высокая осинка — зеленая кора, суставчатые сучья. И, представьте себе, макушка у осины зайцами изглодана! Что такое? Неужто зайцы-верхолазы появились?

Но «лысая» осинка не диво. Вот как вам понравятся стриженные елки? Был-побывал в бору парикмахер. К соснам не подходил — может, кудри часты, гребешок не берет. Берез не трогал — и так пригожи славнухи. Лохматые елки он стриг, охорашивал, теперь их хоть напоказ выставляй!

Да я-то, на елки глядя, опечалился: зимушка-зима, до чего ты додела!

Шаг только шагнул — на-ко, и под соснами хвоя. Еще гуще, чем под елками: прямо-таки ковер.

Интересно, кто коврики ткал, для кого расстилал? Мышка-норушка придет — ей спать, дятлу-плотнику от трудов поживать?

Ну чудеса, ну диковины, в самый раз для моего мешка, заплечной котомочки!

Иду дальше, лыжами тропу уминаю. Снова на загадку напал: у елок стрижка, под соснами коврики, а кусты в сугробах у приболотья и наголо обриты...

А-а, знаю, знаю, кто в бору стриг, брил, ножницами щелкал! Вижу, вижу парикмахеров!

Перепархивают по вершинам елей птицы-невелички: одни пером алые, другие желтые впрозелень. Мороз, дыханье стынет, а птичкам все нипочем: поют, разливаются. Их и видно, их и слышно. Однако я не пенем умилялся, я на птичьи носы удивлялся: сложены кончики клювов крест-накрест. Иную шишку птички сорвут, а ту, что не поддается, клювом с ветки состригут.

Само время приспело объяснить, что я и следы, как по книге, читаю, и птичий язык разумею. Вежливо кланяюсь:

— Доброго здоровья, мастера, моего бора парикмахеры-цирюльники!

Алая птичка на мое обращение так удивилась — шишку выронила; зеленая в ответ закричала: «Что ты, что ты! Я повар!»

Села она к гнезду, птенцов кашей кормит. Младшему дала, среднему дала, старший отказался — ему шишку в нос: ешь, раз каши не хошь.

Батюшки, смотрю я, птенцы-то чужие, у всех клювы прямые!

Такая-то мудрость случилась у нас утресь. На том и сказка вся, больше сказывать нельзя. Солнце закатывается, на покой убирается. Меня бабушка ждет, на столе самовар любо-дорого поет, к чаю-сахару зовет.

Вы к нам заходите: напоим, угостим, в дорожку загадок дадим — хоть мешком понеси!



ФЕВРАЛЬ-БОКОРЕЙ



ЛИ во всем темном, ежятся, хвойные подолы к сугробам приморожены. У берез обледенелые ветви стучат на ветру, как от холода клацают... Январь и февраль — есть ли между ними разница? Морозы кажутся при вьюге лютее, и снег стал глубже!

Одно хорошо — короток февраль.

А бывал и сам себя короче.

Даже с принятием в 1700 году нового календаря Россия

продолжала отставать в летоисчислении. В XIX веке разница составляла уже двенадцать дней, в XX — тринадцать. Большинство европейских стран пользовались григорианским календарем, а Россия — юлианским, и это осложняло работу почты, телеграфа, газет, международные связи.

25 января 1918 года В. И. Лениным был подписан декрет о введении в Советской России нового календаря «для единения со всеми культурными странами мира». После среды 31 января вместо первого февраля сразу стало 14-е число, февраль и с ним весь 1918 год укоротился на тринадцать дней.

В народных месяцесловах прозывался февраль «снежем»; «сеченем» слыл — ведь он «зиму пополам сечет»; «бокогреем» был наречен — пусть студено, да все ж потеплей, к весне ближе.

Поземкой курятся сугробы. Глядишь, опять метель: свет белый померк, не поймешь, где земля, где небо...

Сутками длится заваруха. Как январю достаются морозы, так февралю непогоде: «Вьюги да метели под февраль улетели».

Провода гудят и стонут. По дорогам ползут, с ревом одолевая снежные заносы, грузовики, ощупывая путь фарами днем, как ночью.

Поблагодаришь судьбу, если с лихой замяти окажешься в жарко натопленной избе нечаянным гостем какой-нибудь деревенской бабушки-говоруньи. И самоварчик она поставит, и рассказами употчует про годы прежние, обычаи, обряды деревенские, о приметах на будущую весну и памятных страстиках месяцесловов.

«Февраль весну строит», — бывало говаривали. Загадывал мужик: начало февраля погожее, то весну жди пригожую, раннюю и ясную.

6 февраля — «Аксинья — полужимница-полухлебница».

О хлебе насущном была первая забота крестьянина: «Хлеб — всему голова». Коль Аксинья-полужимница на дворе, то до урожая озимых половину срока осталось ждать. Проверь-ка закрома-сусеки: хватит ли до хлеба-новины, не пришлось бы по миру детей пускать с нищенской сумой!

Ждала деревня весну. В январе ждала, в феврале — тем более. День 15 февраля почитался «зимобором». Повстречавшись, зима с весной борются, кто кого одолеет?

К 23 февраля приурочивалась в месяцесловах поговорка: «До Прохора старуха охала: ох, студено! Пришел Прохор и Влас — никак, весна и у нас?» Власев день — 24 февраля

назывался «Сшиби рог с зимы». Шли у коров отелы, доили они лучше, поэтому и говорили: «У Власья борода в масле».

Многие февральские обычаи деревенского уклада забыты. Но кто не знает о масленице хотя бы из книг?

Масленица, как утверждали шутливо месяцесловы, — сударыня честная, тридцати братьев сестрица, сорока бабушек внука. На масленой неделе понедельник — встречи, вторник — заигрыши, среда — лакомка, четверг — широкий, пятница — тещины вечерки, суббота — посиделки, воскресенье — проводы, прощанье, поцелуйный день.

Масленица — непременно блины и пиво. Гулянья, ряженые... Катанье с гор...

Песни, веселье:

Широкорожая масленица!
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами отъедаемся!

Некоторые карнавалы масленой недели вошли в историю. Так, в 1739 году скучающая императрица Анна Иоанновна устроила в Петербурге свадьбу шутов в ... ледяном доме. Даже поленья для очага были ледяные. От церкви новобрачных вез слон, обутый в валенки. В свадебном кортеже на оленях ехали остяки, на козлах — новгородцы, татары — на свиньях. Придворный поэт выкликал стихи:

Торжествуйте вси российски народы,
У нас идут златые годы.

А по деревням жгли соломенное чучело — зиму лютую. И были избушки курные, голь, нищета. И вся Россия походила на ледяной дом...

Искони народный праздник масленицы ныне возрожден как проводы русской зимы.

Февраль завершает зиму. Как ни щедр он на вьюги и стужу, однако провертываются дни, когда лучезарно синее небо, запруженное белыми кучевыми облаками, с крыш капель звенит, молодо темнеют леса — ни седины в кудрях сосен, навись снежную ветром сдуло.

Белка из хвойной гущи скок-поскок с сучка на сучок. Забралась на макушку и щурится, солнцу бочок подставляет. Вот-вот, февраль-враль. один бок греет, другой студит! Хвостом белка дерг да дерг. Все равно рада, что она первая во всем лесу солнечные ванны принимать затеяла...

Теплее февраль января. На сколько? Где как, у нас под Вологодой на 0,7°.

Думаете, этого мало? Нет, вполне достаточно, чтобы начались перемены!

Волки собираются стаями — грызня, драки. Кровь и клочья шерсти на снегу...

Зайцы покидают рыхлые снега ельников ради прогалин и полян, где бегать легче. Взойдет луна, серебряные рожки, золотые ножки, — и носятся косые, как шилья калят. Иной бегун вдруг примется выкомаривать: и прыжки у него, и на полном скаку повороты. Перед зайчихой он выставляется. А та сидит на задних лапах, передние держит, как дама для поцелуя. Косой возле нее увивается: прыжок влево, прыжок вправо, через голову кувырк. Ай да ухарь, хвост одуванчиком!

Черный ворон с воронихой гнездо строят.

И кукши сбились парами — к деревьям присматриваются, на котором им всего удобней стройку начинать.

— Скинь кафтан, скинь кафтан! — слышится в задорных песенках синиц.

Есть такие, кто синичьим советом не пренебрег: кафтан не кафтан, а шубу долой, если февраль на исходе.

Голавли, лини, караси зимой в «шубах», как называют рыбаки густую плотную слизь, облегающую тела этих рыб в студеную пору. С осени она образуется, когда рыбы уходят в омута, глубокие ямы на зимний отстой. Сейчас душно рыбе подо льдом, вода низкая, обеднела кислородом. Подвигаются рыбы косяки к устьям рек, ручьев, ищут где бы свежей водицы хлебнуть. На быстрины-перекаты перемещаются голавли, трутся друг о друга в тесноте — долой зимние шубы!

Вот и лось положил рога на порог весны...

Скоро-скоро весна!

Когда-то пела деревенская детвора, выгоняя за околицу зимушку студеную, седой мороз:

Ты, Морозко, не серчай,
Из деревни убегай —
Что за тридевять земель,
Что за тридевять морей!
Там твое хозяйство
Ждет тебя заброшено,
Белым снегом запорошено.

САМОЕ - САМОЕ

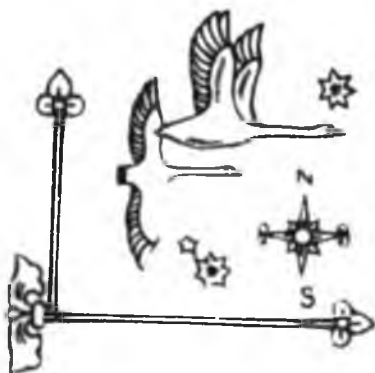


Хоть и бокогрей февраль, тепла вологжанам достается едва ли на один бочок! Зато в Великом Устюге среднемесячная температура в сравнении с январем повышается на целый градус, в Тотьме — на полтора.

Капель — наковаленка весны. Случается, среди зимы звенят ее молоточки. Всего раньше, 1 января, капель наблюдалась в 1938 году, а запоздала в 1910 году, когда с крыш закапало только 23 марта.

Кучевые облака — «небесный ледоход». В 1932 году кучевые облака появились 7 января, в 1908 году заставили себя ждать до 17 апреля.

КТО И ГДЕ ? КУДА И ОТКУДА ?



ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА — об этом звере когда-то слыхом не слыхали на Севере. Родина лохматых

зверюг — Приамурье, Дальний Восток. К нам они попали из соседних южных и западных областей, куда, в свою очередь, были завезены с коренных районов обитания. Тепла шуба енотов, из нее шьют меховые сапоги. Ближняя родственница волков, енотовидная собака, зимой спит в норе, а то в подполье заброшенного строения или просто в стогу сена. След дает разве что в продолжительные оттепели: размнет косточки и снова набок!

ВЫДРА — без усталости странствует хвостатый рыболов. Где промоины, незамерзающие талицы на быстрых реках, таяжных озерах, там поживает, выловит рыбу и уходит дальше. Путь держит от водоема к водоему строго по прямой: лесом —

так лесом, полями — так полями. Плотнее заселены выдрой реки, изобилующие родниками, с полыньями, свободными ото льда. **ГОРНОСТАЙ** — охотится вблизи кладей льна, соломенных скирд, сенялов.

ЛАСКА — чемпион по ловле мышей, полевок! В морозы и метели промышляет добычу под снегом юркая пролаза, не показывается на поверхность. Голодная ласка не струсит напасть даже на глухаря, ночующего в снегу.

БАРСУК — с осени накопил жиру и спит. Хоромы под землей на диво обустроены: отдельно спальня, отдельно туалет. Постель мягкая, сухо в норе и в меру прохладно. Если на дворе оттепель-потайка, выходит, повалается на снегу, хлебнет свежего воздуха да и обротно. Норы барсуков по оврагам, в буграх среди полей.

БУРУНДУК — и он спит. Очнется, то норку не покидает. Сгрызет корешок, похрупают сушеной черемухой из запасов и свернется клубочком. Ночь, день, — не все ли равно полосатому?

БОБР — старожил и новосел одновременно. Бывало, обитал повсюду, однако даже в XVII в. на ярмарках в Великом Устюге, славившихся торговлей пушниной, не попадались драгоценные бобровые меха. Последние бобры сохранялись под Тотьмой до середины XIX в. Сто лет спустя бобры вновь были завезены в Вологодчину из Белоруссии, из-под Воронежа. В сороковые — пятидесятые годы было расселено у нас 372 бобра. А сейчас на Вологодчине бобров около семи тысяч. Можно с уверенностью сказать: бобр прочно обрел родину на Севере.

К концу зимы истощаются запасы с осени заготовленного корма. Да и надоедают зверям «консервы» — моченые в воде сучья. Поэтому бобры нередко от своих нор, хаток роют подснежные туннели к зарослям ив, осин, берез, в мягкую погоду валат и довольно большие деревья.

СЕРАЯ НЕЯСЫТЬ — мышинная гроза, профессор ловчих наук. Отличается зоркостью: опыты показали, что при свете стеариновой свечи способна различать мышь на расстоянии 800 метров от источника света. И это, заметьте, в абсолютной темноте!

ЯСТРЕБИНАЯ СОВА — видит ночью, наверное, не лучше нас с вами, поэтому на промысле, когда в лесу светло.

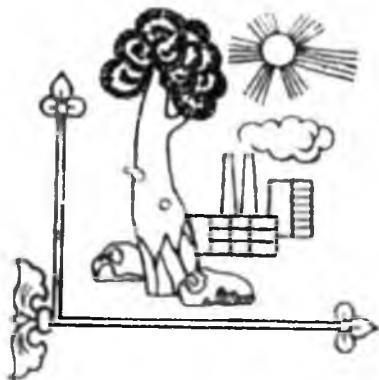
ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧИК — среди сов малютка, рожица умильная, писклявый голосок. Вечером летает — мышей и полевок ловит, утром — сонных птичек. Потом прячется в дупло: стучи — не достучишься. Как царь Кашей над златом чахнет, сидит сычик в дупле, в своих кладовых, битком набитых съестным добром.

ЛАСТОЧКА-КАСАТКА — прозвище получила за длинные косички вильчатого хвоста. Зимуют щеголуньи в Африке: кто в Северной — в Алжире, Марокко, Египте; кто в Южной — у экватора, на берегах Конго, на озере Ньясо. У нас метели, холода, а касатки испытывают беспокойство — не терпится домой улететь!

ЖАВОРОНОК — молчал, молчали в африканской саванне запел — стало быть, проверяет на дорогу голосок. Ему тут всех раньше покидать зимовье, чтобы нам к поре ручьев и луж песни принести.

Мой край родной

СИБИРСКИЕ ПОСЛАНЦЫ



Колодины во мхах. На елях сивые лишайники, точно бороды. Гриб-боровик под сосной, белка его расшатывает, хочет сорвать, а крепыш не поддается. Эй-эй, хвостатая, отступись, надорвешься! По земляничной поляне бродят глухарята, перемокшие в росе. На просеке лениво цедится ржавая застойная водича в когтистый отпечаток, выдавленный на сырой почве лапой медведя...

«Сердце Руси деревянной» — говаривали встарь о крае на-

шем. Только не всегда лес благодетельствовал крестьянам. Тесня хозяйственные угодья, насылая хищное зверье на скот, он выступал и лютым ворогом.

Поньше в редкость встретишь у нас деревню, где бы у изб имелся палисад с березками да рябиной.

Нет о лесе песен, нет преданий старины глубокой — слишком долго его лихом поминали наши предки...

100 000 квадратных километров заняты теперь вологодской тайгой — могучей державой ельников и боров, березовых рощ, ольховых перелесков! Богата тайга тишиной, прозрачной влагой ручьев, дающих истоки рекам, озерами в зарослях хвощей и кувшинок. Над этими лесами рождаются облака, чтобы пролиться дождем на хлебные нивы. Здесь очищается от копоти и дыма воздух городов, чтобы лучше дышалось всему существу на земле.

Часть великого русского леса, вологодский лес имеет некоторые особенности. Его своеобразие в том, что, занимая срединное положение, он пополняется породами как широколиственных древостоев Средней России, так и хвойников Сибири. На юге и западе Вологодчины встречаются дуб, клен, липа, лещина, зато в восточных — пихты, сибирские ели, лиственницы. И кое-где есть кедры...

Если пихты, ели-сибирячки самостоятельно проникли сюда, то кедры привлек человек.

В деревне Горка Сокольского района они растут в парке бывшей усадьбы. Еще есть кедры в сосняке около деревни Елакино, на Богородской мельнице в Великоустюгском районе. Также попадаются они в Петровской роще среди лип, где липняк появился на месте сгоревшего кедрача. Самый крупный массив в две сотни старых кедров расположен в деревне Чагино, неподалеку от Вологды.

Чагринские кедры, выписанные из Сибири, были посажены в 1902—1904 годах. Они охраняются как памятник природы, щедро плодоносят.



**Роща кедров — заповедный уголок около д. Чагрино
Грязовецкого района.**

Кедр, или правильнее сосна сибирская, от обыкновенной сосны разнится прежде всего шишками, а также цветом коры, длинными иглами хвоинок. Дерево достигает возраста 500—700 лет, высоты в 40 метров. Некоторые местные кедры изумляют своим могучим видом, толщиной ствола, густотой кроны — подлинны богатыри!

Древесина кедра — исключительный по красоте поделочный и строительный материал. Орехи вкусны, питательны. Из них получают масло, жмых идет на приготовление халвы, печенья, тортов. Смола кедра незаменима в авиационной промышленности, в судостроении.

Ученые-лесоводы, стремясь ускорить продвижение кедра в северный лес, сократить сроки развития и плодоношения ценного дерева, разрабатывали оригинальные способы. Например, к обыкновенной сосне прививают сибирскую. Метод этот доступен, им легко овладеть каждому.

...Выйдешь из лесу к железной дороге. Присядешь отдохнуть. Мимо летят составы — гружены рудой, каменным углем, но больше всего древесины. Иногда за час насчитаешь до десятка поездов-лесовозов.

Как знать, не помчат ли в будущем составы и вологодский кедр? Нынче его посадки стали занимать немалые площади, счет саженцев пошел на десятки тысяч.

НЕВОЛЯ

РАСПУШИЛСЯ, ножку поджимает, окошел начисто. В синичьей стае зяблик околачивается, посреди зимы, в лесу хвойном. Как он от своих отстал, к чужим прибилсь, — не у кого спросить, некому ответить...

— Пень-пень! — тараторят синицы. Мельтешат желтыми грудками, белыми щечками — в глазах у меня рябит.

Нахохлился зяблик, ножки попеременно в пуху греет, перья на нем дыбом.

Он, зяблик, весь для весны. Долго ее не замечают, весну. Только с прилетом зябликов становится она очевидной для всех. Той счастливой порой, когда ждут перемен и верят: все сбудется. Прилетает зяблик рано-рано, при нетронутых скрипучих снегах, сосульках с крыш и крепких утренниках с обильным инеем. Скомандует зяблик своей песней — и сбудутся лужи, набухшие почки, сбудется березовый сок, зелень травы, умягчающей лужайки, и цветы сбудутся, и зов кукушки, и радуга, что соединит землю с небом. О, он-то командир! Всегда бодр, подтянут, на цветном мундирчике ни морщинки! Бывает, заскучает... Это значит — хмурую погоду жди. Солнцепоклонник он, зяблик. Горюет, когда солнце скроется.

Много у нас зябликов. Так много, что не удосужимся оценить эту птичку. За песни, за гнезда, едва не лучшие в лесах, просто за то, что она есть...

— Пень-пень! — кричали синицы.

Одна впрямь к пню прилепилась. Отколупнув, обронила на снег соринку и цену себе набивает:

— Пень-пень... трах-тара-рах!

Вот как она: поддала по пню — и пень вдребезги, трах-тара-рах! Зяблик сорвался, сел к соринке и получил от синицы в бок щипок: не лезь куда не просят. Порхнул он на елку — и оттуда прогнали. Синица, замызганная замарашка, непутево прошипев, его турнула. Он к кустику, опять синицы в брань: «Пень, пень!» Чего путаешься, нам мешаешь, пень ты этакий!

Помыкает им, небось, всяк, кому не лень. Чужой: что ни сделай, все не так, не ладно. Плохо зяблик смотрится. Забит. Пришиблен. Ни присущей ему задорной молодцеватости, ни бравых поверток. По-синичьи прилепился к стеблю ржавого лабазника — спиной вниз. Давай ковыряться, авось чего отколется. И вдруг как ударит по-зябличьи громко и полнозвучно:

— Пинь-пиньк!

Нашел, откололось ему зернышко!

Синицы тут как тут, оттеснили, вытолкали. Поковырялись они, замусорили снег трухой и снова в брань: «Пе-ень! Пе-ень!» На что им какие-то зернышки, в горло не лезут!

— Пень-пень! — покорно, по-синичьи отозвался зяблик.

Пустилась стайка вдоль дороги к деревне, и зяблик с нею. Вместе — неволя, со стужей и снегами одному остаться — того горше доля.

Все не так, все не ладно, раз время не твое. Тут с чужого голоса как раз запоешь.

Замерло, потерялось в лесу:

— Пень... пень!

КОСТЬ

БЕЛЫМ днем мрачен лесной овраг. Что же тогда ночью, когда ущелье его топит тьма, в непроницаемую громаду сливается ельник и шныряют совы, клаянцем клювов, уханьем добавляя трущобе дикой жути? Летом постоянна в овраге сырая духота, крапивная глушь. Осенью — гниль, тлен и ветер; вой его в теснине достигает царапающей нервы впечатляемости и силы. После дождей ручей на дне оврага вспухает, точит крутые берега и сам себя хоронит под завалами деревьев, сползающих по песчаным осыпям вместе с глыбами земли, с пластами дерна.

На задворках деревни и такой нелюдимый угол! Мудрено ли, что овраг обходят стороной? Слухи бродят: мол, там разбойники-душегубы встарь прятались. Клады, мол, зарыты и «вопше нечисто». Беда, говорят, козь скотина от стада отобьется, прельстившись нематой зеленью: неосторожный шаг — и кувырк. На камни, на ошестиненные сучьями коряги с такой-то высоты!

Минувшей ночью волк сперва лежал в кустах у околицы. Разуверившись в успехе — коровы по хлевам, собаки вззаперты по сенам, — серый — чем бы поживиться! — прочесал мелкий, изреженный на дрова березняк и затем лишь спустил-

ся в овраг. Он облазил его вдоль и поперек и везде копался в снегу, как клады искал. Самая глубокая яма появилась под песчаной осыпью, далеко были разбросаны лапами мерзлые листья, красный песок, клочья травы.

Не пустой, с дорогой для него находкой выбрался бирюк из оврага по руслу ручья.

Когда серый останавливался перевести дух, оглядеться, он выпускал ношу из зубов. Тяжелая, наверное? Но что это была за находка, не разобрать.

Мороз скулы сводит. Змеится поземка.

В полях на первом же бугре пропали стертые ветром следы. Они объявились в ложине, похожие на узловатую канаву: глубоко вязнул бирюк в рыхлых наметах, грудью их распахивал.

Осиновый перелесок он перемахнул по заячьей натоптанной тропе, не задержался и в молодом соснячке, куда выхоят на кормежку лоси.

Что же такое волк несет, если не соблазнился погонять зайцев? Лоси — куда ни шло. В одиночку с лосем волк свазываться — себе обойдется дороже. Но зайцы? Почему бирюк проскочил без остановки через осинник? Куда и с чем он топится?

Вопросов у меня много, ответов пока нет.

Затуманены дали морозной мглой. Не обозначить взглядом, где кончается разлив полей и начинается выбеленное стужей небо. Обе стихии, кажется, безмерны: вверх стын белая и вниз стын. Стын и жесткий, вместе с тем зыбучий снег, рассыпающийся под лыжами, ползучий, точно песок.

Проминал наметы, барахтался и плыл волк через сугробы, влачился к лесу, будто к островку спасения в засилье стужи, ледящего ветра, белых бескрайних полей. Или это я туда тороплюсь? Скорей бы лес... скорей, скорей!

У опушки след волка пересекался со старой, еле заметной лыжней. Для волка и лыжня — торная дорога, и серый на радостях вывалился в снегу. Стал снег отливать краснотой: изрядно, знать, пыли, песку из шубы волчина повытряс! Почистился, отряхнулся он и пошел лыжней, увязая в снегу только по колено.

Он шел по лыжне, ни на что не отвлекаясь. Остановился. Должно быть, слушал ночь, дедал в ноздри запахи стужи и снега. Потом свернул в сторону и покопался под кустиком...

Дай-ка и я покопаюсь!

Разрыл я снег, и руки опустились. Кость, обглоданный зубами, начисто выскобленный мосол зарыт был под кустом.

Про запас, да? Возможно. Зима, время строгое: есть запас — считай, себя спас.

Из земли волк ее вырыл, через поля нес, в сугробах тонул и не бросил, предпочел голую кость в зубах зайцу у осинки, лосю в заиндевелом сосняке! И то сказать: лучше синица в руках, чем журавль в небе...

Ой, лучше ли, к чему лукавить?

Может быть, сунул этот мосол волк под куст, в зубах таскать надоело, и не вернется к нему больше. В засаде зябнуть, по дну оврага ямы рыть, обшаривать всякие там березняки, чтобы в итоге разжиться обглоданной костью, — тоже уж спасенье!

Я бы бросил...

Бросил бы кость под куст, как синицу выпустил: ну ее, из-за нее, того смотри, своего журавля прозеваю!

СНЕГОВИК

ВСПЫХИВАЛ искрами снег, кора берез слепила до слез, и были ветви инеем усыпаны, и от каждого ствола ручьями растекались тени — какие-то звонкие, словно серебряные. До того прекрасно было, что даже неловко: один на рощу радуюсь, восторгами поделиться не с кем!

Роща в полях. Скорее не роща, а перелесок со множеством пешеходных троп, наезженных дорог. В том причина, что снег неглубок: подвалит снегу — он заставит тропы и дороги слиться в один путь.

Если приглядеться, в любом уголке лесном, будь то хвойные дебри, закоряженные ветровалом, дремлющие во мхах и сырости под шепелявый ропот ветра в вершинах, будь то бор — сосны красные, белый мох, запахи горячего песка и смолистая истомы коры, будь то глухой ручей в овраге, где черемухи диким хмелем обвиты, папоротники по пояс и крапива выше головы, — в каждом уголке есть свое, неповторимое. Свое лицо и дыхание. Свое выражение. Дремучие дебри выражают себя тенью сумеречной, хвойной; бор — углубленной в себя задумчивостью... А роща молодых берез, она чем?

Белые стволы.

Кружево инея.

Тени ручьистые...

Гомонили, попискивали в роще синицы-лазоревки, и я засмотрелся на них. У нас лазоревок редко встретишь, они придерживаются более южных мест.

Я к ним на лыжах — они от меня.

Пугливые очень. Снялись стайкой.

«Си-си-си, си-тре-тата!..» — прокричали. Прошумели крылышками, и нет никого — ручьи теней, белые березы да голубое небо.

Жаль, что не подпустили. По красоте оперения лазоревкам нет равных среди синиц. Солнечная желтизна грудок. Зеленовато-голубые крылья. Хвостики лазурные. Темя и затылок голубые... Порхнули лазоревки с можжевельового куста — будто полевые цветы рассыпались в воздухе!

И ведь где они поселились? В березовой роще. Дать мне волю — я бы тоже здесь пожил.

А не лазоревками ли и выражает себя зимняя роща? С солнечными лужицами на снегу, с текучими голубыми тенями, с белой корой нашла она себя в этих синичках. В кра-сках их оперения, в трелях их негромких:

— Си-си... Тре-те-те!..

Черным заштрихована береста, будто ноты на ней написаны.

— Си-си... — тоненькими голосками пропели лазоревки по нотам березовой коры. Прищелкнули дробно и мелодично:

— Тре-те те!

И смолкли. Нашлось в роще что-то съедобное, попалось, чем клювы занять.

Прогалина впереди.

Иду к прогалине. Украдкой — от ствола к стволу. За кусты можжевельника пригибаюсь.

Повыглянул я из-за куста. На прогалине снеговик. Кособочится, нелепый и нескладный. Кое-как скатаны два шара, поставлены друг на друга — и все сооружение. Но в шляпе снеговик — прихлопнут сверху дырявой кастрюлей. Вместо носа еловая шишка. И брови тоже из шишек.

Э, брат, пейзаж ты портишь!

Метла бы снеговiku положена. Нет никакой метлы. Еще я повысунулся из-за куста и вижу: держит снеговик фанерку. Тара, небось, была, ящик из-под конфет или печенья. Крышка ящика досталась снеговiku. Держит он ее как поднос. Что-то такое на нем насыпано. Прыгают лазоревки по подносу, носиками барабанят.

На голубых ножках прыгают — белые щечки, лазурные хвостики, а клювы отбивают по подносу дробь...

Ловко, ну и кормушка!

Бели к снеговiku следы лыж. Узких маленьких лыж — ведь через рощу бегают в школу деревенские ребятишки.

И подумал я: березы в иное прекрасны, спору нет, а прелесть то рощи — в этом снеговике. Стоит, кособочится, дырявой кастрюлей прихлопнутый. К груди прижимает дощечку. А нос — еловая шишка, и на ней прыгает синичка, пищит: — Си-си, тре-те-те!..

ПЕРЕД ЧЕРТОЙ

В СПИНУ гудят паровозы. Шум железной дороги будет провожать нас долго-долго, до самого озера, до берега его с двумя избенками, завьюженными метелью.

Глаза слепнут и слезятся. День морозный, солнечный. Снег хрустит, будто накрахмаленный.

Следов на нем, следов! Мое внимание задержала, однако, заурядная лисья строчка. Право, не без причины.

Спокойно — как видно по следам — шагнули через лыжную лоси. Попаслись слева в кустах ивняка и убрили. Зайцы на протяжении нескольких километров несчетно раз проскакивали сдвоенную, до блеска накатанную колею. Горностаи, ласки сновали взад-вперед. А лиса? Мялась в нерешительности и улепетывала прочь.

— Виктор Яковлевич, — окликнул я смеясь.

Мой спутник сбавил ход. Обернулся, держа лыжные палки под мышками. Очки выжидательно посверкивают на строгом интеллигентном лице. Не вяжутся они как-то с серыми валенками-развалюхами, штанами в заплатках, пришитых на коленях льняными нитками по-мужски — через край.

— Замечаете, Виктор Яковлевич, — тише продолжаю я, — рыжая то с фокусами!

На щеках у Виктора Яковлевича острые складки. Тонкий безгубый рот словно бы заключен в скобки.

— А, вы о лисице? Она просто серая.

Зашаркали лыжи — кончен разговор.

И на том спасибо. Случается, сутками от Виктора Яковлевича слова не услышишь. Трудный характер? Профессия наложила отпечаток? Вернее, и то, и другое. И еще — озеро, обступающая его трупобная глухомань. Виктор Яковлевич — зоолог, чаще, чем с людьми, общается со зверями, птицами. Двадцать пять лет назад он впервые приехал сюда, чтобы насовсем поселиться у озера, где с крыши избы летом кукует кукушка, а в озерных затонах острова цветущих лилий напоминают издали скопления лебедей...

Озеро, озеро! Небо кажется очень близким — до того пол-

но, ясно отражается в тихих водах. Дуги берегов, размытых маревом, словно вот-вот истончатся, исчезнут, и будет... Что будет тогда, непонятно, но сладкая жуть охватывает тебя, когда стоишь на берегу, зачарованный безмерной тишиной, беспредельным покоем, и у ног — небо!

Встарь в окрестных лесах прятались скиты, и поныне можно кое-где наткнуться на развалины келий-землянок, заброшенные кладбища с каменными надгробьями. Одного монаха, по преданию, говорят, так заморочило озеро, что затеял он строить лестницу... к богу на небо ходить! Другой скитник, наоборот, возвестил, что озеро — райские врата. Старожилы в деревнях назовут вам добровольцев, кто тонул в озере, чтобы попасть в рай...

На берегу озера обосновался Виктор Яковлевич. В избе утлой, с покосившимися околениками. Ломятся от книг полки. Везде бумаги, карты, скальпели, колбы и скляночки. Вперемешку с ними валяются черепа — тут волчий, там россыпью — каких-то мелких зверюшек, а воздух едок от формалина, кислот, стены прокопчены, в щелях половиц ртутью блестит закатившаяся туда дробь. Обиталище зоолога несет на себе налет таинственности, чего-то колдовского.

Над чем он колдует? Над тем, чтобы зверю и птице было место на земле. Четверть века одно и то же, дни и ночи, годы подряд! Пусть будет лес! Пусть водятся на реках бобры, бродят по болотам лоси, снуют на лугах лисицы!

Вот хотя бы эта — серая... Ну продувная мордочка, ну шелковый хвост! Действительно, отчего ж ты серая?

Виктор Яковлевич попусту слова не молвит, я давно с ним знаком.

Живо представляю лисоньку: красный мех посеребрен инеем, ноги по колено черные, на груди белая пушистая косынка. Вижу, ясно по следам вижу: очень ей нужно перейти лыжню, — недаром рядом толчется. Справа болото, замерзшая топь. Истинно пустыня. Зато слева от лыжни — кочковатый луг, стога сена, ивовые заросли. Мышей в стогах — за зиму не переловить!

Опять она подскочила к лыжне. Постояла, переминаясь с лапы на лапу, и уныло поплелась прочь.

Спустя немного новые следы: зверь летел во весь опор. Разгон лисица брала, чтобы прыжком, по воздуху, одолеть роковую черту! И не решилась: взрыв снег, притормозила всеми четырьмя лапами...

По болоту расставлены шесты с перекладинами. Присада для хищных птиц. Кругом ни одного высокого дерева, и ка-



Молодой ястреб-тетеревятник. Пойдет ему второй год — сменит он наряд: охристый, бурый на серый, полосатый.

нюки-сарычи, пустельги, кобчики, ястреба используют шесты, летом — отдыхают и караулят добычу.

Скоро будет перелесок с дуплянками: ближнюю от дороги дуплянку навещала белка, устраивалась не раз ночевать.

Подхлынула грусть. На что ушли годы и годы Виктора Яковлевича? Затворничеству его каков итог? Не было на реках бобров — он их развел. Куниц, лосей не было, выбитых дотла, — сейчас есть. Звериный рай в окрестностях озера, где с крыши избы кукует кукушка, заводи полны лилий. Ну еще дуплянки, еще насесты среди болота! Еще тетрадки, исписанные косым почерком, — хотя об этом-то кто его просил? Ничего себе не остается у зоолога. Штаны в заплатках и потертое, с треснутой ложей ружьишко... В глаза ему говорят: «Не умеешь ты жить! Сколько получаешь-то? Э, у сторожа сельпо жирней навар...»

Осваиваясь в лесной глуши, Виктор Яковлевич, возможно, надеялся: за ним придут другие.

Лыжня, одна лыжня ведет к озеру. Не похоже, что ей суждено превратиться в торную дорогу.

Подвывая, в небо карабкался реактивный самолет, стонал с натуги моторами и стлал сдвоенный, как лыжня, белый след.

Гудели в спину поезда, их грохот не стал тише.

Виктор Яковлевич, поджидая, отдыхал, опершись на палки, точно под дуплянкой в перелеске, узким мысом вдававшимся в болото. Отверстие дуплянки забито снегом, будто ослепла она и, не глядя, примет в себя кого угодно: белка набежит — белку, птица захочет — птицу.

— Мне предложена новая работа, — сказал Виктор Яковлевич, когда я с ним поравнялся. — Гарантируется сохранение стажа, подъемные на переезд, жилье, ну и зарплата, естественно. Охотник — чем плохо?

Я молчал. Не нуждается Виктор Яковлевич в совете. Думаю, выбор им давно сделан.

А лиса одолела-таки лыжню. Перешагнула ее, и все. Ничуть причем не топталась на этот раз, выказывая перед следом человека непостижимую, так озадачившую меня робость.

Та ли, впрочем, лисица?

— Серая, — усмешливо наблюдал за мной зоолог. — Она, можете не проверять.

Тогда в лыжне причина. Но по виду она везде одинакова.

— Вы снег понюхайте! — рассмеялся Виктор Яковлевич.

— Ладно, без издевок, пожалуйста.

— Серьезно! Понюхайте! — сухарь, вечно застегнутый на все пуговицы, он даже развеселился. — Ну полноте... полноте! Открою секрет. Нынче на озере по соседству сомной зимует один старик. Пенсионер. Дед Федор с женой. Вчера он бродил на станцию. В магазин за продуктами и керосином...

— И керосина не принес?

Значит, от вонь керосина лисица шарахалась, а я не знал, на что подумать.

— Точно, — кивнул Виктор Яковлевич. — Впопыхах старик не довинутил крышку бидона, керосин на дорогу выкапал.

— Позвольте, — удивился я. — Отчего тогда лисы, другие звери не боятся дорог у деревень? Тракторы, грузовики... Снег прокопчен бензиновой гарью, черт те чем залит — где соляркой, где машинным маслом...

— Эх хватили! — перебил зоолог. — Нашли кого сравнивать: таежного зверя и побирušек, что у деревень отираются! Эта, — в голосе Виктора Яковлевича проступили теплые нотки. — Эта, сказано вам, серая. Ноги протянет, но не постуется повадками таежной вольницы.

Я пожал плечами и обронил вполголоса:

— Ноги протянуть — чего хорошего?

Он расслышал. Заговорил с горячностью.

— Но побираться еще хуже! Те же лисицы слоняются возле линий электропередач в надежде поживиться разбившимися о провода птицами. Дятлы приноровились вылетать на железнодорожные станции, где формируются составы с древесиной: чем в тайге зимой горевать, нашли, что выгоднее прокормиться на уже заготовленном лесе, благо тысячи деревьев поставляют им, считай, под нос. Синицы в городах, в поселках шарят: вывесит кто за окно в сумке-авоське, в пакетах продукты — белощекие не прозевают. В Англии, я слышал, синицы научились молочные бутылки откупоривать. Пакет расковырять клювом и добыть масла, к мясу добаться — им не задача! Приспосабливается зверье, птица к изменяющимся условиям. Только природе от того какой прок? Лес, поле им место, а не подоконник...

Зоолог отвернулся и закончил глухо:

— Идем!

Слепит глаза снег — чистый, ясный, не омраченный ни копотью, ни чужим для шлухомани следом. Одни звериные следы. Только лыжня.

Прямая, как по линейке прочерченная, порождает лыжня тревогу: долго ли мне на озеро хаживать? Не встретит ли меня однажды на берегу заколоченная избенка? Гудят в спину паровозы, лязгают колеса по рельсам, и шум этот, железный грохот словно бы не пускает меня в безмолвие синеющего вдали леса, где деревья в дреме, глубоки снега и одни гудки нет-нет и напоминают об оставленной позади жизни.

Как их примирить — грохот железный и выстуженную морозом тишь? На чем они поладят? Поладят они, придется! Что же ждет тогда тех, кто оставил возле лыжни свои то беспечные, то пугливые следы?

ЗАГАДКИ ДЕДА- ВСЕВЕДА



ПРО ВОРОВЬЯ-ВОДОЛАЗА, О ЛИСТОПАДЕ И КОМАРИКЕ НА СНЕГУ

На печи я лежу и в уме держу: почему чего не надо, того даром не отдашь, а чего надо, ничем не купишь? Прихворнул, поясницу ломит. Был я, был у докторов: велено на чистом воздухе бывать и здоровечко-то нагуливать... Ох-хо-хо, яблочко катится вокруг огорода, кто его схватит, тот и воевода!

Тс-с, старуха моя уже к соседям соберется — новости послушать и свои рассказать, — мы в лес живо по новые загадки сбегает.

Сейчас в прежних разберемся.

Сперва о «лысой» осине. Не знаю, зайцев-верхолазов встречать не доводилось. Но осинку как раз заяц обкорнал. Под грузом снежной нависи пала осинка

ка вершиной в сугроб. Заяц тут как гут: вершинные сучья мягче, кора сочней, — и глодал, не зевал, власть лакомился. Подгрыз он сучок, которым осинка в сугроб вмерзла. Как вскинется деревце! Осина макушкой вверх, заяц со всех лап от нее. И вся история! Теперь разберемся: кто в лесу цирюльник — елки стрижет, как прически ладит? Белка, она самая. Когда в борах плохо с еловыми семенами, основным беличьим кормом, зверек прибегает к почкам, в особенности еловым. «Белка на еловой лапочке», — говорят охотники, считая это плохой приметой. Будет зверек кочевать в дальние уголья, где урожай шишек выше, и оттого промысел пушнины пострадает...

Под снегом, редко выходя на поверхность, зимой держатся мыши, полевки, водяные крысы. Помимо прочего, они кормятся корой, мелкими прутьями кустарников: наголо зубками стригут. А хвойные коврики под соснами постланы глухарями. Довольствуются птицы-великаны хвоей сосен, ягодами можжевельника. Щиплет глухарь иголки и, ясно-понятно, мусорит: под некоторыми соснами снег сплошь хвоей засыпан.

Что касается последней загадки, то вы ее, надеюсь, легко отгадали: зимой выют гнезда клесты. У них клюв кривой, кончики крест-накрест,

похож на ножницы или шипцы — кому как покажется. Таким клювом удобней распечатывать шишки.

Птенцов клесты выкармливают кашей из семян, распаренных в зобу. Птенчики в гнезде клеста разновозрастные. Зеленая (в отличие от нарядного, в красивом ало-красном оперении самца) самочка начинает насиживание, как снесет первое яйцо. Получается под конец: младшим птенчикам мать дает кашку, а старшему — шишку. Подрост — пускай учится семена добывать! У птенцов клестов клювы прямые. Искривятся, сложатся клювы кончиками крест-накрест, когда птенцы, покинув гнездо, станут самостоятельно питаться семенами из шишек.

Легкое было мое задание, верно?

Ужо мы еще интересней затеек-загадок наберем, как в лес поведем.

Ай-я-яй, где мой полушубок? Где валенки? Так и есть, бабка спрятала, чтобы я потихоньку от нее в лес не утонулся...

— Ох-ох,— я расстонался,— ноги зябнут.

Бабка сунула на печь валенки. Вот и обут в дорогу.

— Ох -ох,— дальше жалуюсь,— озяб, зуб на зуб не попадает.

И полушубок дала — грейся.

Хвать я шапку, а Антипьевна хвать меня за полу:

— Ты куда?

— Бабушка, на печи лежа, от хозяйства отстал, кругом соседям задолжал — в лесах зверям, в полях птицам...

— Знаю я твое хозяйство! Никуда не пущу!

— Мне доктор велел гулять, чистым воздухом дышать...

— И я с тобой!

Делать нечего, вдвоем отправились.

Снегу ночью навалило: пух, прямо пух. К околице едва выбрались. Глажу, моя бабуся раздумянулась, платок развязала, рукавицы в карман прячет.

— Тепло? — говорю.— Скоро будет еще теплей: ведь в лесу листопад, комарики пищат, воробей купается, со дна реки рыбку тащит.

— Полно, старый кашлюк, насмешничать! — она обиделась.— Где это видано, чтобы зимой комар, чтобы воробей рыбу ловил?

Молчу. Чего доброго, назад повернет, меня на печь уведет.

Впрямь сегодня благодать: ни ветерка, солнце.

По изгороди синица скачет — вертушка-егоза. Тренькает, как на балалаечке наигрывает: «Пили-ели, пили-ели... Весь день! Весь день!».

Спасибо, милая, на добром слове! И из кармана горсть подсолнухов под елку сыпнул: клюй да нас не забывай, летом в огород летай — капусту, огурцы, морковь от гусениц, червячков чистить!

— Половину мыши съедят,— проворчала Антипьевна.— Мог бы и кормушку сколотить.

Нет, бабуся! Перед синицей я в долгу, а перед мышкой вдвое: сколько я лет пушнину промышлял! Думаете, при чем мыши? Эге, они как раз среди главных причин, что тайга-то наша — кладовая мехов. Горностаи и куница, хорь и лисица процветают, ежели мыши-полевки есть им на прокорм: сыты звери, то на шубейке волос — чистый шелк.

Вот-вот, намерен шелковой шубейке долг вернуть, не обходи вихлячий хвост подачкой!

Был я молодой, широко ходил. Нынче из прежних дорог лишь ближнюю тропку топчу. Зато лес... Лес сам ко мне ходит! Чуть ли не к избе! На то у меня кормушка под елкой; для того с осени я берез, осин нарубил, зайцев, лосей к околице привадил.

Снега блестят, искрятся, и небо — бездонная голубень. Краса какая! Есть ли, право, время лучше зимы?

Жаль, кончается она — вот уж листопад начался.

Да, это и есть моя первая загадка: какие деревья в канун весны листья роняют?

— Не ответят, — заволновалась моя Антипьевна. — Ты б, старик, чего полегче спросил. — Потом спохватилась, заахала: — Комары... Правда, комары! А по снегу какие-то блошки скачут. Колдун ты у меня, дед!

Кстати, комарики на снегу — зимняя примета. Ну-ка, разгадаете ли вы ее?

Шли мы, шли и к роднику-ручью пришли. Круглый год он бурлит, плещет, в стужу не мерзнет.

— Тили-тили! — по камням суетится черная птичка, на снегу следки, как бисер, ниже.

— Кто это? — я бабушке говорю.

— Воробей? — она смотрит вопросительно. У нее как малая птаха, так сразу воробей.

Вдруг наш воробей покачал хвостиком и с камня бульк в воду.

— Ой, — вскрикнула старушка. — Ой, утонет!

Птаха, нырнув с одного берега, выскочила на другом — в клюве рыбка трепещется.

— Неужто, старик, ты эту загадку загадаешь? — того пуще Антипьевна беспокоится.

— А что? Всего-то она третья...

— Хватит и трех!

Хватит, то и вся сказка. Кто ее рассказал, тому бубликов связка, отгадчику-то пирожок — приходи на чай, дружок! Все вы, знатоки-следопыты, приходите деда навестить, у самовара погостить!



СЕВ после оттепели, сугробы лежат нетревожимо. Крепко-накрепко смерзлась навесь, и сучья деревьев, хвойные лапы как в оковах. Жмет по ночам стужа, растет иней. Дрожь озябших звезд по ночам, уханье филина из лесных потемок...

Днем валит снег. Рыхлый, волокнистый и белый-белый в самую серую пасмурь. Нет снега белей, чем в марте. И нет синей теней, чем в эту пору, когда прояснит и покажется солн-

це. Оно пригревает, ясно-солнышко. Правда, понемногу — ровно настолько, чтобы оттаяли запахи коры и хвои, чтобы висячий сугроб на какой-нибудь ели за целый день едва-едва нацедил всего-то капельку водички!

Время добрых ожиданий — весна. Был глубокий смысл в том, что славяне в древности начало нового года отдавали весне. Почти пятьсот лет понадобилось, чтобы принудить народ отмечать новолетья в сентябре, как приказывали патриархи и князья. Гонимые жестоко, месяцесловы ушли в стоустую народную молву, и она сберегла их вещи страницы, как завет поколений прошлых поколениям грядущим — любить землю, беречь ее красу.

Весна — какой она выдастся? От того, как пойдет весна, зависят хозяйственные работы: «Вешний день год кормит».

«Нет такого подрядчика, чтобы к сроку весну выставлял», — предупреждали месяцесловы. «Надейчива весна, да обманчива».

С наступлением весны жилось мужику труднее: «Красна весна и голодна», «К весне хлеб по сусекам мелеет». Корма по хлевам и конюшням на исходе, с крыш солома идет в ясли: тощи буренки, конь-работяга и тот впроголодь стоит. Насколько вошла в обычай весенняя бескормица, что была сложена поговорка: «К весне и добрую скотину за хвост поднимают».

О марте месяцесловы рассказывали: «Февраль зиму выдувает, а март ломает», «Февраль силен метелью, март — капелью».

Ранней весной «сверху печет, снизу студит». Оттого слыл март «позимьем»: «Март — февралю-бокогрею младший брат».

Мало было творцам календарей дать краткий и емкий образ того или иного месяца: чуть ли не каждый день наделялся приметами, украшался узорочьем складных погудок-побасенок, то усмешливых, то горьких, но всегда поэтичных и легких для запоминания.

Например, первый день весны испокон веков был известен как «новичок».

6 марта — «Тимофей-весновой: тепло веет — стариков греет».

Пожалуй, не всякий старик с горячей лежанкой расставался ради солнечного мартовского денька, зато детвору разве дома удержишь? Чуть пригрело — и все на улице!

Бывало, то-то радость, если сор у избы завываивал, если с крыши сосульки блестят! Бродишь у дома под окнами. Бере-

зы оттаяли, белая кора стала мокрой, даже парок от нее идет. Голуби воркуют, воробьи чирикают, распушив серые перышки...

Ходишь, ходишь и увязнешь в сугробе: снег влажный, податливо проступается. Увяз — слезы тут как тут. Ну и бабушка тут как тут, сбегает с крыльца.

— Что? Наш Прокоп увяз в сугроб?

Вызволит из снежной западни, под носом подотрет. И опять у нее готова складная поговорка:

— У кого как, а у нашего гуляки уже под носом Василий-капельник!

Кстати, 12 марта и бывал «Прокоп — увяз в сугроб», а 13 — Василий-капельник.

14 марта... В церковных святцах значился этот день, как «помяновение великомученицы Евдокии». В народе же ее прозывали: «Евдокия — замочи подол, под порогом мокро!» Известна была она и «плющихой»: «Авдотья снег плющит», то есть мокрый снег начинает плющиться, оседать. Обыкновенны в начале весны сильные ветры. Поэтому называли Евдокию также «свистухой». Вообще, хоть и март, весна, однако «тепло светит солнышко, да Авдотьей поглядывает — либо снег, либо дождь».

День 17 марта в народе был посвящен грачам. Ждали прилет этих птиц: «Грач на горе, так и весна на дворе», «Грач зиму расклевал».

22 марта — весеннее равноденствие. Молодежь сходилась за околицу. Ребятишки с крыш, с заборов весну кликали:

Весна-красна!
Что принесла?
Теплое солнышко,
Красное летечко...

После 25 марта, указывают месяцесловы, «тропинки чернеют, снег тревожится».

30 марта — «Алексей — с гор вода». «Сани покинь, телегу подвинь».

Конец марта — весна не только по календарю.

В берлогах чащобных пошли у медведей-космачей потягушеньки. Один рот и тот надвое дерет. «А-ах», — зевают медведи, ворочаются и потягиваются.

Не отличается в марте погода постоянством. Молода весна. Случается, что и не тает. Сколько снегу уберет, того больше наметет.

Все равно волки возвращаются к старым логовищам из дальних странствий. Луна — волчье солнце. Дикая вой будит окрестности:

— Уа...у-а-а!

Несестественно громадным кажется зверь в обманчивом свете луны, когда, взметнувшись на бугор, запрокидывает к небу лобастую голову и шлет заунывные вопли в холодное мерцанье полей, в темные перелески...

В погожий денек играют белки в салочки, причем особенно понравившееся им дерево, чаще всего сосна, превращается в клуб, куда сбегаются хвостатые зверьки целой округи.

Наступает наконец утро, когда на снег спускается глухарь.

Громадный, черный, на груди вороненые с зеленым отливом латы, распустив бурые крылья, бредет по сугробу. Дергая шеей, встопорчив бороду, чертит он крыльями, прищелкивает, извлекает из горла странные звуки:

— Т-ток! Т-ток!

Возит глухарь по снегу крыльями, ведет дальше и дальше волнистую черту...

Вот он, рубеж весны, та граница, какую зиме не переступить. Бывает на Севере по-разному: в марте метели, в апреле снегопады, однако след крыльев глухаря предел зиме кладет.

Грач на березе — жди скворцов, жди жаворонков на проталины, уток в полыньи-промоины!

Воистину скворец — народная птичка. Есть тонкие ценители пения наших скворушек, умеют разложить его на колена: полукурант, ямщикий свист, ржанье, червякова дудка...

Свищет скворец у тесового домика, весну подгоняет: ну-ка, поторавливайся, прыти прибавь, заждались тебя!

А и чего бы подгонять?

Видишь скворца — знай: весна у крыльца!

САМОЕ - САМОЕ

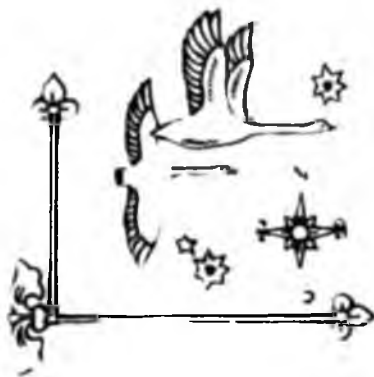


Март — это весна, однако еще прохладно. Для Вологды средняя температура марта — 6,2, для Великого Устюга больше — 7 градусов мороза.

Проталины на полях под Вологодой появляются около середины марта. В 1925 году земля из-под снега стала показываться с 12 февраля, в 1910 — только после 13 апреля.

Грач — вестник весны. Всего раньше вологжане встречали грачей в 1979 году — в конце февраля. В 1941 году грачей не было до 8 апреля. В 1967 году — на месяц раньше сроков — 10 марта прилетели передовые стайки скворцов.

КТО И ГДЕ ? КУДА И ОТКУДА ?



КУНИЦА — пригрело солнышко, и будущая мама ищет дупло для детской. Требования предъявляет строгие. Главное, чтобы тепло было и сухо, от врагов укромно и

безопасно. С дуплами трудно, обойдется куничка и беличьи гнездам-гайном. За зиму шубка потерялась, ни прежнего лоска, ни блеска, а галиняет, полез волос, мягкая подпушь.

НОРКА — игры, беготня до упаду! Что ж, когда и порезвиться, как не весной? Держится черек-пролizza по ручьям, рекам, захлапленным буреломом и ветровалом.

ХОРЬ ЛЕСНОЙ — беготня и потасовки, поиск логова для лета, линька — все у него вместе. Не привередлив хорь, может поселиться хоть в куче хвороста, в поленнице дров на лесосеке, хоть в сарае людной деревни, хоть в лугах где-нибудь под трухлявым пнем.

РЫСЬ — по ночам эти таежные коты задают концерты. Дерутся

шерсть клочьями! Если снег сильно тает, рысь неважный ходок. Порой по следам видно: как в лапти обута. Значит, талый снег налипает к подошвам.

ЛОСЬ — старается меньше ходить: заледенелый наст в кровь ранит ноги.

КОСУЛЯ — эта изящная козочка иногда появляется на Вологодчине, в угодьях, соседних с Ярославской, Новгородской, Ленинградской областями. Снег и наст осложняет передвижение. Нуждается косуля в подкормке.

ОНДАТРА — переживает голод. Всю траву подъела возле зимних хаток и нор. Встречается ондатра — мускусная крыса, завезенная к нам из Северной Америки, повсеместно в болотистых низинах, по берегам водоемов.

ТЕТЕРЕЗ — у косачей набухают красные брови, появляется синий глянec и.а. шее и груди. К весне готовы! По утрам петухи с берез

упражняются в весенних песнях. Урчат поодиночке: «Ур-ру-ру, уру-ру, круты перья оборву!»

ЧИБИСЫ — переловные кулики прелетных стай на приречных лугах, вытаявших буграх.

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН — стаями тронулся в путь с зимовок, расположенных в Средней Азии. Плывут в вышине караваны, держа направление на север.

ГУСЬ-ГУМЕННИК — стаи достигли Белоруссии, Нижней Волги.

ЖУРАВЛИ — валовый пролет по всему югу страны, в Закавказье. В конце месяца можно ожидать переловных журавлей в Подмосковье.

ОВСЯНКА — перья на шее и грудке стали желтые. Нарядилась птичка повешнему, однако кладей соломы, амбаров и зернотоков не покидает.

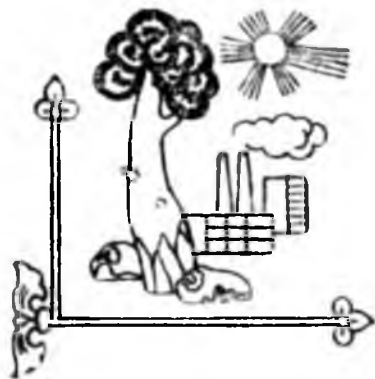
СТЕРЛЯДЬ — косяками скапливается к устьям ключей, родников, у полыней. Март на исходе — зимовке конец.

МОЙ КОД РОДНОЙ

ОЗЕРО, КОТОРОЕ ПАШУТ

Редки селенья. Холмы с россыпями валунов, каменистые гряды и лощины заполнены лесом. Вцепившись в гранит корнями, сосны кренятся над оползнями и обрывами, засматриваясь в синие глаза озер. Лес и озеро, все лес и лес, тропы звериные, часовенки на роcтанях дорог!

Неисчислимо озер в таежном углу между Онежским и Белым озерами. Берега их издавна облюбовал человек. Археологи, производя раскопки, находят здесь орудия труда давностью в три тысячи лет.



А в деревне Кирилловской был обнаружен клад: горшок, спеленутый берестой, с серебряными монетами времен Ивана Грозного и Бориса Годунова.

А на берегу Кортю-ручья есть остатки металлургического предприятия, снабжавшего много веков назад окрестных жителей изделиями из железа.

Близ Пахом-озера поныне целы земляные пещеры, некогда укрывавшие холопов, бежавших от крепостного гнета на вольный Север.

Что? Интересно? Так бы и навесил дивный озерный край! Может быть, повезло бы, то на Роб-озеро попал?

Оно хранит тайну, удивительнее которой, право, поискать!

Было 15 августа 1663 года. День стоял ясный, на озере было много рыбаков. Вдруг послышался шум, и пораженные люди увидели, что к ним движется гигантский шар. Его окутывал дым, сквозь него вырывались наружу два огненных луча.

Шар снизился, медленно поплыл над озером. Он источал невыносимый жар и насквозь просвечивал восьмиметровую толщу воды. Рыба покидала омуты, жалась к берегам.

Там, где шар ближе всего соприкасался с водой, на поверхности появлялась ржавая пленка. Двигаясь к югу, шар исчез в небе. Затем вернулся и опять пролетел над водой. Яркость его уменьшилась, он пропал из вида, чтобы еще, в третий раз, возникнуть над озером. Казалось, он стал больше и ослепительней. Наконец пропал навсегда. В общей сложности полет огненного гиганта диаметром около 40 метров длился часа полтора на глазах многочисленных очевидцев.

Что это было? Таинственное явление природы ждет своей разгадки... Есть и другие тайны в озерном краю. Об одной такой тайне не преминут вам поведать в минуту откровенности стар-старичок или ветхая бабушка-баюня:

— Прежде верили, что в лесу за главного — лешак-лесовик, в воде — водяной. И-и-и, блажила сила нечистая, кудесила во времечко-то старое, досельное! Уйдет девушка по ягоды — и нет ее. Знать, лешему приглянулась, за себя взял. Рыбак в бурю-вихорь потонет — водяной утянул горемычного в зятя для русалки-дочери...

Были, были водяные-то прежде! В Онего-озере — свой большак, в нашем Кушт-озере — свой. Друг к другу в гости хаживали гоститься, в карты игравали. Наш-то, куштозерский, беда, азартный был игрок. Снимутся кромешники в карты резаться, так он все просадит: и рыбу, и воду, и сам себя. Раз добро просадил, иди батрачить. Да года по два, по три водяной из Онего-озера его из своей упряжки не выпускает, а мы сиди без воды, без рыбы!

Кушт-озеро велико, запас воды примерно сто миллионов кубометров. И такой огромный водоем, как можно понять из бабушкиной басни, обсыхает дочиства — настолько, что дно озера пашут.

Исчезает вода, как правило, зимой. Так было в 1860, 1891, 1921, 1949 годах. Бурля и клокоча, вода уходит в глубокую яму. Последний раз на Кушт-озере пахали дно в 1949—1950 годах. Сеяли овес.

Помимо Кушт-озера периодически исчезают Каинское озеро, Унд-озеро, Коч-озеро, Долг-озеро и многие другие. Наполнение водоемов после обсыхания происходит не из провала, куда ушла вода, а из окружающих болотистых озер, рек. По крайней мере, так считают исследователи. Но куда девается вода? Рыба? Известно, например, что один рыбак на Унд-озере пометил пойманную им щуку металлической пластиной. Впоследствии щука была отловлена в Белом озере!

Как предполагается, озерный край имеет под землей разветвленную сеть водных артерий в известняках. Так Шим-озеро соединено подземным ходом с Долг-озером, откуда вода переливается в озеро Онежское. Кушт-озеро соединено с низлежащим Каинским, из которого цепь провалов тянется к озеру Белому и т. д.

Появляется в озерах вода, с нею и рыба. Со дна, где недавно жали хлеб, сети приносят лещей, язей, по чешуе которых легко определить, что рыбам не менее тридцати лет...

ШАЖОК

ПРЯНУЛО! Ну и грохнуло—близко так, оглушительно и внезапно! Что такое? Словно бомба! Затем тишина. Оборвался обвальный грохот в голубени стылой, утренней, когда вот-вот встанет солнце, спросонок румяное, когда сны ночные досматривают снег, деревья и ветер...

Уши заложило или чудится мне, как иней опускает хвою, ежась от стужи елки?

Прибавил шагу. Скоро показалась река. Вернее, я угадываю, что это река. Будто «куча мала» поваленные деревья. Сугробов к ним навалило — не подступиться. Лыжи снять — в снегу увязнешь, на лыжах же не подняться — так круты суметы, кругом торчат голые сучья.

С трудом, но вскарабкался наверх. Русло реки по дуге пересечено заснеженным валом бобровой плотины. Передо мной основная запруда, а справа и слева проглядываются перемычки. Они устроены бобрами, чтобы как накапливать воду, так и сливать ее излишек, умерять напор течения.

Издали в верхней перемычке темнеет проран. Бобры разобрали перемычку и спустили воду к главной запруде. Обмелела за зиму река, возникла опасность, что обсохнут подводные склады кормов и жилые бобровые хатки. Да и зачем воду беречь: затают снега — будет ее с избытком.

Уровень воды в верховье резко упал. Лед провис, сгибаясь под собственной тяжестью. Висел он, висел и пошел змеиться трещинами, и осел наконец с обвальным грохотом.

Глыбы, зеленые на изломе как бутылочное стекло, у берегов нагромозило стоймя. Лег лед, крошась обломками, и вытеснил воду — течет она поверх снега...

Весенняя примета, если бобры на своих поселениях разбирают перемычки. Шажок навстречу весне они делают. Пока еще короткий, зато какой громкий!

ЗАГАР

Ночи сейчас принадлежат зиме. При луне и звездах горят, дымятся снега, густой иней одевает кусты, полевой бурьян. Изморозь, одновременно пушистая и колкая, возникает из ничего — из лунного света и пустоты полей, из черных теней и блеска звезд. К утру сгущается туман, который долго стоит и после восхода солнца.

Днем солнце, горят снега. Днем весна.

Вербы зарумянились. Полиливели ольхи... Любое дерево всего краше весной, когда на пригреве смуглый живой загар тронет тонкую кожу его ветвей!

ЗЕРНЫШКО

Чик чик... — стучит молоточек. При солнце в полдень: чик-чик!

Поет молоточек, по наковаленке бьет, весну кует.

С хвойных игл срываются капли.

С ветки на ветку, капля по капле чик-чик...

А в снег упадет светлая капля — застынет зернышком ледяным.

Долго бить молоточком в наковаленку, сугробы будить, долго-долго лесной капели петь, на снег ледяные зерна сеять, пока то из такого зернышка проталина родится, первый ручей пробьется!

СВОЙ ЧАС

Нынче у нас под окнами на тополях было птичье зимовье. Тысячами вороны собирались ночевать, плотно облепляя деревья. Сучьев не хватало, поминутно вспыхивали ссоры: полночь не полночь, на бульваре в тополях давка, хлоппанье крыльев, и небо рябит от кружащих птиц, которые то взвывают вверх черным смерчем, то рассыплются с карканьем, тесня с насестов других ночлежниц. Ни минуты покоя. Так нам надоело шумное соседство!

Исчезли наконец. Подались в Воркуту, в Ухту, либо на побережье Белого моря, откуда и наш тополевыи бульвар, может быть, видится серым воронам желанной Африкой. Известно, что вороны с севера улетают на зиму от пурги, стужи, от темной многомесячной полярной ночи.

Убрались серые. Ну да, по домам. Не стало их однажды в тусклое от густой изморози, глухое утро, когда весной еще и не пахло. Заторопились. Переждали 6 денек-другой, так нет же, нет!

Я опять остался ни с чем. Ни с чем, как есть ни с чем...

Надеялся, не подскажут ли вороны — благо, зимуют под окном, — как они, вообще птицы, определяются во времени. Пришла пора — улетают. Нельзя, рано — и ждут, хоть того теплей на дворе. Они знают свой час — вот в чем дело. Им дано владеть этой тайной.

Следил я за горластыми ночлежницами, но думал о тех летних певуньях, чьи зимовки в дали дальней, действительно в жарких странах. Что же побуждает их бросать пальмовые рощи, благоуханную роскошь джунглей и пускаться в тяжелую, сопряженную с риском дорогу еще тогда, когда на их родине снег, стужа, реки скованы льдом? Прилететь необходимо в срок. Ни раньше, ни позже. Жаворонку — к ранним проталинам; ласточке — к комарам, к мухам; иволге — к зеленой листве. Всею свое время и свой час. Есть время одолевать дорогу и время заводить гнездо, как людям есть свой час сеять и свой срок жать...

Время! Мне бы его постичь, как постигли птицы, чтобы тоже знать свой час, свой срок! Рано — и посев мой побьет мороз; поздно — и не даст мне поле, не успеет дать урожай...

Да, да, есть у каждого из нас свое поле, каждому из нас нужно получить свой урожай.

Пусты тополя бульвара по ночам.

Днем чуть пригреет — с сосулк сорвется одна-другая капля, но это похоже скорей на простудный насморк, чем на вешнюю капель. Воробьи путаются под ногами прохожих, клюют на тротуарах всякий непотребный мусор и с холоду пушат перышки. По улицам ветер завивает поземку.

Надо ждать. Ждать и ждать, что повеет стойким теплом, налетят грачи и расклюют зиму, в свой срок повиснут над полями жаворонки.

Эх, если б мне уметь определяться во времени! Все стерпел и снес бы, чтобы в свой час над своим полем с песней взмыть, как жаворонок!

ГОРКА

СОЛНЦА, солнца-то — слезу вышибает! Воздух... Не надышаться!

Но после снегопада елки освежили пышные шубы, пни

обновили шапки. Выставляются пеньки: ну-ка, налетай весна — шапками закидаем! А шубам и вообще, как посмотришь, износу не будет.

Видел — синица шмыг в дупло. Намеревалась, вероятно, примерить, не подойдет ли. Снегу там навьюжено! Вскочила синица, как ожегшись. Юрк на ветку. Встряхивается, перья пушит. Носик о ветку поточила, еще встряхнулась: всю снежную пыль я вытрясла? Нашла, что всю, и зазвенела:

— Синь-день! Синь-день!

Денек, спору нет, синий. Солнца вволю, хоть весну объявляй. За малым остановка: снег в лесах, стынь в полях...

Под вечер выбрел к ручью — белому в белых берегах. Расположился отдохнуть: за день на место не присел.

Вдруг — горностай! Диво дивное, снега он белей. Нет, я знал, что у горностая зимой одна кисточка хвоста черная, но никогда не встречал этого зверька иначе как летом, оттого и поразился его белизне.

По берегу скатился горностай, поджав короткие лапки, и в два прыжка взметнулся обратно. Качаясь, постоял столбиком. Сижу я, не дышу. Лизнув языком грудку, живот, горностай плюхнулся в снег и покатил по спуску, как с горки.

Опять и опять забавник скатывался с берега, так что на моих глазах промял в снегу желобок. Всякий раз, очутившись на берегу, он трогал шубку языком. Можно было подумать: не столько он катается, сколько шубу чистит и лошит, пусть будет пушистей и белей. Наверное, мог бы он и по-другому почиститься — вылизался бы, что ли но... Весна, пришла к горностайке весна, и этим все сказано!

НА ПОМЫВКУ

ПОХОЖЕ, вчера бор противоположного берега белел: сосны — на кудрях папахи, елки — в мантиях королевы! Запритавало — и долой папахи, сосны сплошь стали простоволосы; елки словно конфузятся, в хвое проглядывают жухлые, побитые морозом иголки...

По субботам, по воскресеньям омут берут в осаду рыболовы. Долбят во льду лунки, колдуют над снастями. Блеснят окуней, на мормышку ловят плотву, на мотыля — кто клюнет.

В будние дни пусто. У промоин на перекате, у лунок стынут неподвижно серые вороны.

Подвигается рыба, как говорят, «на промывку пошла». Из заливов, ям закоряженных, илистых ям к полыньям пошла, к свежей водичке, к полыньям и проточинам — мир поглядеть, себя показать и по пути на быстринах, песчаных отмелях помыться.

Караулят вороны — клювы наизготовку.

Подвынырни только малек, покажись рыбешка воздуха глотнуть, чешуей блеснуть на солнце — они цоп и выбросят на снег. Свара тотчас, между воронами драки... Мытая, не мытая рыбешка — им все равно!

Раздвигаются промоины. Кое-где лед осел, поверх хлещет вода, смывает зернистый снег.

Идет рыба — в одиночку, косяками. Кончилась зимовка, весну рыба чувствует.

Черным ли клювом ее остановить?

РЫЖИЙ-ПОЛОСАТЫЙ

ЛЕВЫЙ склон оврага отлогий, зарос кустами, а правый — крут, обрывист, в оползнях и осыпях. По его кромке сосны клонятся вершинами, заглядывают вниз, на шумный поток, который или ворочает на дне оврага камни, или ныряет под толщу снега, навьюженного в теснину, и рокошет грозно и глухо.

На снегу вытаяла лисья дорожка. Она красная, дорожка, — мало ли песка выносит на лапках лисица из своей норы!

Кроме лис, живут по оврагу в норах барсуки. Позапрошлым летом здесь встречали енотовидную собаку. Енот куда-то подевался, ушел, наверное, в другие места, лисы же и барсуки в овраге постоянны. Под землей у них целый городок. Берега оврага из сыпучего красного песка, копать легко.

У одной норы — ворох сырых листьев.

Что это такое? А, барсук постель сушит...

Вон лисьи следы на снегу пересечены отпечатками маленьких лапок. Бурундук пробежал. К ручью напиться.

Зимой бурундук, подобно барсуку, земляной затворник. Спит себе на боку.

Если у лисы красная от песка дорожка, то, значит, лисонька о логовище заботится, нору ремонтирует, где скоро выведет свое потомство.

Если на снегу бурундучишка пробежками занялся, стало быть, кончилась для него зимняя спячка. Он едва глаза прoderет, обязательно сходит напиться: истомился за зиму жаждой.

Продвигаясь вперед, я глазами обшарил валежник и кусты. По своим повадкам бурундук — зверек презанятный. Я надеялся на встречу с ним, раз человека он мало боится.

Да вот и он!

Я прислонился плечом к елке, сучья ее укрыли с головой. Достал бинокль и навел на зверька, хлопотавшего подле кучи хвороста. Бурундук рыжеват, с пятью четкими полосами на спине. Белые пятна на пухлой круглой мордочке напоминают очки. Пальцы передних лап словно бы в маникюре: в песке коготки бурундучишки.

Под хворостом у него была нора. Он исчезал в ней с завидным проворством, чтобы через минуту появиться с забавно раздутыми щеками.

Бурундук запаслив. Чего-чего в норушке нет: тут и семена трав, и корешки, и сушеные ягоды, и грибы. Все разложено по кучкам, точно на складе, вместо перегородок — сухие листья.

Я застал бурундука за проверкой продовольственных запасов. Он выносил их подсушить на ветерке и солнцепеке.

Он таскал поклажу во рту, оттого и щеки у него так раздуваются.

Покинув елку, я осторожно, на цыпочках приблизился. Бурундук как раз выскочил из-под хвороста.

О! У склада посторонний! Бурундук сел на задние лапки, вытянул хвост и пронзительно засвистел.

— Ладно, ладно ты! — усмехнулся я. — Обойдемся без милиции, не свисти. Не ограблю!

Его пухлощекая мордочка с выпученными черными глазенками выражала крайнюю растерянность.

И как принялся бурундучок по своим щекам лапками барабанить! Лапки так и мелькали. С самым сокрушенным видом надавал он себе оплеух. Казалось, хотел этим сказать: «Как же я опростоволосился!.. Как я попался!»

Из рта его брызнули пшеничные зерна.

И пустился бурундучок наутек — не ожидал от него такой прыти.

— Ах ты воришка! — опомнился я. — Держи его, полосатого!

Ведь он осенью зерно-то с колхозного поля украл, не иначе.

Держа хвостик торчком, зверек стремглав пролетел по замшелой зеленой колодине и шмыгнул в кусты.

У валежины остались зерна россыпью, кучка сушеной черемухи и заплесневелый сморщенный опенок...

ЗАГАДКИ ДЕДА- ВСЕВЕДА

ОТ КРОШКИ-МИЛЛИОНЕРШИ
ВЕСТОЧКА,
А С ДЕРЕВА БУКЕТ



Летели кукушки через три
избушки. Как они летели, все
люди глядели; как они сади-
лись, все люди дивились...

Я вот тоже на березу уселся.
Дивись, люд честной! У поляны
деревеньку закладываю. Для му-
ховок пестрых, для горихвосток
бойких, скворцов и синиц — они
всех бойчей, для меня милей!
Не велика слобода, не мала —
десять домиков, и как дом, то
круглое крылечко.

Что, угадали вы? Ага, дуп-
лянки развешиваю. Чтобы лес
был здоров, цветы и травы рас-
стилались, жизнью вечной зем-
ля полнела — это ведь в нашей
власти.

Найдите и вы птичке мес-
течко. Разве плохо — в городе
воробьиная слободка, на селе
скворчинный городок?

Теперь нам надо с прежними загадками покончить. Знаете, бывает, что зимой в оттепели объявляются комарики! Обыкновенные комары и грибные, букарашки-долгоножки, леднички — немало разной живности летает, прыгает, по снегу ползает, если температура воздуха не ниже одного градуса мороза. Действительно, диво — мошка на сугробе. Из бабочек декабрьской порой летает пяденица зимняя, а весенница — эта нынче, в марте.

Что же до листопада, у хвойных деревьев, то, за исключением лиственницы, он протекает в канун весны. Хвоя — те же листья. У елей, скажем, иглопад начинается обычно в конце февраля.

Птичка, что на незамерзающих ручьях и реках живет, — это оляпка, или водяной воробей (бабка моя не ошиблась!). Черная с белым нагрудничком оляпка умеет нырять и ходить по дну, склевывая в воде с камней насекомых, хватая рыбок-мальков.

Ну как, с вашими отгадками ответы сходятся? Тогда потолкуем, как в мартовском лесу весну искать.

По деревне грач разгуливает, воробей первое перышко под застреху снес, чтобы гнездо ладить. А тут — снег и мороз. Елки, сосны белый свет заслоняют, в тайгу солнышко не пускают!



Старинные скворечники, музейная редкость. Куда ж тут скворцам летать? А деду под нос, бабке под нос.

Потеплеет... Хорошо! Хорошо, да не совсем, раз дневные потайки в марте сменяются ночной стужей! Обледенеют ветви, смерзнется хвоя. Уж на что глухарь силен, и то терпит нужду, когда хвоя не поддается его мощному клюву. Кабанам, лосям беда: коркой льдистой схватывается снег, звери в кровь ранят ноги. Но волкам, рысям, рососомам с их широкими лапами приволье! Плохо дело... Плохо, да не совсем! Хищник с большой добычей и — голодающим пир. Совы, сороки слетаются. Даже синички, дятлы не прочь отщипнуть мясца кусочек. Лисы, куницы, горностаи, мыши толкуются, пока и следа не останется от объедков...

Ладно, чем разговоры говорить, пойдем-ка по моим тайничкам. Я впереди, вы за мной. Наберем в мешок диковинок — на показ да разгадочки. Пойдем, пойдем — весну искать!

А-а, нашелся-таки ее следок...

По опушке леса зверь бродил. Молодым сосенкам он вершинки ломал, на снегу широким копытом печати ставил. Подошел к большой сосне, привстал на задние ноги и ну красную кору зубом драть. Забели, тут и там засветились в сумраке, словно зеркальца, светлые отметины, где содранная кора обнажила смолистую древесину. Зеркальца, зеркальца, — весна в лес привернет, то ей смотреться, прихорашиваться.

Вот вам, следопыты, и внешняя примета, и первая загадка: какой зверь на соснах красную кору дерет?

«Теперь бы еще у птиц про весну узнать». Только я подумал, как на матерой елке заметил стаю птичек.

Махонькие они. Оперение скромное, на головке полоска, точно обруч золотой.

Приглянулись мне малютки, уважительно их вопрошаю: скажите, мол, кто из птичек с Юга в лес успел-подоспел?

— Я! — пискнула одна птюшка по-комариному тонко.

— Ты? — не поверил я. — Откуда ж ты?

— С гор Кавказа. Там зиму проводила у вечных льдов, на дремучих пихтах...

— Ну и ну! Зачем от нашенских сугробов убегать, чтобы в вечные льды угодить?

— Здесь ночи очень длинные, — поясняет крошка, — выспишься вволю, но день короток — поест недосуг. Мала я, верно, только мне сытой быть — дай да подай в год два миллиона насекомых.

Ребус, ребятки! Может, вы скажете, что это за миллионерша, которая зимой достигает Кавказа в погоне за длинным днем?

Между прочим, эти птахи мне зимой попадались, стало быть, не все они от нас улетают.

Допоздна я на своей лыжне задержался. Напоследок наломал лесной букет. Для Антипьевны, старушки моей, домовницы. Цветы пушистые и белые, в зенит весны того пуще распушатся, медом запахнут и станут желтые от пыльцы — людям на радость, пчелам на усладу.

Да, кстати, на каком дереве я букет набрал? Про него в народе говорят: «Белые овечки бегают по свечке».

Только я в избу на порог, как Антипьевна ко мне с допросом:

— Бабочка, смотри, на окне бьется. Откуда же взялась? Печь я затопила — она уж летает. К добру ли это, дед?

Эге, это же еще загадка!

У гостя крылья — красное с синим и черным, и вся она по платью-наряду словно бы цыганка.

Ответьте, пожалуйста, как бабочка могла оказаться в избе.

На этом и конец. Берите мою котомку с загадками! Которая подуше, с той и разбирайтесь. Мои бывальщины не нравятся, тогда сами в лес ступайте, свои загадки ищите. Столько по лесам, по полям тайников — на всех хватит!



АПРЕЛЬ-СНЕГОЙН

Б

ЕГУТ ручьи... У каждого свой неповторимый наигрыш. Бурлят, пенятся, точат снеговые пласты, рушат сугробы — везде ручьям дорога. На ночь умолкнут, а днем того пуще разойдутся... Весна воды!

Однако не рано ли о

ручьях? Рано, пожалуй: вчера был снегопад и мела поземка, сегодня с утра сырой промозглый туман. Что же завтра ждать? Небо очистилось от низкой облачной хмари, желтеет

звонко после заката, и заря рдеет, словно угли, раздуваемые мехами, и на дорогах гололед. Не миновать завтра ядреного утренника...

Как бы не задержалась весна, в апреле она «необлыжная», то есть необманная, верная!

Только знаете: первого апреля никому не верят.

Издавна первого апреля изощрялся люд честной в розыгрышах, вышучивая друзей и близких: «Первого апреля не соврать, то когда и время выбрать?»

Тень первого апреля, пожалуй, накладывала отпечаток на месяц в целом. «Апрель, он под май подведет», — говорили. Значит, доверься апрелю — так намаешься. «Апрельское тепло не надейчиво: ни в марте воды, ни в апреле травы», «Апрель сипит да дует, а ты погляди, что еще будет».

Встарь второй месяц весны слыл как «березозол». Не в радость он был нашим белоствольным красавицам. Заготавливался впрок березовый сок: на квас шипучий, на сладкую пастилу, целебные настоечки. И плакали, слезами обливались пораненные деревья — зол был для них месяц березозол!

4 апреля — «Василий-солнечник и капельник». Благодать, коль день погожий. Даже ветхий дед вытащится на завалинку погреться.

Сидит, на посошок старинушка опирается, седую бороду свесил.

— Что, оттаял, дедусь? — спросишь его.

Запамкает дед, лучась морщинами:

— Как же ж, оттаял. Примечаю вот: солнышко в кругах сегодня взошло. К урожаю... непременно к урожаю!

9 апреля — «Матрена-настовица». Самый крепкий наст в полях. Бывало, пользуйся, мужик, случаем: остатки сена вывози, дровец доставь на весну, а то дороги испортятся. Вешняя водополь скоро, ведь встарь говорили: «Щука хвостом лед разбивает на Матрену». Хозяйкам месяцесловы давали задание: «Под Василья-солнечника стели холсты на снегу белить, на Матрену — половину репы отбери на семена». Оттого слыла Матрена-настовица также за полурепницу.

14 апреля — «Марья — зажги снега, заиграй овражки». Всего два слова — «зажги снега», а за ними видится простор пашен, косые изгороди, покатые сугробы — и все это объято слепящим синим полымем, блестит и сверкает. Солнечно в полях — в самом деле будто горят снега... Горят так, что смотреть глазам больно!

Что ни строка месяцесловов, то вдохновенная, поэтичная

картина родной природы, всегда точная, поразительная по своему реализму. Между тем составлялись народные численники по курным избам, людьми, обремененными трудами и заботами, знавшими нужду, голод. Скажем, 15 апреля — поликарпов день. Тем он был знаменателен, что напоминал о голоде: «Ворона каркала, поликарпов день накаркала».

У голытьбы по сусекам хоть шаром покати. Есть нечего, кончился хлебный припас — клади зубы на полку! Скот по хлевам стоит впроголодь: как и дотянуть его до свежей травы... Но не унывали по избам, знай пошучивали: «После Федула бабе стряпать веселее: в горшке пустые щи, зато под печкой сверчок поет».

Стало быть, и сверчок запечный был взят на заметку!

Федул — тот, что губы надул, стоял в месяцесловах 18 апреля. Надулся Федул — холод, слякоть. Не полагалось выставлять зимние рамы до срока: «Раньше Федула окна настезь — теплу дорогу застишь».

21 апреля — «Родион-ледолом, воды ревучие». Забрала весна волю. Вода, везде вода! Что ж, «была бы водица, зелень народится», «Апрельские ручьи землю будят».

Дни 25 и 26 апреля посвящались медведям и зайцам: медведи-космачи, из засонь засони, и то покидают берлоги, а зайцы бегают и днем. 28 апреля — «Мартын-лисогон». Лисы уж в норах, уж ворон черный, птица вещая, из гнезда воронят выпускает... Весна! Полная весна!

29 апреля — «Ирина — урви берега». Половодьем размыты берега рек и ручьев, мостки-переходы спасены...

Апрель.

Новое время — новые картины. Новые-новые...

Заря, умытая снегами, разругаясь, и отсвет ее алый самолет высоко вознес на крыльях в ту сиреневую мглу, где истончились, подтаяли звезды. Мотор перекачивает в чащах гулкое эхо. Лоси льнут к елкам. Рысь, пружиня лапами, прыгнула с сосны, светлеющий сумрак поглотил пятнистого зверя.

На границе делянок, огромных росчистей, исполосованных вдоль и поперек тракторными дорогами, самолет снизился. Постлалось за ним дымчатое облако. Миллионы семян, вихрясь в струях, поднятых винтом, поплыли назад и вниз. Делая заход за заходом в делянки, самолет словно бы пахал воздух. Пахал и сеял новые боры на месте срубленных.

Сев лесов — апрельская примета. А день привел с собой белые кучевые облака, донес с полей переборы жаворонков.

Если март — на проталине грач, то апрель — на прогалине жаворонок.

Лужу прогрело. Вылезла и лупит глаза лягушка, выставив лаковую спину.

А птиц на разливах — гомон, свист, криканье!

Чибис, хлопая в восторге крыльями, едва успевает окликать перелетные стаи: «Чи вы? Чи вы?» Где бы зиму ни вековали, теперь они все наши: пеночки и дрозды, лебеди и выпь, кулики и чайки. Плывут в небе стаи: журавлиные — строем треугольник, лебединые, гусиные — тоже треугольником и клином, цепочкой длинной, мелких птиц — густой россыпью.

Апрель — прочь снег с полей, прочь-прочь из хвойных закоулочков!

Апрель — месяц пролеть, «красная горка». Солнце с апрельской горки в лето катится. Катится под гул тракторов, вышедших на пахоту, под гуденье пчел, оставивших «кельи» восковые:

Ты, пчелынька,
Пчелка ярая!
Ты вылети за море,
Ты вынеси ключики,
Ключики золотые...
Отомкни летечко,
Летечко теплое,
Летечко теплое,
Лето хлебородное!

САМОЕ-САМОЕ



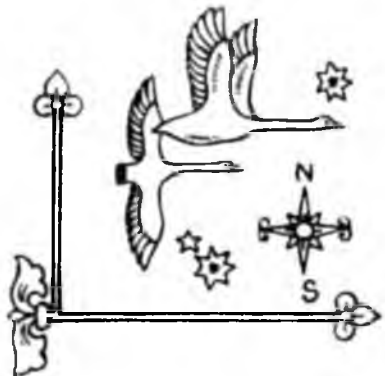
Жаворонок вешним днем дождит. Самую раннюю его песню, полей побудку, под Вологодой услышали 23 марта в 1935 году. В 1902 году жаворонок прилетел очень поздно — 2 мая.

Ледоход на реке Вологде: в 1816 и 1937 годах река тронулась 29 марта (Сухо́на у Велико́го Устью́га — 2 апреля). В 1867 году лед стоял до 16 мая. В среднем же за многолетние наблюдения, р. Вологда вскрывается приблизительно 18 апреля.

Самый высокий паводок на Сухоне отмечен в 1953 году, когда у Тотмы уровень воды

поднялся до восьми с половиной метров. Сильнейшее наводнение отмечено летописью за 1517 год: «... апреля 24 дня столь необыкновенно велика в Сухоне вода была, что в Устюге город стерло, берег скрыло, дворов множество снесло и людей многих потопило».

КТО И ГДЕ? КУДА И ОТКУДА?



МЕДВЕДЬ — снимается с берлоги. Первыми — старые космачи, последними — медведицы с малышами. С голоду живот подвело, шатаются медведи в поисках перехватить бы чего съедобного. «Катают ковры» — пластами отдирают дерн и добираются до кореньев, насекомых, слизней. Преследуют в отжимки по насту лосей, кабанов.

ВОЛК — в логове волчата, пять-семь, иногда десять. Чаше встречаются логова, открытые самой волчицей, неглубокие, прикрытые кустами, корнями деревьев. Занимают также волки норы барсуков, лисиц.

БЕЛКА — бывает, под гнездо-гайно приспособливает сорочки, вороньи гнезда, но предпочитает все же собственные постройки. В гнезде — от трех до девяти бельчат.

КРОТ — в труде сутками напролет. На дугах, лесных полянах роет новые, ремонтирует старые под-

земные галереи. Талые воды вынуждают зверьков переселяться из низин на сухие бугры.

РЯБЧИК — по насту бегает, клюет осыпавшиеся семена берез, елей, ольх. Лакомится вытаявшей брусничкой, зеленой травой. Из года в год, как правило, рябчики парой занимают для гнездовья один и тот же участок леса.

ЛЕБЕДЬ — на разливах Присухонья, на просторах Череповецкого, Рыбинского водохранилищ, по лесным озерам. Сказочное зрелище — стаи лебедей!

ГУСЬ — ждет «летней погоды». Как и лебедю, ему лететь дальше — в Приполярье.

ДРОЗДЫ — в Вологодчине гнездятся рябинники, белобровики, певчие и черные. Кто из них лучший певец? Несомненно, певчий: чудо что такое его концерты по вечерам, когда лес уходит на покой, отдаваясь тени, и ручьи умолкают, прихваченные морозцем, и одни совы бесшумно ширяют на распахнутых крыльях над прогалинами...

ЖУРАВЛЬ — пляшет на болоте, выделявая такие коленца ногами-ходулями, что просто умора.

БЕКАС — нет у этого кулика голоса, чтобы спеть. Ничего, обходится! Взлетает бекас повыше и, целясь длинным клювом в землю, бросается вниз. Дребезжа растопыренными перьями хвоста, он производит неповторимый звук — вроде барашек блеет. Весной бекасов так и зовут барашками.



Дятел. Нашлось подходящее, свободное от постояльцев дупло, он в нем обоснуется, не будет новое делать — в старом проживем!

КУКША — одна на гнезде, другая уже с птенцами. Птица таежных дебрей, кукша населяет самые недоступные весной уголья. Не пройти к ним: то осевший снег не держит лыж, то ручьи разлились. В отзвук кукшу-клушу на гнезде снегом с головой заносит.

БЕЛАЯ ТРЯСОГУЗКА — попевает к нам эта изящная птичка-ледоломка обычно к началу ледохода. Любит кататься бесплатно: несет по воде бревно — присядет, льдину не пропустит тоже. Как бы узнать, откуда трясогузка прилетела? Если из Западной Европы, то ничего особенного. Но из Африки... Чемпион она тогда! Пролетая над пустыней Сахарой, трясогузки проводят в

воздухе по 30—40 часов, так как присесть отдохнуть негде — кругом знойные безводные пески.

ЩУКА — мечет икру на разливах. **ОКУНЬ** — с нерестом покончил, жирует, бьет мелкую рыбешку.

СНЕТОК — ценная промысловая рыба — не смотри, что с мизинец! На Белом озере нерест в устьях рек Ковжи и Кемы при температуре воды +8—9°. Прижился снеток в Рыбинском море.

УЖ, ГАДЮКА — выползают погреться на пни, камни.

ШМЕЛЬ — вылетает из нор-зимовок.

КОМАРЫ-ТОЛКУНЧИКИ — пригрело солнце и толкутся, тепло вожат.

МОЙ КРАЙ РОДНОЙ

КЛАДОВЫЕ СОЛНЦА

— Кру-кру,— гортанно каркает в вышине ворон, лоснясь черным пером.

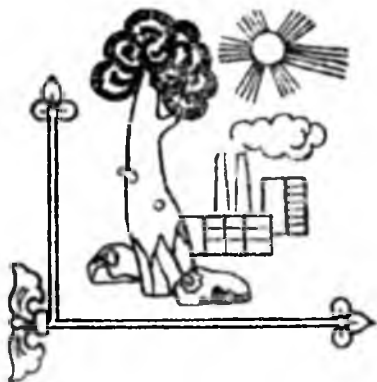
Голос зловещей птицы как нельзя лучше подходит к мхам и топям, раскинувшимся куда ни падет взгляд.

Протоки. Озерца и лужи. Кое-где вкривь и вкось чахлые сосны. Забравшись на корявый пенек, греется гадюка...

Обширны северные болота. В Вологодской области они занимают 1,5 миллиона гектаров. Самое большое болото, называемое

мое географами Уломское П, является наиболее крупным на всей территории европейской части РСФСР: с востока на запад оно простирается на 80 километров.

Моховая пустыня, как обманчиво о тебе первое впечатление! Не мертвы болота, напротив, с весны до глубокой осени кипит жизнь. Среди топей на мхах-зыбунах и островках суши гнездятся чайки. Чем неприступней облюбованный ими участок, тем скученней там гнезда. Чайки — надежная охрана. В их колонии не рискует проникать ни лисица,



ни енотовидная собака: враг получает отпор в тысячи клювов, в тысячи горластых глоток. Поэтому поблизости от чаек не прочь обзавестись гнездами утки и кулики, и даже гуси, журавли, цапли.

Залетела ворона — сразу, как дежурная эскадрилья, взмывают вверх сторожевые чайки. Стон, вопли. Плывут по ветру серые перья...

Лось забрел, спасаясь от мошкеры, таежного гнуса, — и на него пикируют белокрылые птицы, клюют, бьют крыльями, изгоняя прочь.

В лесистых островах, тут и там рассеянных по равнине тополей, держатся волки, рыси, россомахи, которые попадают сюда еще по снегу. Бывает, они поневоле пленники, так как до сильных холодов, пока не замерзнут болота, не выйти из них без риска утонуть в бездонных хлябях.

Летом поспевает масса ягод: морошка, голубика, ближе к осени — брусника и клюква. Они привлекают на откорм глухарей тетеревов, белых куропаток. Невозможно переоценить значение болот и как накопителей влаги. Но болота также «кладовая солнца»: они содержат громадные запасы торфа. Местами глубина залежей достигает восьми-девяти метров.

Торф — это и топливо, и исходный материал в производстве многих важных продуктов, особенно в химической промышленности. Используется как удобрение, идет в парники, на животноводческие фермы в подстилку скоту и т. д.

Под Вологодой торфяные залежи разрабатываются в ряде мест. Лишь центральная часть области обладает запасами, исчисляемыми миллиардами кубометров. «Кладовые солнца» все шире раскрывают свои богатства перед народом.

НА НИТОЧКЕ

НА березах шумят грачи. Мохнатые недра соснового бора насылают воркованье прилетного голубя — вяхиря. Видели уже след медведя, покинувшего берлогу. Но дальше опушки в лес не ходи — снег по пояс!

Ночью стужа. Утром кусты в инее, на ветках ежятся снегири. Много их, как никогда: снегири в полях, снегири в перелесках — всюду, всюду.

Верба.... и яблоки — наливные, спелые, то румяные, то смуглые, пропеченные солнышком. Березы в яблоках. И ольхи сплошь ими усыпаны...

— Жи, жиг-жиг,— скрипят снегири. Звук жесткий, скрежещущий, словно перетирают снегири клювами незримую нить.

Что еще за нить? Да та самая, на которой зима держится — под апрельским солнышком в лесу, где снег глубок, на северных склонах полей и холмов редки пока проталины.

— Жи, жиг-жиг... — Осанистые, обычно невозмутимые снегири крутят головками, покачивают черными хвостиками.

Терли-терли,— может, ниточка перетерлась? Снялись гурьбой. Гурьбой наперегонки полетели через поле к лесу.

Замелькали румяные грудки, засинели спинки. Покатались, понеслись...

Лес темен: хвоя, серые стволы, голые сучья. Одрябла за зиму хвоя, посекалась под холодами и метелями. Темным темен лес, залег полосой между сияющим лазурным небом и нетронутыми снегами заполя. Ничего иного, только белое, холодное и темное, только хмурое — снега не теплей.

В плеске крыльев откатились вспять яблоки. Не приняла темень хвойная красное, оттолкнула синее — все назад вернула, на березы в перелеске, на ольхи у ручья.

Дважды в год бывает снегирья пора: осенью, когда снег в лес приходит, накатывая белой волной; весной, когда волна стылая откатывается в глушь, в овраги-хвойники, где снег, случается, не тает до середины мая. С волной внешней, солнечной, в запахах клейких почек, с ручьями возвращаются в глушь, в свои уголья снегири.

Рассыплются они среди елок, сосен — поди-ка их угляди! Среди гомона, свиста, щебета, трелей звонких, поди различика, где снегирек скрипит. А увидишь, как лилово лохматится возле ручья раннецвет-хохлатка, распустила медуница алые и сине-голубые бутоны — вспомнишь снегирей. Не они ли разноцветье это в лес занесли в те дни, когда зима на ниточке-то держалась? Не им ли подражая, ярко лиловеет волчье лыко, розовеет и синеет медуница?

Не знаю. Вот то, что снегирек трет, обрывает нитку, на которой по весне зима держится, — это точно. Сами можете проверить!

ОТЧАЯ КРОВЛЯ

ПОКОЙНЫЙ, ровный шум ветра затоплял лес сверху донизу. Издалека были слышны перелеты, писк, гомон синиц, старческое дребезжание одинокой сухостойной елки-горюньи.

Порой шум прерывался. Этот короткий миг напоминал паузу в разговоре людей близких, когда молчание роднит больше, чем слова. Затем шум возникал снова и катился медленно, плавно...

Лежал снег, прелый, подплывший водой, осыпанный блеклыми иголками. Из оврага тянуло знобкой сыростью, холодом. Шум ветра волновал, как может волновать огонек среди заснеженных полей в лютую ночную стужу, или звуки скрипки из какого-нибудь окна, когда проходишь мимо по улицам спящего города...

Ветер нес весну, он был тепел. Снег подтаял, проступался, и ноги вязли до земли, под сапогами хлюпала вода. Я вышел к окраине леса. На солнечных опушках всегда найдется затишливый уголок: там раным-рано темнеет вытаявшая земля и зеленым-зелены кочки брусничника. Это был именно такой уголок. И ручеек здесь лопотал, и летали желтые бабочки-лимонницы, а на муравейнике на солнцепек высыпали муравьи. Что ж пора—ведь шумит теплый ветер, палую прошлогоднюю листву приподняли ростки трав, ведь апрель на исходе!

Что делают муравьи, высыпая скопищем на купола своих жилищ ранней весной? Странно мне видеть праздными неугомонных работников.

Дед, опытный, бывалый таежник, помнится, говаривал, что весной муравьи, как проснутся, тепло в муравьище носят. Я был мал, видимо, дедушка рассказами попросту развлекал внука: что-то потом не слыхивал я, что таким образом отогревают муравьи свои выстывшие за зиму дома.

Скопищем копошились муравьишки. Сами они греются на крыше, вот и все. Одни погреются, уступают место другим, и все это идет чинно и ладно. Они, муравьишки, пока вялые, видно, не очнулись в полную меру. Летом на них посмотри: то-то бойкие, то-то ухватистые!

Я потрогал основание муравейника. Ну да, не оттаяло еще. Этакая гора хвоинок, хламу и мусора—где ей сразу оттаять! Разве что сверху кровлю поднагрело солнышком, теплым ветром обсушило, чтоб было где муравьишкам понежиться.

Подраскопав верх муравейника, я сунул руку... И тотчас отдернул: горячо! Это было так неожиданно—я отдернул руку, словно ожегся. Внутри муравейника было сухо, было гораздо теплее, чем на воле. Дедушкина рассказня превратилась в быль.

Муравьишки, рыжие лесные мужички, один за другим выползали потайными своими норushками и лазами наверх, забирали на солнцепеке каждый по капельке тепла и несли домой. Были их тысячи и тысячи, и стало у них тепло и сухо. Тепло-тепло, хотя фундамент дома оставался с зимы замороженным, и сами-то они были вялы и сонны. Некогда им заботиться о себе, некогда самим отогреться—вся их печаль о доме, этой неустроенной на наш взгляд, куче хлама, хвоинок, зряшного, никуда не годного мусора.

Шумел ветер в лесу. В короткие передышки между его порывами было слышно, как уходит снег. Снег оседал, ниж-

ние сучья пушистых молоденьких елок выпрастывались из-под белого одеяла и недолгое время взмахивали, постепенно замирая. Махали елки зелеными лапками, как прощались с зимой...

ДОРОГИ РУЧЬЕВ

РУЧЬИ бегут вприпрыжку через колодины, корневища деревьев. Плещут и булькают. Пробиваются вперед, чистят старые, проложенные их предшественниками русла, роют новые, а то и прямо по земле, по заледенелому снегу несутся и спешат. Их голоса сходны, зато песенки разные, и разная у каждого судьба.

Один, расплеснувшись широко, по пути, затопляя низины, березам ножки мыл — вон как белы! И камни встретятся — ворочал, валежник с дороги сбрасывал. Пел... Ух, звенел победно! На весь лес он заливался и с песней летел в пене, в брызгах до болота. Было оно мокрое — стало топь. Надолго-надолго... Закиснет, в затхлой жиделе кончит век водица-снеговица.

Рядом ручеек того веселей, того беспечней бежал и тоже умолк, передав воду, поручив свой голос другому ручью, который мощней и шире, чтобы тот за двоих пел, пенился, бил в берега — эй, расступись, мы большие, мы больше всех!

Третий на лугу затерялся, растекшись сверкающими лужичками. Известное дело, где вода, там гуще трава. Отметится летом, выделится русло ручейка-бегунка пышным разнотравьем, душистым пестрым разноцветьем.

У всех ручьев судьба наособицу. Что я-то выбрал бы, окажись на месте ручья весеннего?

Цветы — чем плохо? Голос отдать тому, кто его дальше понесет, всего себя, до последней капли, слить с тем, чему дальше идти, торопиться — кто оспорит и такое решение? Соблазнительно мне предпочесть этот ручей. Бежать ему, течь и с рекой слиться, реке в море впасть. Реки, бывает, высыхают, но море вечно, бессмертно, как земля!

Чего там, участь — лучше нет, когда б не выбрал я топь. Непролазную топь, кромешную — не ступи ногой! Ржавь и муть. Осока-резунья, камыши. Там дерут горло лягушки, там гадюка струится черной лентой. Обходит стороной трясину всяк, кому она загрозила дорогу... И пусть! Пусть! За топь в болотах и лесистых островах среди трясин, мхов-зыбунов вьют гнезда гуси-лебеди, лосиха нянчит лосят, медведь средь бела дня отлеживает бока в тени, и распускаются

дивные орхидеи, цветы редкостные, каких уж нигде не найти. Главное, из болот, ржавых погибельных топей, мшар, мхов-зыбунов, куда никому ходу нет, берут начало реки. Есть ручьи — принимают их в себя, нет — сами по себе реки текут. Текут и текут. Молча делают свое дело. Летом — открыто, зимой — потаенно, подо льдом. Землю поят реки, жизнь дают реки.

А ручьи весной? Пускай их взახлеб бурлят: короток век водицы-снеговицы! Пускай бурлят, пускай! Надо же и им выговориться в песне звончатой.

ВЫДЕРЖКА

ПРИЛЕТЕЛИ...

На бульварах, в садиках-палисадниках, с улицы на улицу сквозь шум автомашин и людской сутолоки раздается:

— Пинь-пиньк!

То же самое за городом. По сугробам, через ершистую щетинку стерни, по вытаявшим черным дорогам, из кустов у ручья, вдоль лесных опушек бодро и звонко несется:

— Пинь-пиньк!

Дождались зябликов, вот что это такое. Прилетели, честь и место их песенкам в селах, в городах, среди полевых перелесков и в просторах таежных!

Замечено: зяблики не поют сразу по прилете. Что слышно от них, то зазорное «пинь-пиньк» или тревожные озадаченные возгласы, тихо так: «рю-рю». Запевают только на второй день. Делают сперва выдержку. Пестрыми стайками облетая поля, леса, деревни, города, птички словно бы присматриваются к тому, что переменялось за зиму, и только найдя, что все хорошо, все ладно, запевают. Без оглядки теперь, полнозвучно и щедро.

Бывает, молча бросают они места, где было их — с каждой веточки по песенке, с каждого прутика веселый размашистый росчерк.

Парк наш возьмем. Как-то спрямили в нем аллеи и залили асфальтом. Росла трава — повыдергали с корнем и разбили роскошные клумбы. Кустарник теперь вырублен, деревья подстрижены. Стал парк — загляденье, уж и березки в нем не смотрятся, раз не поддались стрижке. Зяблики весной полетали по чинной, приглаженной этой красе, погрузили: «рю-рю» — и убрались, оставив парк молчать. Из

певчих птах зяблики самые непритязательные, и что они бросили, там других певцов не жди...

Прилетели зяблики, слезу тревожно: запоют они, нет?

ЗАГАДКИ ДЕДА- ВСЕВЕДА

ЗА ЖИВОЙ ВОДОЙ,
К СОЛОВЬЮ КАМЕННОГО
ВЕКА



Встал я поутру, обулся на босу ногу, батожком подпоясался, кушаком подперся. Увидел на утке озеро: топором шиб — недошиб, кушаком шиб — перешиб, утка всколыбалась, озеро улетело...

Такая-то мудрость случилась у нас утресь, мое вам почтение, со желанным увиданием, следопыты-знатоки, по лесным тайничкам ходоки!

Для начала прежние загадки разберем.

Первая загадка-бывальщина касалась «зеркальцев». Весной они появляются на соснах (зимой лишь в продолжительные оттепели). Вершины соснам заламывает, хвою рвет таежный великан лось. Он и красную кору с них дерет: любит смолистую корочку.

За длинным днем гоняется королек. Крошка-миллионерша не страшитя тягот зимы. Единственно короткие дни птичку не устраивают. Хотя часть корольков остается у нас зимовать, прилет их справедливо считать знаменьем весны.

«Белые овечки бегают по свечке» — говорится о вербе. Наломать вербушек и поставить дома в воду — «барашки» распушатся, будет чудный букет!

Бабочку с дровами в избу принесла моя старушка. Некоторые бабочки — в их числе крапивница-смуглянка — на зиму остаются как в виде куколок, так и взрослыми, летающими. Оцепенев, спят, укромно спрятавшись где-нибудь, хотя бы в поленнице дров. Попад в тепло, крапивница очнулась, стала волю искать и наткнулась на стекло...

Вот и все бывальщины!

А нынче бывальщина — весна.

В полях лужи, солнышком обласканы, смеются. Ну, чему же тут веселиться-то? Большая вода кому в радость, а кому и в горе.

Лисица нору отрыла. Разбушевался овраг, приняв в себя талые воды. Гудит, ревет мутный поток. Пустилась лиса вплавь. Как жить, где семью заводить ей, бездомнице? Еж под корягой устроился, и его норку затопило. Заплыл бедолага в струю — завертело, понесло, потащило...

Мыши, кроты, землеройки — много их после водополи не досчитается по низинным лугам, по приболотьям! Лишняя вода — мертвая, губит, лишает крова и пристанища.

Подмытый вышедшей из берегов рекой, песчаный обрыв осыпался, а в нем десятка три ласточек-береговушек поселялось. Плотику бобров разрушило, не выдержала напора воды...

Весна, кругом весна, а в хозяйстве у меня то прибыток, то потери. Есть и прибыток, есть! Подвалило птиц перелетных, дроздов, зябликов да трясогузок — в каждом перелеске писк и возня, с каждой ветки песни. Выдра уже с малышкой нянчится, барсучиха барсучат в темной норе голубит. Весна, она тем и любя, что на потери не оглядывается, всем прибыток прочит. Верю ей, не обманет!

Говорю моей старухе:

— Пойдем-ка, Антипьевна, погуляем ради доброго здоровья. Заяц-генерала тебе покажу, чудо-чудное аленький цветочек увидишь, среди сирени соловьев послушаешь. Пожелаешь — живой водой напою.

— Ой, старик, одни у тебя байки на уме. Какая сейчас сирень? Одумайся, поди, в лесу еще сугробы!

Однако по весне погулять и моя бабка не откажется.

Вышли мы к опушке леса, где я зимой осинки сек, и на-ко — заяц, легок на помине. Ух и добер, осанка-то у него, усы-то! Линяет косой, потемнела шерстка, а на боках еще зимний белый пушок. Ну, ровно в галфе зайчишка щеголяет, проступила летняя шерсть полосой — ни дать, ни взять лампасы...

— Ежели твоя живая вода будет вроде этого «генерала»... — губы сложила моя бабушка. — Смотри, насмешник, блинов от меня долго не увидишь!

Ладно, без блинов обойдусь, но вот моя загадка-затейка, лесные знаки... Что с зимними одежками по весне зайцы-беляки, горностаи, ласки прощаются, конечно, вам известно. А какая птица с первыми проталинками становится тоже как проталинка — где рыжее, где буреет из-под белых-то перьев? Ну-тка, угадаете, правду скажете?

Держу я на примете осину старую, поди, мне ровесницу. В ее дупле черный дятел-желна птенцов выводил, куница жила, потом сова-неясыть. А нынче кто?

— Голубы! — шепчет бабушка. — В первый раз вижу, чтобы голубок-сизы перья в лесном дупле гнездо вил! Кто он таков-то?

Именно, знатоки, к вам вопрос: какой из голубей в дуплах поселяется?

Аленький цветочек я бабушке показал, она говорит: «Знаю, знаю! Сегодня он алый, а будет и малиновым, и синим, и голубым».

Будто помолодела моя Антипьевна: раскраснелась, от радости глаза блестят. Еще бы, медунца не цветочек — сказка! А еще какие первцветы вы знаете, следопыты, мои помощники?

К кустам таяжной сирени я бабушку подвел, опять заахала:

— Жизнь прожила, о такой баса-красе не слыхала! Пахнет-то как! Это ли не чудо? Кустик листьев не выпустил — и уж цветет!

— Тсс,— я приложил палец к губам.— Всего-то не рассказывай, малость для моих загадок оставь. Пусть другие скажут, что за кустик — в тайге сирень?

На тропе по вязкой почве расплывались следы: кто-то до нас босиком прошел. Ай-я-ай, долго ли насморк схватить? Того пуще я ходока осудил, когда увидел разоренные муравьища. Босяк, почто мурашей губишь? Да чтоб тебе чихать не прочихаться!

Однако про босяка моей старушке не обмолвился, для вас загадку приберег.

Привел бабуся в рощу, нацедил водицы из некопанного колодца и подал:

— Испей с устатку.

Отведала бабушка и причмокнула:

— Сладость и крепость... Впрямь живая вода. Ну и загадка, дед! Для отгадки ничего б не пожалела!

Не мешкая, я костер соорудил, хвой настлал: грейся, Антипьевна, да сирень нюхай — вон ее кругом сколько! Время к вечеру, скоро соловей запоет.

Солнце закатилось и пошел по лесу шум и гром. Громадные птицы с хлопаньем крыльев громоздились на сосны: у каждой-то красные брови, у каждой черная борода.

Осмерклось, и ближняя к нам птица, распутив крылья, подняв хвост торчком, вскинула к небу белый, испачканный смолою клюв и защелкала, зашептала...

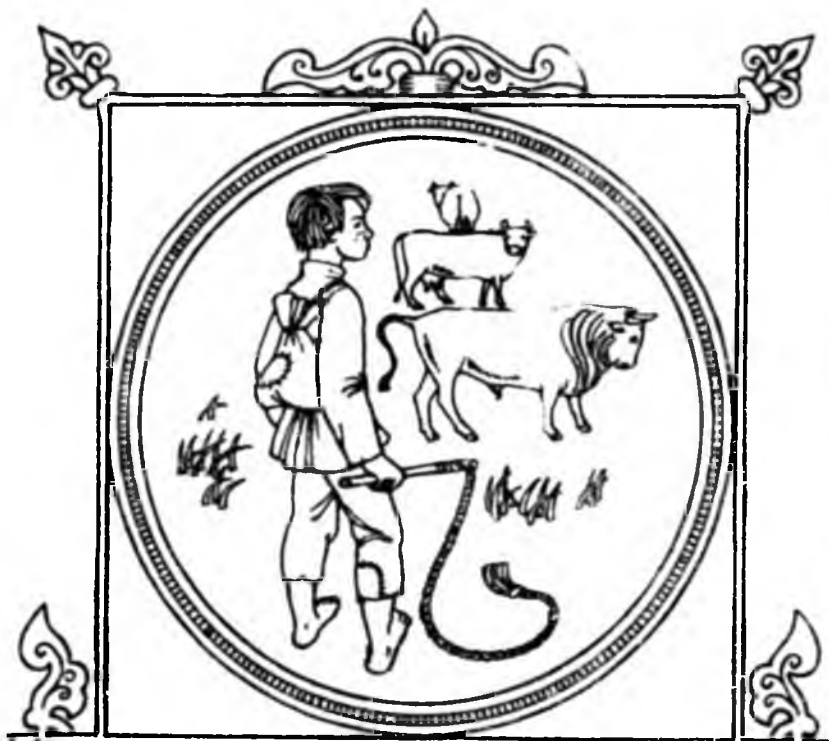
— Это-то соловей? — усомнилась вслух моя бабушка.— Очень тихо поет.

Только проговорила, как опять в сосняке шум и грохот от хлопанья крыльев: кто куда соловьи разлетелись.

— А говорят,— огорчилась Антипьевна,— что эти соловьи-то глухие...

Делать нечего, надо в деревню возвращаться. Пуста моя котомка: все загадки вам по пути раздал. Последнюю получайте: в самом деле, за что глухаря, «соловья каменного века», птицу древнюю глухарем прозвали?

Загану загадку, кину через грядку; как моя загадка в год сойдет — калачом взойдет. Еду, еду по грядам и то ли диво, то ли чудо: рву без счету, а все цело. Цело, цело семя серо, руками его сеют да ртом снимают.... Ну-тка, и вы попробуйте!



МАЙ-ТРАВЕНЬ



СТУЖЕН прохладным дыханием почек, свеж был воздух. Стекленел, замирал. Показалось солнце. Ядреным духом коры, прелью мхов потянуло со дна лесов-хвойников, и все воспрянуло, даже блеклые былинки как бы приподня-

лись на цыпочки, держа в шершавых листьях капли ночной влаги...

Всегда неповторим май — зенит весны.

Три долга у ней, три завета: тьму зимнюю одолеть — с этим март справляется; снег согнать, землю разбудить и отогреть — апрель тридцать дней ее парит, из ручьев водой отпаивает; третий долг — теплую землю всю-всю в зелень убрать — достается маю, который «лес наряжает, лето в гости ожидает».

Как травень-цветень стоял в устных календарях месяца кануна лета.

Весел май, «под каждым кустиком рай». Но север есть север, случается май холодным, слякотным. Месяцесловы предупреждали на этот счет особо: «Захотел ты в мае добра!», «Май обманет, в лес уйдет», «Май — коню сена дай, сам на печку полезай».

Крестьяне, составители месяцесловов, были кровно связаны с природой, прежде всего, своим трудом на ниве, на лугу. Пытливо искали они закономерности в переменах погоды, причины урожая и недородов. Вековой опыт наблюдений обобщал приметы, переходившие из поколения в поколение.

Холода в мае признавались благодетельными: «Майский мороз не выдавит слез», «Май холодный — год хлебородный».

1 мая и в месяцесловах нерабочий, «гуленый день».

6 мая — «Егорий, вешний, Юрьев день». Важная веха деревенской жизни: «Егорий весну начинает, из-под спуда зелену траву выгоняет», «Молоко у коровы на языке», «Зеленая травка — молоку прибавка».

Выгон скота на пастбище проходил торжественно. Провожали стадо прутьями вербы, со времен языческой Руси являвшейся символом силы, роста, здоровья. Ударяли прутьями и скот, и ребятишек — без них разве такое событие обходилось? Произносились причеты старопрежние: «Принесла верба здоровья!», «Как вербочка растет, так и ты расти!», «Верба-хлест бьет до слез, верба красна бьет не напрасно!»

Праздник, бывало, по деревням! Как в зимние колядки, ходят разряженные «окликальщики», перед избами скапливаются, выкрикивают:

Телоньки, телитесь,
Свинки, пороситесь,
Куручки, неситесь...

Дозорить стадо на поскотине — труд немалый. Хорошие пастухи были в славе, в почете. Полагалось пастуху «себя блюсти». Принимал он, по обычаю предков, обеты: не пить вина, не разорять птичьих гнезд, не носить из лесу ягод, гри-

бов и т. п. От умения пастуха в значительной степени зависела продуктивность и сохранность «Власьева рода», как прозывался скот. Влас — измененное с веками имя Велеса, древнего покровителя домашних животных, их оберегателя. В некоторых местах, например в Прионежье, долго сохранялся языческий обычай приносить жертвы, чтобы с помощью «вышних сил» уберечь стада от болезней, потрав хищными зверями. Быков, баранов пригоняли на луг. Мясо варили в общем котле, и до утра шел пир горой...

Хотя скот в мае на пастбище, однако трава молода, коровы не успевают наедаться, надобна подкормка. «Сена достает у дурня до Юрья, у разумного — до Николы» /22 мая/.

Развертывались полевые работы. 14 мая в месяцесловах стоял как «Еремей-запрягальник»: «Самая ленивая соха и то в поле».

15 мая — «Борис и Глеб сеют хлеб».

Кстати, кто же были они на самом деле, эти Борис и Глеб?

Их история относится к X—XI векам. Братья Борис и Глеб княжили один в Ростове, другой в Муроме. Во время междоусобных распри оба они были убиты третьим их родным братом Святополком, и Святополк получил прозвище — Окаянный.

Вместе с тем 15 мая — соловьиный день, широко известный на Руси с поры незапамятной.

Бывает, ветер бесится, нет-нет и снег повалит, гася огоньки алых и лазоревых медуниц, а соловей поет, щелкает, трелями заливается! В чужедальних краях он был молчальник, хранил все песни для нас, тоскуя по белым березам, по небу милой отчизны...

16 мая — «Мавра-зеленые щи». Подрос щавель — есть что хозяйкам в щи положить.

Припела пора пересаживать рассаду на гряды. Месяцесловы огородниц не обошли, разумеется, своим вниманием: 18 мая — «Арина-рассадница». Сажая капусту, нашенщывали огородницы: «Не будь голенаста, будь пузаста; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна...»

А 26 мая — «Лукерья-комарница». Действительно, какой же май без комаров?

Майские первые грозы и первая роса, посадка огурцов и картофеля, обыкновенный для северного мая возврат холодов (в частности, в пору цветения черемухи) и первые, уже полетному теплые деньки — на малейшие особенности жизни природы откликался народ, создавая месяцесловы. Что ни

строка, то самоцветная россыпь примет, мудрых советов. Поистине сокровищница неоцененная — народные календари!

Май — травень-месяц, да и лес в мае зелен стоит.

На зеленый шум лесов тоже отозвались месяцесловы:
31 мая — «Придет Федот — последний лист развернет».

Май, он всегда кажется коротким: «Рада бы весна вековать вековушкой, но прокукует кукушкой; соловьем залететь — к лету за пазуху уберется».

Начало мая — пылят пылью жгутики-сережки осины. Конец мая знаменуют бутоны шиповника, мохнатые кашки красного клевера.

Странной и страстной песней встречает май таежный отшельник глухарь, а провожает, забившись на линьку в темные хвойные урочища.

Только тетерева-полевики на зорях утренних и вечерних урчат неугомонно, да вальдшнепы тянут в синих сумерках, облетая лесные ручьи, овраги, окрайки сырых лугов, да по-прежнему в болотах ликует, трубит журавль:

— Жи-изнь! Жизнь!

Май. Тянет теперь в лес, к реке и в поля — окунуться в благоуханье черемух, позоревать с удочкой у заветного плеса, послушать птичьего голоса...

САМОЕ-САМОЕ



«Люблю грозу в начале мая»... Но в Вологде первая весенняя гроза в 1807 году отгремела 2 марта! Лишь 21 июня наблюдалась первая гроза в 1930 году.

Последний снег под Вологдой, в среднем, сходит 17 апреля. В 1840 году, однако, 16 мая ударил такой отжимок, что из Тотьмы приезжали на санях.

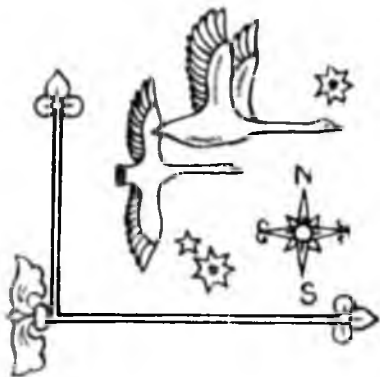
Последние заморозки проходят примерно к 20 мая. Самое раннее — 14 апреля, самое позднее — 18 июня.

Первую песню соловья вологжане услышали в 1848 году...

еще 12 апреля! Что-то очень рано, — не ошиблись ли фенологи, летописцы природы?

Почти на месяц раньше средних сроков в 1957 году закуковала кукушка — 1 мая. А в 1907 году — только 20 июня.

КТО И ГДЕ ? КУДА И ОТКУДА ?



МЕДВЕДИ — пошла в рост травка, на лугах они пасутся. Некоторые глухие уголья, непотревоженные человеком, посещаются медведями из года в год. Опускается листвою осины, и медведи ломают молодые деревца, жадно рвут свежие, как бы тронутые вешним загаром листья.

ВОЛК — охотится всегда подалеже от логова, боясь его выдать врагам. Волчица неразлучна с волчатами. Кормок обеспечивает волк.

ЛИСИЦА — на Рыбинском море посещает берега. Подъем воды, вызванный плотиной ГЭС, навел мышам переполоху! Лисицы их ловят, попутно подбирая выкинутую прибоем мертвую рыбу. Повсюду в норах лисята (четыре-пять, до десяти). У старых лисец норы удобные, обжитые — с отдушниками-форточками, с запасными выходами на случай опасности.

КУНИЦА — тоже с детенышами. Их два-шесть, иногда и восемь. Хлопотно куничке: и детей надо оберегать, и самой сытой быть. Одиночка, никто ей не помогает!

ЛОСИ — быки новые рога растут, лосихи водятся с малышами. У

всех свои заботы! Приносит лосиха двух, молодая — одного теленка.

ЕЖ — родились малыши — и ни одной иголки! Погодите, час-другой минует — будут у ежат колючки, пока что белые, детские...

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ — с юга вернулись нетопыри. Что ж, пора! Так оно и быть должно, что появились, ведь нетопыри — звери перелетные.

ДИКИЕ ГОЛУБИ — на гнездах. По повадкам наши голубки разные — хоть горлица, хоть клинтух, хоть вяхирь. Одно общее: в гнездах всегда по два яйца. Ни больше, ни меньше.

КОРОСТЕЛЬ — водится в сырых низинных лугах. Явился с юга ни раньше ни позже — точно в срок, когда отросшая трава стала накрывать его с головой. Скрипуче кричит по ночам. Впечатление от его песни такое, что кто-то ржавые гвозди дергает. Не потому ли эту птицу и зовут дергачем?

ОЛЯПКА — поток брызжет пеной, кропит брызгами гнездо, а ей хоть бы что: вся жизнь птички связана с водой.

ГОРИХВОСТКА — у избы поет возле дуплянки. В час по 342 песенки! Ну и ну... Как и не устает! **ЗЯБЛИК** — чуть свет проснулся и за песни. В час 342? Фи, можно и больше! У зяблика в час получается до 412 песен. А еще и поест надо успеть, и с соседями-зябликами подражаться, и зябличице помочь гнездо вить!

ЛЕСНОЙ КОНЕК — не меньше занят, но в песнях оставляет зяблика позади: 418 песен в час. Ну-ка, кто больше?

ЗЕЛЕНАЯ ПЕНОЧКА — она, она больше — 478 песен в час! А сама малышка, зеленая, как листок весенний, и размером с этот листок...



Ежик — колючки гребешком.

СУДАК — в Белом озере и других судачьих водоемах стережет икру, обмахивая ее плавниками, чтобы свежая вода постоянно ее обмывала.

ХАРИУС — на нересте. Мечет икру при температуре плюс 8—10°.

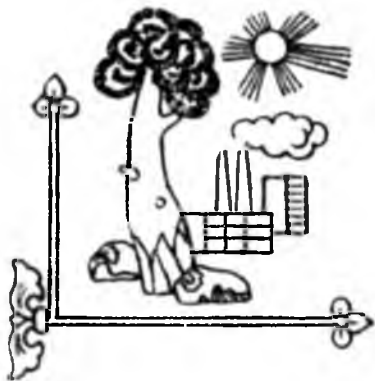
ЛЕЩ — икру мечет. На нересте шумлив и буен, однако посторонних шумов не выносит.

ЛЯГУШКА — задает концерты из луж!

ЖУК МАЙСКИЙ — на березах, тополях. Массовый вылет в пору «зеленого шума».

МОЙ КОАЙ РОДНОЙ

ИМЕНИ МИРА



Навозом везет с улиц. Петухи
горланят. Лужи, грязь разливан-
ная. Канавы...

Ах, канава ты, канава,
Какой черт тебя копал?
Я намедни шел с обедни,
Головой в тебя попал!

Кривые улочки столь узки,
что хозяйки-обряжухи из дома в
дом передают в окна горшки на
ухватах.

— Щец моих отведай!

— Ты сперва, — мои не с пере-
солом ли?

Так было встарь в нашем горо-
де...

Но и то правда, что ровесница Москвы — Вологда издавна поражала путешественников обилием зелени. Лес обступал город и березами, кленами, дубками, словно ручьями, растекался по улицам. Давно ли, кажется, на месте льнокомбината стояли сосны и по весне бор оглашался зоревой песней глухаря, бородатого таежного отшельника-нелюдима! Тем не менее первый бульвар и первый садик в центре города возникли только в XIX веке.

Теперь скверы, бульвары, цветники, другие зеленые насаждения занимают места больше, чем весь город в прошлом. Как справедливо заметил поэт: «Вологда зеленая, Вологда старинная, временем каленная, как строка былинная!»

Самый обширный городской массив зелени нынче — парк Мира.

В войну здесь, на окраине города, был пустырь. Его опоясывали окопы, траншеи, блиндажи, дзоты, здесь обучались солдаты-новобранцы. Рядом проносились поезда, нагруженные танками, орудиями, на платформах зенитки задирали в небо стволы. Под Оштой, на земле Вологодской, шли бои. Фашистские самолеты бомбили станции железной дороги на Ленинград и Москву.

С 1948 года на пустыре, где змеились окопы, стали появляться первые аллеи берез, лиственниц, кустов жимолости, шиповника. словно солдаты на поверке, выстраивались рядами дубы, липы, и многим тогда казалось, что они в защитных гимнастерках.

Сегодня парк Мира вместе с пляжем занимает около 70 гектаров.

Он хорош зимой, когда березы в кружевах инея, аллеи исчерчены лыжниками, на полянах синеют узоры следов ласок, горностаев, в елях возятся клесты, как в лесу.

Хорош парк весной: снег сошел, загустели ветви от почек, тонкий парок талой земли, зеленых всходов трав сгущается в прозрачный туман, который столбами бродит по аллеям.

А лето? Поляны в цветах, шиповник роняет алые лепестки, и пчелы гудят, и каждое дерево, каждый кустик поет! Гнездятся в парке золотые иволги и щеглы, пеночки и трясогузки, малиновки и соловьи... Нет под Вологодой угодий, более плотно заселенных птицами, чем парк Мира! Бывало, не сходя с места, насчитаешь больше десятка гнезд — тех лишь, что у тебя на виду!

Придешь сюда на восходе солнца — спит город, трава в росе. Чу, изда-лека, наверное из центра города, горихвостка пропела побудку! Ей отозвал-ся язблнк с левого берега, из Прилук. Соловей защелкал. Иволга заиграла на флейте... Идет перекличка садов и скверов Вологды!

Если ты первым попадешь утром в парк, поищи грибов: есть знатоки, которые выносят отсюда в лукошках и белые боровики.

К осени парк Мира замолкает. Невнятно шепча, осыпаются клены, ясени, березы и устилают аллеи золотом и багрянцем.

Потом выпадет пороша и откроет, что по-прежнему сюда забегают зай-цы, лисы. Снова бок о бок с лыжнями засинеют узоры звериных стеежек-дорожек.

ЛЕДЕНЦЫ

БЕРЕСТА клочьями, как обноски, полезшие по швам: выросла из нее береза-смуглянка. Пора получать обнову — белую кору. Повзрослеет нынешним летом береза, тронет ее кору мелкая, белая, как пудра, пыльца. Знаете, и у берез принято, что лишь взрослые пудрятся!

По сучьям лазала белка. Тонко деревцо, сучья раскачива-лись, готовые уронить ее. И белка досадовала, дергала хвос-том. Раз за разом белка прикладывалась к сучьям, точно пробовала их крепость на зубок: куснет, причмокнет и от-фыркивается, как сплюнет.

Кора горька, не нравится? Ты уж одно выбирай — или плюй или чмокай!

Наконец белка увидела меня. Прыг-прыг — исчезла.

Вместо одной провел я у озера две ночи. Пожил бы долъ-ше, стужа не дала.

Ударил зазимок. Не было бы снегу! Иней, как холст, за-тянул землю. Мороз холст разостлал, солнцу его скатывать...

Вот и береза. Не узнать подростка в обносках — светится, ей-ей, на солнце горит!

Пролился сок из царапин, нанесенных беличьими зубка-ми, намерзли на сучьях сосульки.

Обломил я и по детской привычке — в рот. Ай, что за сладость!

Можно понять, белка на березу лазила соку попить. Пи-ла, не пила, а с морозу леденцы мне достались!

ВИНТИКИ

НАКАНУНЕ лили дожди, и можно было надеяться, что снег в лесу тронется, не устоит.

Устоял! Непроходимые сугробы по пояс, ледяная вода выше колена. Податливая рассыпчатая каша встретила нас на пороге хвойника. Значит, планам, какие мы строили, сбыться не суждено. Мечталось побывать на глухарином току, послушать, как еще впотьмах огромные бородатые птицы щелкают, точно бьют в кастаньеты, нашептывая что-то свое, таежное, древнее, потом, слетев с деревьев, сходятся в драке — крылья нараспашку.

Снег, все снег... Значит, не для нас темной ночью будет ухать филин, возникая в полосе лунного света, не для нас сквозь гущу хвои засветится синяя звезда, протопает ежик через тропу.



Филин. По ночам подает голос — почуял, знать, весну.

В город, однако, возвращаться уже было поздно. С ночлегом устроились в перелеске с краю полей. Натаскали хворосту, валежин для костра. Из хвойных лап постлали постели. Ветер на проталинках шуршал палыми листьями. Припекало солнце. Распускалось волчье лыко. За березами куковала кукушка. Я собрал сморчков — ранних грибов. Что за май! И снег, и кукушки, и грибы...

После заката резко похолодало. Несмотря на костер, к утру у нас зуб на зуб не попадал. Право, состоится ли нынче весна?

Снег сковало настом. Я побрел от привала куда глаза глядят, заранее уверенный, что ничего путного так и не выйдет из поездки. Пустая трата времени.

...С этим лесом у меня сложились особые отношения. Он рядом с городом, тут не тайга, нет. А медведи есть, рыси, в сухой пещере под корневищами сосен гнездятся филины. Я люблю свой лес, его тропы, муравьища, поляны. Многие деревья в нем мои знакомые. Мне горько, когда такое дерево хворает, пораженное гнилью или короедами, как если бы подобная беда стряслась с кем-нибудь из близких.

Небо было обложено тучами. Нет-нет и перепадали колкие снежинки. Наст хрустел и проступался с грохотом.

Я повернул бы назад к костру, если бы вдруг не очутился на стройке.

Синицы-гайки пробивали дупло вдвоем, на пару. Кто он, кто она — поди разберись. Обе птички серые, обе пухлявые и одинаково пищат:

«Чш... чш! Та-ать... тать!»

«Тать... чш!»

Я-то, по-вашему, тать? Спасибо, удружили. «Тать» — слово старинное, забытое, означает разбойник.

«Та-ать! — надрывались гайки. — Чш... чш!»

Ладно вам, будет шикать. Однако отступил назад. Лучше сказать, попытаться.

Под дупло синицы выбрали ольховый трухлявый пенёк, одна гниль: ткни — и развалится. Гайки, чего уж!

В любом лесу-хвойнике их полно. И не видать их, не слышать. Не выставляются: серый пушок, писклявый голосок, на темени кепочка вроде бы козырьком назад — зиму-лето носи, смены не проси. Что тут еще добавить? Нечего. Гайка это вам не снегирь. Не синица большая: у лесной модницы напудренные щечки, желтый жакет, по животу черный галстук, задор, ухватки оборотистые. Не дрозд — грудь в веснушках; он как залетает, засвищет — вот где услада!

Есть гайки, нет их — не задумайся. Ничем серенькие не взяли: ни пением, как дрозды, ни ухватистой оборотливостью, как большие синицы, ни ярким оперением, как снегири.

Одна гайка копошилась внутри пня. Дуплецо было пока что мелкое: хвост высовывался наружу. Вторая суетливо порхала на соседнем кусте. Она несла караульную службу — этаким солдатик, шустрыми глазенками стреляющий по сторонам. Караул не зевал, то и дело слышалось: «Чш-чш!»

Вот строгости-то! Глазом не моргни — сразу окрик: «Чш, та-а-ть!»

Поругайтесь у меня! Ишь, язык распустили, я вот вам!

По тому, как хвостик строительницы напряженно вздрагивал, ни секунды не оставаясь в покое, легко было понять: труд большой серой крохе дупло пробивать. Уж во всяком случае не то, что шикать и на ветке вертеться вниз головой.

На короткий миг куцый хвостик исчезал. Строительница выглядывала из дупла. «Чш...» — и выбрасывала соринку. «Чш», — гаечка как бы предупреждала: берегись, зашибу. Соринку подхватывало ветром, уносило в сторону от пня — до того она невесома.

Синице с ее слабыми силами, с крошечным клювом иначе дупло не пробить, как выщипывая гнилую мягкую древесину. Крупинка по крупинке, волоконец по волоконцу.

«Чш!» — гайка выпорхнула из дупла с изрядной щепкой в клюве.

Тащить большую ношу было тяжело, строительницу тянуло вниз. Она летела на меня по прямой: груз мешал свернуть в сторону. Я уступил ей дорогу.

«Тя...тя-тя!» — закричал караульный с прутика, бросившись сопровождать гайку со щепкой, но с полпути вернулся к пню.

Глянь, снова в дупле вздрагивает куцый хвостик. И снова на соседнем кусте порхает солдатик, стреляет по сторонам шустрыми глазенками — это строительница, только что унесшая щепку подальше от пня, заступила на караул. Она вертелась — головой вниз, хвостом вверх — и попискивала: «Тя...тя! Чш! Чш, тя-тя!»

Стоял я у пня, гайкам мешал — татем был, врагом лютым; дорожку уступил — стал синицам как родной отец.

Вспомнилось мне, что гаек зовут еще винтиками. Ну да, винтиками! Может быть, она — гайка, а он — винтик? Вот различить их как? Как отличить гайку от винтика? Не знаю. И ничего о них не знаю, ничего не вспомню. Сколько по лесам

хожено-брожено, чего только не навидался, почему же о серых синичках вспоминать нечего? Ведь они с тайгой неразлучны. Круглый год ей служат верой-правдой. Обируют с коры всякую нечисть, мешающую жить лесу в здравии и покое. От темна до темна в хвое крутят-вертят. От темна до темна: «Чш...чш!»

Много их. Больше всех.

Не оттого ли гаек не замечаешь, что много их?

Не привыкли мы замечать то, чего много. Глухаря нам подай, медведя в малиннике, рысь на тропе!

Дай нам да подай! А что им даем, когда тропы топчем с ружьями, с кузовами и корзинками?

Косо чертил, шелестел снег. Раздалось хрипло, простуженно «ку-ку» и смолкло. Кукушка подавилась снежинкой.

Стыло в лесу, промозгло, слякотно.

Ничего, все равно весна.

Быть весне... Быть! Кукушкам куковать, бегать ежикам, филину ухать... Лесу любимому быть, раз есть в нем винтики!

За те минуты, что я зяб у пня, синицы трижды менялись местами, и сигналом к тому служила очередная щепочка: ее следовало унести подальше, чтобы не выдала синичью стройку. Отчаянно гаечки торопились, я в том убедился воочию. Стройка велась без перерыва, всегда свежими силами.

Вот пока и все о синицах-гайках, о милых винтиках, которые простодушно назовут тятей, отцом родным каждого, кто им не мешает. Не мешай им... уступи им дорогу!

БОГАТСТВО

ГДЕ-ТО на самой верхушке березы обвисла и закачалась золотая сережка. Другие еще не отмякли, торчат туда-сюда с ветвей, растопыренные, и одна, всего одна, быть может, на весь лес стала золотистой и показывает на землю. Больше всех, что ли, солнце ее полюбило и, полюбив, одарило золотом, нежит, ласкает? Но сережка и в золоте да к земле тянется.

Дымны моховые кочки, груды хвороста, обрызганные ночным дождем. Повинуясь неуловимому току воздуха, дымок тумана бродит тающими столбами, путается в деревьях.

Старый пенёк, голый, с облезлой корой и мхом, как шапка, будто трубку раскурил: валит парок в дыру, проломленную дятлом.

Попатнул я пенёк, — эй, хватит, поляна-то для некурящих!

И пень легко поддался. Корни сгнили, держался на честном слове. Под пнем, оказалось, была пещерка, забитая мокрыми палыми листьями, древесной трухой. Листья пуще задымили, потом зашевелились, и выползла лягушка. Она не размыкала губ, но зеленоватый, жирный, как зоб, подбородок все шевелился, шевелился, точно лягушка пыталась что-то сказать, а от волнения только глотала. И я ей пришел на помощь.

— Думаешь рано? Что ты, и так засиделась. Вон на бере-
зе золотая сережка, шмели гудят и комарики мак толкут. Не
рано, не рано, ну-ка вылезай!

Ничего больше нынче я не встретил, ничего не повидал
такого, чего бы раньше не видал, однако вернулся домой до-
вольным, словно лес меня опять одарил, обогатил. Так оно и
было, пожалуй, и стал я богаче — на золотую сережку, на
пень, который трубку курил, на лягушку, что из прелых ли-
стьев вылезла...

НОВИНКА

ПЕРЕКАТЫВАЯСЬ, шуршит прошлогодняя листва. Пла-
сты ее рыхлые, податливо проступаются. Мои шаги сопровож-
дает треск, взвизывает душная пыль.

Высыхая, листья из темных, влажно блестящих делают-
ся матовыми, серыми и рассыпаются в прах. Целиком в прах,
кроме жилок, тончайших и ажурных. Такой облегченный
лист почти невесом, но подхватит его ветром, тоже шуршит.

Солнце, сушь и шорохи, шорохи.

В лощинах лес повивает прозрачный туман. Он пахнет
хмельно и пьяняще. То парит сама земля: оттаяла, забродила
соками. Густеют кроны, кора берез мокро блестит. Почки
набухли, вздулись, и кажется, что березы, и ольхи, и осины
завязывают узелки на память: не забыть бы этот день!

Ну чего в нем такого? День как день. И вчера гремела па-
лая листва, почки точили пахучую смолку. Разве что тропы,
колеи лесных дорог нынче зазеленели ярче. Но в тени, как и
вчера, всходы трав остренькие, прямые. Потому что редкую
былинку не венчает капля влаги, она похожа на портняжную
булавку. Есть в лесу на полу зелень, да ведь пока это при-
мерка, обнова сметана на живую нитку, вон и булавочки
торчат.

Хотя не ступишь шагу без того, чтобы не загремел палый
лист, заяц подпустил близко: жался под еловой нависью,
притершись боком к валежине. Выдали его уши. Он испуган-
но круглил выпуклый глаз, над носом висел золотой кома-

рик, а уши ходили — правое вперед, левое назад. Стриг косой ушами, жался к валежине, поди, со страху сам не свой.

Ветер порождает шум, шаги — треск и гром, оттого-то заяц прячется под хвойной веткой. Так бывает и осенью, когда шорохи листопада заставляют зайцев подолгу ютиться среди мхов в ельниках.

Но сел на нос комар — ух, вскинулся зайчишка, ух, пошел махать долгими лапами! Куда бы ни направлял он свой суматошный бег, прыжки отмечались еще более суматошным шумом, словно то не заяц удирал, словно то медведь ломился сквозь кусты.

Между прочим, я заметил: губы зайца зеленые. Ну да, попробовал-таки он траву-свежинку.

Надо запомнить сегодняшний день. Завяжу-ка и я узелок на память о лесной новинке, что заяц с коры деревьев переходит на травку!

СВОЙ СУЧОК

ПОГОДА, чтоб ей, — добрый хозяин собаку не прогонит со двора. Холод, уши зябнут. Мотаются вершины деревьев, как веники: метут небо, да никак не разметут. Всё тучи, волокутся тучи, сгущают низкую хмарь...

И это — весна?

Уходит время, течет времечко дорогое, а весна ведь одна. Как жизнь, одна, и ее, единственную, нынче я разменял невесть на какие мелочи, будто и не было ее вовсе, как не бывало для меня тех деньков, что цвели медуницей, плыли душистыми облаками с верб. Думалось, что пропущено, сумею наверстать. Будет и березовый сок, и падающие на плечи бархатные жгуты осинового сережек, и первый щелчок соловья из лиловых ольх... Наверстаю!

По траве бреду — мокну выше колен; через кусты продираюсь — с головой окатывает с сучьев водой. Наверстаешь тут, как же!

Подвалили еще какие-то грязные низкие тучи, гуще посыпал дождь. Приткнулся я под елку: это не прогулка, коль на ходу зябнешь и ни нитки на тебе сухой. Не было у меня весны, да и это не весна. Не та это весна, воспоминаниями от которой живешь потом долгий год — до другой весны.

Под деревьями в хвойнике почти сухо. Рядом на муравьище, невзирая на непогоду, копошились его хозяева, бестолково таская взад-вперед всякий хлам, — каждый сам по себе, с собственной ношей, каждый еле ноги волоча от холода. Нырять

среди сучьев, тихо прокралась белка, выбегавшая куда-то из гнезда и угодившая под дождь: как она таращилась влажными глазами, как вздрагивал ее слипшийся хвост, отряхая влагу!

Потом появился дрозд — грудь в крапинках, как в веснушках, работающий, испачканный землей клюв.

Шумел дождь. Покачивались ели, послушные ветру. Корневищами они приподнимали пласты мха, и казалось, вместе с елями качается сама земля.

Переступая боком-боком, дрозд спустился по ветке пониже. Но и тут плохо: ветром не достает, так дождем донимает. Поднялся он выше — опять не понравилось. Вернулся дрозд на прежнее место. Сучок пружинил под ним и прогибаясь. Дрозд крепко держался за него. Быстрым ловким движением он провел клювом по крыльям, отжал от воды хвост и, распушив перья, встряхнулся энергично и коротко.

— Эй-эй, — чуть не крикнул я, — веснушки, гляди, растрясешь — не собрать!

Дрозд почистил клюв о сучок. Он явно к чему-то готовился — выпрямился, построил.

Дождь переходил. Но слегка побрызгивало, когда дрозд запрокинул клюв вверх и, дрожа, напрягаясь, точно под тяжелой ношей, издал первый звук. Он пел, и песня была длинная, сочная, густая, никак не похожая на те, что я слышал от дроздов издали.

Пальцы лапок певца белели — так крепко дрозд цеплялся за сучок, чуть приспустив крылья и дрожа хвостом. Из его песни можно было выделить одну строфу, похожую на умоляющий вопль. Выделить и передать словом:

— Прилетай... прилетай! — звал дрозд.

К чему, кому и куда лететь? В целом лесу один сухой сучок нашелся...

— Прилетай! — умолял дрозд. Он и сучком делился.

А что, если все начинается с сучка — с опоры, на которую можно положиться, что выдержит, не подведет? С того, что можно кого-то позвать к себе и поделиться тем, что есть у тебя?

Я встал из-под ели. Ветер, дождь... Э, впервой они разве? Раньше разве тоже не зябнул, не мок?

Поднялся я и пошел дальше искать весну. Свою, что там от нее осталось. Впрочем, частицу весны уже нес с собой — песню дрозда с единственно сухого сучка на целый продуваемый злым ветром, насквозь промоченный дождями лес.

Не найдет ли и для меня сегодня свой сучок?

ПУСТОЦВЕТ

В КОЧКЕ среди осоки была мышинная норка. Вход заткнут катышом травяной ветоши: на паутинке, словно дверь на оторванной петле, раскручивался прошлогодний листок. И я, помню, осуждал мышку: пора бы дверь-то растворить. Мышат запаришь, неумеха! Смотри, земляника цветет!

Впрямь, зной стоял не ко времени тяжкий. Дали кутались в дымке, от лесу гарью припахивало, точно в июле.

Перемена пришла вроде бы нечаянно. Однажды к вечеру жара спала, заморосил долгожданный дождик. Кстати, очень кстати прохлада и дождик!

Дождь однако обратился в затяжной проливень, воздух разом захолодал...

Прояснило однажды под вечер, а ночью к утру земля стала белая от инея: черемух белей, белей расцветшей земляники...

Был я сегодня на берегу. Ветер гнал крутую волну. Все так же раскручивался на паутине прошлогодний листок у входа в мышиную норку, и вместе с ним крутился, прижимался к листку тощий комарик на скрюченных простуженных ножках.

По-прежнему цвела земляника по буграм. Поманило ее неожиданным теплом в лето, в солнечное счастье, и поверила она в него. Лепестком не поступилась перед холодом, промозглой непогодью: мала, от травы не видать, но вся в цвету. Цвела и цветет. Только желтые, сиявшие еще недавно сердечки цветов после инея как спеклись, почернели. Не ждать, стало быть, с этих цветов ягод! Не будет добра, раз в уголь спеклось доверчивое золотое сердечко...

Впрочем, когда обман добром кончался?

Не жалую я пустоцветы, а вот землянику жаль, и горько мне, словно и я повинен в ее беде...

ПОД ЗОНТИКОМ

С УТРА парило, и вот дождь собрался.

Пришлось укрыться под елку. Густы ее лапы. Паутина свешивается — все сети, все тенета. Некому, нечем их порвать. Не дождевой же капелькой, чье прикосновение легко и нежно, как поцелуй ребенка? Падет дождинка, чикнет увесисто по пруту, тот даже вздрогнет. Если дождинка не разобьется в брызги, то вниз соскальзывает обессиленно и в конце концов

запутывается в хвое, не достигнув ни лохматых нижних су-
чев, ни паутины.

Рядом березы полощет, лужи натекли на тропу, но мне
хоть бы что. Сижу словно в шатре или под балдахин, как
царь Берендей в терему высоком. Только вместо престола пен-
ек, да у ног не ковер — мох, разукрашенный травами, брус-
ничником...

Ну, готов судить и рядить. С кого начнем? Весь лес у Бе-
рендея в подданных, есть ему дело и до белых берез, босичком
выскочивших под дождь, и до елок, которые хвойные лапы
развесили, чтобы дождь не допустить к корням. Рад Берендей
березкам. На елки хмурится: что ж вы, косматые, растопы-
рились? Гордыня обуяла, сверху — так и дождя не при-
нимаете?

Мох. Трава. Среди былинок сухих — синие, лиловые цветы.
Это фиалки, значит, должны быть и белые. Не видать белых.
Ладно, обойдемся. Надо уметь обходиться тем, что есть. По-
кладист Берендей. Он верит, что корням лучше знать, откуда
влагу брать: сверху ли, без труда и забот, снизу ли — от зем-
ли, напрягаясь натужно, чтобы добыть хоть капельку...

Шумит дождь, пошумливает, как заговор творит — о лесе
вешнем и ручьях-быстринках, о моховых прогалинах и полях
дальних с изгородами косыми. Шепчет дождь, нашептывает:
«Да поднимется листва облаками, да будет трава зеленая, а
посев — дружным, а жизнь — с радостью!»

Серые стволы.

Сумрак дождевой...

Смотрит Берендей, озирается.

Э, да фиалки тоже дождь переживают! Кто в шатре, а
они — под зонтиками.

У фиалок ползучие корневища, круглые листья. Шерохо-
ватые в зазубринах листья и нарядные цветы на тонких шей-
ках. Тянутся фиалки из мятой прошлогодней травы, будто
посмотреть охота им, как распустилось «волчье лыко», как
певчий дрозд голубит свое первое яйцо и под белой корой берез
набухает соком каждая жилка... Они живут ожиданием небыва-
лого, но небывалое-то рядом. Чудо близко, ведь и сами лесные
фиалки — чудо чудное. Перед ненастьем склонились тонкими
шеями, спрятали цветы под собственными листьями. Обычно
листья свернуты, теперь они распрямились и прикрыли, как
зонтами, душистые, яркие, с оранжевыми сердечками цветы.

Дождь перешелся. Солнце проглянуло. По веткам берез
повисли сверкающие бусы. Что ни бусинка, то на донце ка-
пелька солнца.

Зяблик опустился на березу. Подхватил клювом сразу две бусины и вместе с каплями дождя напился и солнца. Потом встряхнул мокрыми перьями и запел — звонко, голосисто, с таким гремящим раскатом. Гляжу: фиалки складывают зонтики, тянутся из травы. Солнце светит — прочь зонтики!

А мне пора. Пора дальше. Дальше и дальше — не век же Брендеем на пне сидеть...

УБОРКА

ПОСЛЕ осени ели принимали на себя ветер до последнего его вздоха. Снег, стужа, оттепели со слякотью — все было их. Стояли, не гнулись елочки, хвоей оберегали соседние березки, осинки, калину да малину. Надо и отдохнуть! Отдохнете — распускаются кусты и деревья, юная зелень затеняет все вокруг, и вас спрячет от палящего солнца, от будущих гроз...

Елей вроде бы поубавилось. Одни старые, остроконечные, по-прежнему выше всех, и по-прежнему быть им дозорными леса, на ветрах качаться и никогда не гнуться.

Приборка в лесу. Какой есть хлам, уходит он под траву, под цветы. Мхи пышнееют, укрывая трухлявые колодины, пни. Разрастается, дает свежие побеги черника.

И птицы на уборке: носят с земли для гнезд сухую траву, пруточки. И муравьи собирают хлам, палые хвоинки, тащат к муравейнику.

Но что это? Ай-ай-ай, непорядок: кто-то убирает, а кто-то мусорит...

Голый пенёк, под пнем прямо-таки свалка. Битая скорлупа — пожалуйста! Перья, птичий помет — извольте! А еще шкурки мышей вдобавок.

Пень не простой, пенёк с дуплом. Так кто же, какая такая неряха дупло заняла? Из-за нее вся уборка насмарку!

Синица-гаичка к пню села. Хвостиком повертела, стрельнула по сторонам шустрыми глазенками — и цоп, потащила перышко.

Белка скок к пню. Принюхалась — фу, помойка!

— Цо-цо-цо, — закричала, дергая хвостом.

Выбрала поцелее мышиную шкурку и унесла. Бельчатам, что ли, на пеленки?

Ладно, раскроем секрет свалки у пенёчка, право, он того стоит.

Весной поселилась в дупле голого пня пара воробьиных сычи́ков. Среди сов сычи́ки все меньше, из сычи́ков самый

маленький — воробыный. Подлинно воробей — не смотрите, что сова! Кроха-крохой и больше ничего.

Достоинств у малютки — на большую птицу хватит и еще останется. Например, наш таежный воробушек отличный семьянин. Наседка в гнезде на яйцах, и сычик столько всякой снеди ей таскает — не приесть. Но и наседка из хозяйки дупла такая, что лучше нет. Ни при каких обстоятельствах не покидает она яиц, а потом и маленьких птенчиков. Разве что дерево с дуплом срубят — лишь тогда сычиха его покинет. А чистота в дупле...

Выведутся птенцы — сычик в тот же день проводит генеральную уборку дупла. Что лишнее: мусор, хлам, отбросы — все вон.

Свалка у пенька — значит, у воробыных сычиков праздник, семейное торжество.

— С днем рожденья, малыши!

Постучал я в пенек и дальше зашагал.

Валялся на тропе гнилой сук, поднял его и отбросил в сторону: козь уборка в лесу, то и я не прочь принять в ней участие.

НЕЗАБУДКИ

ГДЕ по следу трактора к окраине леса бежал ручей, смывая хлам, выветливая песок, сегодня трава дымит утренняя и груды, охапки незабудок, мокрых от росы.

Березы, наливая воздух легким трепетом, с блестящих новеньких листьев запускают зайчиков в мох, в траву, куда попало. Приседает, с голого пня бьет поклоны кукушка.

Вспомнил: встарь про незабудку говаривали, что ангел ее с неба принес. Впрямь бесподобен цветок и ни с чем, что охватывает взгляд, близко не сопоставить эту голубизну. Даже небо бледней. Точно-точно, бледней. Не спорю, бывает небо лучистей, но таким голубым — никогда. Облачность его туманит, дымка размывает, обесцвечивает солнце.

«Ку-ку», — бьет поклоны кукушка. Стой, может, мне ворожишь? Что мало нагадала, добавь, не скупись.

«Ку-к!» — резко оборвав счет, вещунья хихикнула. Полетела с пня, кому-то, не мне, наперед пророчить долгий век.

Сижу. В сторону отложен потрепанный походный блокнот. О чем может мне сказать незабудка? В самом ее имени заключен нарек: помни. Живи и помни, что не вечно кукушки будут ворожить тебе долгие годы. Не спохватись, смотри: как много жито, как мало пережито!

А я никому не дарил незабудок. Не нашел кому дарить. Закрит блокнот, среди травы потерялся карандаш. Ладно, все равно нейдут на бумагу слова. Тревожен мне шепот листьев, горек дальний птичий крик: «Ку-ку... ку-ку».

Собственно, цветок мал, невзрачен. Если один. Только их всегда много, в этом все дело. Видишь прежде всего голубое. Брызги, росплеск голубого. Тем более, что стебли голые, в пушку и без листьев. Незабудка распускается рано, а пора ее — теплый май. Стоит однако в цвету до осени, седой от инеев. Случается, заморозок уложит траву, желтые листья запрудят лужи, как вдруг, блуждая меж лесных полян, встретишь незабудки. Хотя бы одиночные. Не ищешь, нет, они сами выделяют себя в жухлой, побитой холодом траве. Такие простенькие: пять голубых лепестков, золотистый зрачок, белые реснички. Такие обыденные, примелькавшиеся за лето. Видишь, что из последних сил держатся и голубеют, как спрашивают: мы не нужны?

Не нужны! И проходил я мимо.

Мохнатый шмель выпал из позолоченной чашечки лютика и возится в зеленой гуще, надсадно гудит. Соседний лютик пошатнулся и выпугнул мотылька.

Диво, диво: ветра нет и колышется трава...

А, да в траве есть кто-то! Рад я отвлечься: есть... Есть там кто-то! Ближе, все ближе качаются лютики, трава струится.

Из зелени вынырнул рябчик. Шею тянет. Перерыв в росе, хохолок на голове, как мальчишья вихры, и шея тонка подетски. Красные брови дужками, под клювом черное пятно вроде бороды. Вертит он головой, на небо зачем-то скопился. Вот хвостом качнул. В клюве трясется, защемлена голубая незабудка.

Ай да молодец, на букет, верно? Скажите после этого, что перевелись на свете рыцари, первый я не поверю. Но один цветик — не букет. Ну-ка рыцарь, не стесняйся! Ну-ка, ну-ка, давай!

Наклонился он к голубой охалке и пошел, пошел клювом мелькать, только вихры на макушке трепещутся.

Рвет и ест: по цветику на глоток!

Ну, и ты туда же — себе да себе...

Светлы березы, с листьев пускают зайчиков. Зелена трава, пышны мхи.

Располным-полно зелени. Кругом зелень, зелень, а в зелени голубое. Роспесками, брызгами.

Цветут незабудки: знать, надо, чтобы было их много. Много-много от весны ранней до осени седой...

НЕЖНОСТЬ

ЧИСТЫХ хвойников мало: чтобы ни дерева, кроме елок, чтобы земли не видно — мох и мох и чтобы сучья, темная хвоя, смыкаясь плотно, свет застили.

Каждый хвойник знаешь в округе. Все они на одно лицо: серые стволы, висячие куделистые лишайники, лужи застойные и застойная тишь.

Пискнет мышь из хвороста, будто паутинку оборвет: чу — и заглохло опять надолго-надолго. Лишь ветер верховой в хвое шипит строго: тс-с... тс-с... Белка прошмыгнет от дерева к дереву, держа хвост на весу. Едва касаясь коры коготками, будто на цыпочках, взбежит вверх по стволу, и скроет ее запаутиненная хвойная навесь... Тс-с! Тс-с...

Нем ельник. Слеп. Хотя бы солнце к мхам пробилось, что ли!

Томит, оглушает тишина. Пришел в нее окунуться, набраться ее вволю, а уж и сыт. По горло сыт. Оторопь забирает: не утонуть бы, не захлебнуться бы — так она глубока. С облегчением вздохнешь, когда черный, как монах, трущобный дятел-желна возвестит вдруг зычно: «Пен-нь! пен-нь!»

Чего доброго, пенья-коренья, сухостоин и валежника навалом. Перед глазами торчит пень, громадина не в обхват. Вершина обломилась, сопрела во мхах, кору, как шкуру, дятлы спустили. Голышом стоит пень, к подножию налипли грибы-трутовики, увесисты каменные лешачьи копыта. Может, последние лешие, бежав из сказок, прятались в старом хвойнике? Не пожилось, знать, изгнанникам, с лютой тоски откинули копыта...

Ели. Одни ели.

Мох. Один мох.

Где почва суше, слой мха истончается, под разлапистыми елками пропадает. Там ржавые иглы насыпью, там ни травинки и пахнет затхлою гнилью.

Но есть в ельниках цветы. Чаще сюда вхожи белые, из белых чаще других кислица. Местами она изобильна, по ней хвойные боры зовутся тогда «кисличниками». Быль и небыль рядом, если кислица в бору.

Не каждому растению удастся прорваться через мох — кислица же зеленеет, был бы мох влажным. На пышном и она гуще. Корневища, обтянутые мхом, колодины во мхах, как в чехлах, подо мхом пни, хворост — и везде зелено от травки-невелички, цветка-недотроги. Сказать бы, она приземиста — да как? Бывает, растет, земли не касаясь. У крохи во мху



Висят шишки — в память о прошлогоднем урожае...

корешок, наружу тонкие, сердечком вырезанные листья, белые, розово просвечивающие жилками цветы. Всегда отдельно листья, отдельно белые венчики: нет как нет единого стебля.

Кислица невидная травка. Попадется где в одиночку — стопчешь и не заметишь. Беззащитно хрупкая, нежная кислица проявляет себя в ельниках, в сумрачных заколоченных дебрях, где сыр и темь.

Преображается чаща, когда тысячами тысяч распускаются белые цветы и высветят сумеречные мрачные глубины. У насупленных, недоверчиво колючих елей, самых дряхлых старух, потрепанных жизнью, и то проклевываются тогда свежие мягкие иголки, собранные пушистыми кистями. Были лапы — иглы колючие, стали такими, что тронь щеку — не уколешься. Откуда, право, что берется? Что еще за нежности у елок-то? У елок!

Когда мхи белым-белы, ельник гонит юную хвою. Ожил... Живет! И надо... Надо жить... В морщинах кора подножий, трескается, одряхлев. Корни в шрамах от камней. С побитых ветрами сучьев слезой каплет смола. А жить и надеяться надо: ведь неизменно юн у каждой елки вершинный побег,

тянется мутовочкой ввысь, к небу. На вершок да подрасти! Надо, надо, раз мхи белы, раз в чаще весна!

Кислица в цвет, елка в рост — такое вот совпадение. Одна — сама нежность, другая — хмурая, замкнутая. Что между ними общего, что порознь им вроде бы не житье? Угрюмые, в сивых бородах лесные патриархи и крошечная травка...

Да нужно еще пояснить, почему кислица недотрога. А этого, наверно, никто не знает, почему она такая, что тронуть нельзя — съежится, будто повянет.

Блик солнца проникнет в щель хвои, задержится на кислице — и сложатся листья, как крылья мотылька, белый цветок поникнет стыдливо.

Ни с кем не делится кислица нежностью и красотой, одному ельнику, теням его густым предана, вот и все.

Прокричала в хвое сойка, бродячая таежная ворона, скрипуче прокричала, как скрипуче растворяются намазанные петли ворот.

— Р-ре... — отворились.

— Р-ре-е! — затворились.

— Тук-тук, — стучит желна, словно гвозди вгоняет, заколачивая за сойкой хвойные ворота. Гвоздь по гвоздю: — Ту-тук!

Вновь заколочены ворота. Тишь в ельнике, мох и хвоя, серые стволы...

УЛОВ

ОСИНА листьями протрепетала, как спросонок. Сосны, вздыхая, разминали покатые плечи. Рано еще, рано бы просыпаться... Ночные мотыльки, крылышки белые — платица балльные, еще не разлетелись по домам, в низине «заяц пиво варит» — клубится, не тает под вставшим солнцем туман.

Я присел на пенек отдохнуть перед спуском к реке, как вдруг в кустах обозначилось расплывчатое пятно. Похоже, лисица. Точно, она. Высунулась из кустов и медлит перебежать дорогу. Медлит и медлит — нос по ветру, ушки на макушке.

Небось она-то чует, как растет трава и где разнылся комар, наколов босые пятки о хвойные иголки; знает, как бродят под корой внешние соки, понуждая ветви вздрагивать в истоме, и где птица голубит в гнезде первое яйцо...

Без оглядки припустила рыжая к соснам на бугре. Что ей удалось вынюхать, прониры? Близо от меня промчала: хвост

дугой, лапы чикают по грязи. Очутившись под соснами, лисица пометалась взад-вперед, потыкала туда-сюда черным носом. И с ног долой и ну по земле кататься!

Непутево взбрыкивали грязные лапы. Мел по траве хвост.

Покаталась и встала. Шатает ее и возит. Зато хвост... Толстый, пушистый, лисья гордость и краса, хвост задран вверх! Во блаженстве рыжая, в радости! Так она хвост держит, если случится мышшь сцапать или еще что-нибудь перепадет ей на проворную лапку. Но сейчас... Что с нею, коль не знает, куда хвост подевать?

Да ведь во хмелю лиса. Мордочка набок, язык высунут, зубы скалятся в пьяной ухмылке. Ишь, ее разобрало! Чего и хлебнула с утра пораньше, всяко не пивка — тумана низинного.

Хороша... Ай-ай-ай! Заяц набег — с пьяных глаз ему на шею кинется. Мышь покажись — в ножки падет: мол, люблю тебя, милая!

Слабость моя — не выношу и вида пьяных. Как рывкну: — Чтоб тебя, неумытая!

Ее и след простыл. Унесла ноги.

Но настроение было испорчено. К зорьке теперь опоздал, лису, какую-то забулдыгу, встретил — одно к одному. Кинул я удочки на куст и закурил.

С вершинной мутовочки ели свистела, как выпрашивала, птаха-красногрудка: «Ты-то видел? Ты-то видел?»

Ну, видел, видел, в толк вот не возьму, что с лисцей стряслось.

Нет, схожу к соснам, загадкой терзаться неverteпуж.

Из конца в конец по бору чертили шмели. Опустится один, и другой, и третий вниз, есть кто из мелюзги на цветах — мошка или комарик — взащей их вытолкают. Нагрузятся шмели медвяной сладостью и «вз-з», «вз-з» — полетели, повезли.

Осматриваюсь. Проплешины песка, белый мох и красные, уходящие в небо стволы. Подножья сосен серые, будто для крепости облицованы гранитом. Зеленъ трав. В росе зеленъ, усыпана цветами — мельче росы колокольчиками. Запах... Удивительно, почему я раньше не замечал его? Запах — струями, ручьями. Благоуханны ручьи, целительны: зачерпни, испей — и с сердца прочь кручина.

Не оттого ли березы пригожи-белолицы, елки густы, у сосен здоровья на сто лет вперед, что из этих ручьев пьют вволю?

Где лисица каталась, там смята трава, сбита роса.

Птичка, увязавшись за мной, непрестанно свистит, допытывается:

— Ты-то видел? Видел?

Пожалуйста, помолчи, красногрудая: видеть видел и все не пойму, отчего лиса ландыши мяла. Удочки мои на куст брошены, зоровой клев пропал. Пусть. С уловом я. Задал мне задачу сосновый бор: зачем лиса под сосны бегала, на траве валялась, ландыши мяла?

Голова кружится сладко. Держите, не то и я тоже в ландыши завалюсь. Лиса, где ты? Дай, рыжая, лапку — пожму, прощенья попрошу, без вины виноват.

Но ч-ш-ш... Тише, тише, в бору ландыши цветут!

ЗАГАДКИ ДЕДА- ВСЕВЕДА

В СУЧЬЯХ ЧАШЕЧКА,
СРЕДЬ КАМЫШЕЙ ПЛОТИК

Жду вас, знатоки-следопыты, спешу поклон передать от красных боров-сосняков, от еловой чащи, троп моховых, от ручьев звонких — текут, бурлят, наперебой весну славят!

Эй, гуси в гусли, утки в дудки, вороны в коробки... Давай жару поддавай, плечи на каменку — жизнь пошла теперь распояской да нараспашку! У кого голоса нет, и тот шепотом да поет, журавль на болоте впрыскаду пускается, комарики в столбушку играют...

Не скупа весна на обновы. Снег с земли долой — белое не в моде, подай пестренькое. Про

зайца-беляка, горностая и ласку сам я сказывал, про белую куропатку вам загадывал: она с ранних проталинок стала зимнее перо, теплый пух ронять да попестрей переодеваться. Вторая загадка была не труднее: из полевых и лесных голубей — горлиц, клинтухов, вяжирей — один клинтух в дупло забирается птенцов выводить, больше никто. Запомнили? На первоцветы сейчас весна щедра: мать-и-мачеха, голубая пролес-



ка, медуница, сон-трава, хохлатка, калужница... Однако кого подснежником назовешь, то волчье лыко — кустарник с лиловыми душистыми цветочками, которые густо усыпают голые прутья, когда под елками буквально рядом снег лежит. Рвать волчье лыко нельзя: растение ядовито. Таежная сирень местами стала очень редка, извели ее на букетики! «Кому слезы, кому радость», — говорят в народе о березе. Весной она живой водой поит, сладкой и целебной. Муравьища разоряет медведь: отошал босяк косолапый, изголодался, в берлоге лежа, и что бы ни попало на глаза из съестного, пусть хоть мураши, лапой в рот тащит. У кого песня — шепоток? У глухаря, конечно! На почин глухарь щелкает — размеренно, отрывисто. Перья подняты, торчком вскинут развернутый хвост. Щелканье переходит в дробь: точно-точно как щепотка дроби просыпалась на пол. Затем — свистящий шепот: птица словно бы косу точит — и тогда гложет, на две-три секунды совершенно лишается слуха. В целом же глухарь чутко и осторожен.

Ну как мои загадки? Каждая из тайничка взята и к новым тайничкам зовет, в наш общий дом, где стены — стволы деревьев частые, вместо кровли навись хвойная, окна — озера синие. По тому дому я ходил, за порядком следил и загадки собирал. Нес-понес загадочки, спохватился — ая мешок-то пуст. Тряс, потряс заветную котомочку — и остальное растаяло. Кто тут виноват? Весна, больше никто. Весна майская, прощальная!

Развертывают листья деревья, полной грудью дышат, каждое на особый лад. Не передать, как благоухают свежие листья ив. Осина тонко горчит. Ни с чем не сравним запах берез, когда рощу повет прозрачная нетающая дымка, — почки проклюнулись! Хмельно кружит голову дыхание майского леса. Неужто такое чудо творят слепые корни? Капля по капле cedят они из земли соки и гонят в облитые корой стволы, в узловатые сучья и клейкие набухшие почки...

Я будто заново родился: душа солнца полна, кровную связь чую хоть с облаком, хоть с водой бегучей, и в меня, в меня тоже земля гонит силушку свою — через дыхание леса, через жавороночьи трели и гул шмелей. Вешним духом хмелен, забросил я свой посошок-батожок. Не смотрите, что борода седая, еще могу... Могу чужой радости радоваться и готов своей с целым светом поделиться!

Дрозд пронес сухой стебель. Барсук прошмыгнул в нору...

Здравствуйте, норы и гнезда, привет тебе, будущее пополнение нашего большого дома: лисята и зайчата, в воде мальки, на былинке колоски! Пусть не будет нам тесно под небом — одним на всех!

В мае не маются — пляшут и поют. Ушам услада, глазам отрада, лучше поры нет. Да это, друзья мои, одна видимость, на деле-то моим землякам опять легче нет. Сдается, сейчас и подоспела страда-маята. С едой стало проще, так ведь и птичка разве единым червяком жива? Гнезда, логова, норы — вот о чем нынче берет заботушка. Птице и зверю не все равно, где своим домком зажить. Прежде чем, скажем, зяблику в сучьях выплести колыбельку, ежу под пнем обосноваться, они ищут тот единственный уголок, который им нужен, который их устроит. Если поют мои земляки, пляшут и скачут, то у них дележ идет — лесов и вод, трав и болотных кустиков. Журавля в сосновом бору не поселишь, ежа в болото на житье не загонишь, лису без норы не оставишь...

Дележ сейчас, кому чем владеть; всюду спешная стройка, срочный ремонт. Орел громадные сучья ломает, обновляя прошлогоднее гнездо — махику в центнер весом на вершине вековой сосны. Покатую хатку из осоки мастерит ондатра. Паутинку мотает синица-уполовник — гвозди не



Зяблик на гнезде. Неплохо птичка устроилась, правда?

годятся, круглое гнездышко она паутиной скрепит. Плотик из камыша пустила по заводи чомга-птица. Дрозд изладил чашечку, донце оштукатурил — плотна чашечка, хоть чай распивай!

Ходил я, ходил по своему хозяйству, земляками своими горд — до чего споро идет у них стройка под песенки! И о загадках позабыл. Хорошо, моя бабушка выручила. Ну Антипьевна меня корить, ну мне пенять, а после сказала:

— Не все тебе, старый, загадки загадывать, дай-ка я за тебя похлопочу.

Говорит, как выпевает, пальцы загибает:

— Первая загадка: «Что за дерево — из первых весну провожает зелено? В платье бело наряжается, ровно невеста в фате красуется. Солнышко припечет — где же бело-то платьице, рюши да оборки? Нету! Одни зеленые пуговики!» Ладно ли я, старик, загадала?

Молчу. Кто про что — моя бабка про наряды. Молоденькая, что ли?

— Вторая загадка, — продолжает бабушка, — «Вылетели кулики из-за моря. Где сели, там водополь, трава-мурава, мхи серые. Что ни кулик, то наособинку кафтан. Щеголи долгоносые, хоть сто их в стае, хоть тысяча — двух одинаковых кафтанов не увидишь, все разноцветные».

Я по лавке ерзаю, не терпится возразить:

— Сызнова наряды? Будет тебе, старая...

Она смеется, третий палец загибает.

— Что такое:

Стоит дурак,

На нем колпак:

Не шит, не бран, не вязан,

А весь поярчатый.

— Поярчатый значит морщинистый, — пояснила бабушка милостиво. Меня заело. Ты так, Антипьевна, то и я не обсевок в поле.

— Напоследок, — говорю, — вот моя бывальщина: «Кому весной в хлеву маникюр делают?»

Раз все у бабки про наряды и моды, то я разве в стороне останусь?



ИЮНЬ-ПЕЧЬ ПЧИН



ВЕТ заката матов, зыблется, отражая проблески росы. Темнеет только полночью: заря с зарей встречается.

Утром — туманы.

Днем — дальний зов кукушки, парная духота сосен. Дожди днем торопливые. Кое-где по Вологодчине облака, приносящие дождь, зовут перевалами: выползают, лохматые, из-за леса, сваливаются на поля, луга... Дождь и солнце — говорят: «Царевна

плачет». Тепел, весел дождик при солнце: брызжет, по тесовым кровлям пляшет, скачет, ребятишек поддразнивает — а ну со мной наперегонки! То-то радость выбежать под дождь на лужок перед избами! Прыгаешь, бывало, кричишь:

Дождик, дождик, пуше,
Дам тебе я гущи!

Лето — хлопотливое время, тяжелое, страдное. Поучали встарь месяцесловы, на ум наставляли: «Дважды в году лету не бывать», «Что по лету растратишь, годом не соберешь».

В прошлом об иконе шла недобрая молва: «Июнь — в закрома дунь. Поищи, нет ли где жита по углам забыто. Собери с полу соринки, сделаем по хлебцу поминки».

Нет хлеба. До урожая далеко. Да будет ли нынче урожай? Плелись старухи с батожками за околицу после заката. Заклинали, слезно молили: «Ветер-ветрило, из семи братьев Ветровичей старший брат! Ты не дуй-ка, не плюй дождем со гнилого угла, со запада... Ты подуй-ка, из семи Ветровичей старший брат, теплом теплым, ты пролей-ка, Ветер-ветрило, на рожь-матушку, на поле, на луга дожди теплые к поре, ко времечку. Ты сослужи-ка службу мужикам-пахарям на радость, малым ребятам на утеху, а тебе, буйному, над семерыми братьями наибольшему-старшему, на славу!»

Всходы отличаются в июне трогательной и нежной зеленью. Да учила поговорка: «Всходы еще не хлеб», «Взошли хлеба — не дивись, налились хлеба — не хвались, хлеб на току — про урожай толкуй».

А работы, забот-то было крестьянину в перволетье раннее: и сев кончай, и навоз на поля вози под забь, и прополку ве-ди, и сенокос начинай. «Поводит июнь на работу — отобьет от песен охоту».

Нет же, не отбивал: как раз на июнь падали знаменитые «зеленые святки», хороводы «русальной недели», когда белая береза именинница! В Вологодчине этот девичий праздник прозывался поляной, так как приуроченные к нему обряды справлялись на зеленой траве и лужайках. Избы украшались березовыми ветками со свежей запашистой листвой, ходили красны девицы венки вить, березку заплетать. Венки пускались по течению реки: поплывет — на судьбу добрую, уто-нет — не жди, девушка, в этом году себе добра!

Пришли обычаи, хороводы и песни «русальной недели» из глубокой древности, отделенной от нас десятками веков...

Народные календари-месяцесловы полны не только мет-

ких, красочных наблюдений природы. В них и перечень сельскохозяйственных работ.

3 июня — «Олены — ранние льны».

Сеяли, сеяли
Девки лен, лен,
Сеявши, говорили:
«Зародися, мой льнище,
И долог и тонок!
Золотое коренье,
Серебряно семя!»

Озимые хлеба колос выметали, пашня вспахана, и поэтому на 11 июня приходилась Федосья-колосьяница, на 13 — Еремей-распрягальник.

Полило землю дождями, сорняк пошел, душит посевы. «Осот и лебеда — для посевов беда», «Сорную траву с поля — вон», «Поле полоть — руки колоть, а не полоть, то и хлеба не молоть».

Во второй половине июня по северным деревням вывозили удобрения на поля. Судили месяцесловы на этот счет здраво: «Земля навоз помнит», «Навоз бога обманет!»

Глядишь, и сенокос приспел. «Первая коса не прогадывает, — ратовали месяцесловы за раннюю косьбу, — что ни копна, то пуд меду».

25 июня — солнцеворот, или, по-старинному, солноворот: «Солнце — на зиму, лето — на жары».

В XVI—XVII веках в Москве соблюдался обычай: в день солноворота являлся к царю звонарный староста Успенского собора с докладом: «Отселе, государь, возврат солнца на зиму, день умалется, ночь прибавляется». Неутешительная весть — среди лета солнце на зиму поворотило! Звоняря немедленно запирали на сутки в темницу, в Ивановскую колокольню... Земля возвращается, а звонарь расплачивайся!

26 июня — «Акулина — задери хвосты». На исход июня падает вылет слепней, оводов. Они сильно досаждают скоту на пастбищах. Задрав хвосты, носятся коровы, как угорелые. Наедаются плохо, сбавляют надои.

Перволетье. В почин его рябина цветет, а теперь уж и ранние грибы сошли, только опята по пням карабкаются на тонких квелых ножках, и жимолость горечь наливает, и земляника румянит бока.

Поутихли улицы, дворы: умчали автобусы детвору за город. В выходные дни тесно на обочинах дорог от мотоциклов, автомашин: всяк стремится на природу, прямо-таки поветрие.

В разговорах то и дело слышишь о лесных обитателях. То ребята подобрали лосенка — один под кустиком лежал: ясно, брошен, мать погибла! Рыжий теленок — худящий-то! — обрадовался, сам в пионерский лагерь побежал, и погонять нечего! Еще соседка по дому дрозденка подобрала: не иначе как гнездо было разорено, спасла она птенчика от верной смерти, добрая душа! А в доме рядом ежик живет — тоже, видно, был сиротинка...

Бельчата, зайчишки, птенцы — сколько их попадает сейчас в добрые заботливые руки! Повременим, однако, умиляться! Точно ли, что лосенок был обречен? Если он был один, это еще ни о чем не говорит: лосиха нередко оставляет малышей в укромном безопасном месте, сама отправляясь пастись.

Птенцы тех же дроздов, а также жаворонков и многих других птичек покидают гнездо, не умея летать. Кто сказал, что они сироты? Прежде чем изъять маленького жителя леса из родной ему стихии, убедись в необходимости своего поступка! Детство, оно есть и у птиц, и у зверей. И лишать их свободы, запираť в клетки и загоны — да где тут доброта? Ухаживать-то за птенцами, зверятами вы хоть сможете? Не надоест нянчиться?

Доверчивое наивное детство, как тебя нужно беречь — на реке, в поле и в лесу! Не легко быть добрым, но осмыслительным надо быть всегда...

Июнь, почин лета, звался славянами изоком, что означает — месяц кузнечиков. Румянец года, слыл он червеном, то есть красным.

На Руси издревле красный цвет считался победоносным: под стягами червлеными, блистая строем копий, отправлялись рати сражаться за отчужденную землю с ворогом-супостатом. Сколько ворогов хаживало на Русь — все она вынесла, выстояла, а могилы захватчиков лебедой заросли...

САМОЕ - САМОЕ



Жарчайший июнь выдался в 1921 году, предвещая засуху: среднемесячная температура пересекла под Вологдой за 16°. Едва ли менее жарким выдался июнь 1936 года: считай, с весны не выпадало ни капли осадков.

Ландыши, ландыши... Ну-ка, когда можно в роще набрать первый букет? В 1957 году под Вологдой ландыши зацвели 15 мая, в 1908 году — 23 июня, на две недели позже обычных сроков.

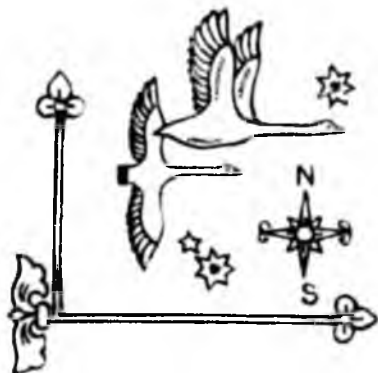
«Ой, цветет калина в поле у ручья»... Под Вологдой это бывает в первой декаде июня.

Самое раннее зацветание калины отмечено в 1930 году — 22 мая.

Подберезовики в 1920 году появились 6 июня (белые грибы высыпают и в мае, как в 1977 году), зато в 1936 году по причине засухи — только 22 августа.

Половодье... Разве не поздно? В 1955 году в конце июня было сильнейшее наводнение. Выйдя из берегов, Сухона затопила огромные площади в Вологодском, Сокольском, Междуреченском районах. Исключительный подъем воды был обусловлен запоздалым таянием снега и частыми дождями.

КТО И ГДЕ? КУДА И ОТКУДА?



РЫСЬ — таежные дебри, глухомань приняли ее на лето. В выводке дватри котенка (бывает изредка четыре-пять). Логово устраивает в буреломе, частом, непролазном кустарнике. **ВЫДРА** — нора под берегом, «крылечко» непременно в воде. Пол сух и чист. Выдра такой зверь, что и среди зимы дает приплод, поэтому сейчас в норах детеныши разновозрастные: в одних — слепые сосунки, в других — почти взрослые, в третьих — до оих пор никого.

БОБР — по спадающей воде предпринимает переходы на выгул, как на дачу, заводит новые поселения. За ночь вплавь и пешком бобр одолевает десятки километров. Разуме-



Ландыш цветет...

ется, кочует подросший молодняк прошлых выводков, старые бобры привязаны к дому семейными заботами. В выводке от одного до пяти бобрят.

БЕЛКА — когда молодые обрели самостоятельность, старая может снова обзавестись семейным гнездом. **ЗАЯЦ-БЕЛЯК** — адрес у него — лесные уголья, богатые травой, редкое с луговинами, поймы таежных рек, приболотья.

ЗАЯЦ-РУСАК — рожь вымечет колос, когда появляются зайчата — «колосовики». Спрятав ненаглядных крох в укромном местечке, зайчиха навещает детенышей. Случается, подползает, крадется, насто-рожив уши... Не путайте русаков с беляками, которые бросают зайчат! **ГЛУХАРЬ** — вывелись цыплята, конечно, если срок подоспел. Насиживает глухарка примерно 24 дня. Вырубки, гари, участки тайги, где много муравьищ и ягодных полян — здесь она водит писклявую семейку. Петухи-глухари линяют, забившись в непролазную чащобу, и не способны летать.

ТЕТЕРЕВ — косачи линяют, тетерки с цыплятами — около пашен, болот и покосов.

ПЕРЕПЕЛ — в полях и лугах. Завершается кладка яиц. Их 10—12. **СЕРАЯ КУРОПАТКА** — она перепелу соседка. Но 10—12 яиц? Так мало? У полевой курочки кладки вдвое больше!

ГОГОЛЬ — занимает белобокая утка под гнездо большие дупла, вывешенные охотниками специальные ящики. В одном домике на нежнейшем пухе лежит шесть яиц, в другом... сразу тридцать! Что такое? Что за небывальщина? А дело все в том, что гоголь за неимением своего дупла несет яйца в какое придется, лишь бы было это гогольное гнездо...

КРОХАЛЬ — вывела утка-рыбалка выводок прогуляться на широком плесе — ну и семья! Сорок утят, шутка ли! А ничего особенного. Ведь утята крохалей, потерявшие матку, прибиваются к другим вы-

водкам. Получается, что в своей семье крохалиха иногда воспитывает больше чужих беспризорикиков, чем собственных утят.

ЗИМОРОДОК — оперение цветисто, ярко: не птичка — крылатый самоцвет. В последние годы зимородок начал встречаться на юго-западе Вологодчины, в Белозерье. Питается мелкой рыбой. Гнездо в норе, выкопанной в обрыве, устилается не пухом и перьями, а рыбными косточками.

ГОРОДСКАЯ ЛАСТОЧКА — кормит птенцов насекомыми, принося им поест по 295 раз в сутки. Кто больше?

ДЯТЕЛ — он больше — 300 раз!

ПОПОЛЗЕНЬ — голубая птичка, которая поселяется, как и большой пестрый дятел, в дуплах. С кормом прилетает 380 раз...

ГОРИХВОСТКА — 469 раз! У нее рабочий день летом больше двадцати часов.

МУХОЛОВКА-ПЕСТРУШКА — птенцов однодневных кормит соком пауков, двухдневных — целыми пауками и гусеницами и только пятидневных и старше — наконец-то! — мухами, бабочками, жуками. Большие стали, не подавятся! Рабочий день пеструшек сейчас достигает 19 часов, кормят птенцов 561 раз!

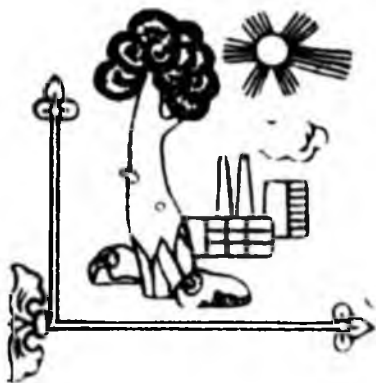
ФИЛИН — устроилась пара под корневищами сосны, на голой земле — птенцы. Их два-три. В пуху, как в шерсти, филинята напоминают неведомых зверюшек, на птиц не похожих. Впрочем, все совы в детстве таковы.

ОРЕЛ-БЕРКУТ — в полетах, орлица на гнезде. Насиживает она около полутора месяцев. В кладке обычно два яйца. Орлят редко бывает двое, чаще — один птенец. Орленок проведет в гнезде 75—80 дней.

ЩУКА — наполовину выпали зубы, клыки нижней челюсти. Рыб однако хватает покрупнее. Не голодать же в самом деле, раз щуке приходится все лето зубы менять! **РАК** — скинул тесный панцирь. Линяет, забившись в нору.

Мой край родной

РУКОТВОРНЫЕ МОРЯ



Есть реки — с весны до осени не смолкают пароводные гудки, буксиры тащат караваны барж, плоты бревен, стремительно пролетают суда на подводных крыльях, и в широких плесах отражается все небо с тающими в зной облаками, с белым следом воздушного лайнера, пронзающего лазурную синь стреловидным корпусом.

Есть реки — сквозь хвою не проникнет солнце, вода холодна, как лед, в омутах мокрых на дне шишки, и крохотны эти омуты:

водомерке малы, чтобы разбежаться на комариных ножках!..

Сотни рек орошают землю Вологодчины. В пределах области масса озер, из них таких, которые длиной более полукилометра, около 1100.

В Вологодчине есть и два рукотворных моря: Рыбинское и Череповецкое. Есть каналы, в том числе Волго-Балт имени В. И. Ленина — крупнейший в мире по протяженности канал.

Он сменил Маринскую* водную систему, построенную в начале XIX века и считавшуюся в свое время чудом техники. Однако она пропускала через свои деревянные шлюзы лишь мелкие суда, причем со скоростью всего двадцать верст в сутки. На пути суда встречало Белое озеро, беспокойное и опасное. Здесь однажды, 2 августа 1852 года, в шторм затонули и получили повреждения 62 судна.

Нынче с севера на юг через всю область протянулся глубоководный путь. Входит в него и Череповецкое водохранилище — впрямь море шириною в 20, длиной в 200 километров.

Следуют суда из Баку в Мурманск, из Ленинграда в Астрахань, из рудной Колы в индустриальный Череповец. Грузены трюмы зерном, нефтью, древесиной, углем, рыбой, машинами, удобрениями для полей...

А туристов на борту белоснежных пассажирских теплоходов!

Как жемчугом, унизана голубая нить Волго-Балта достопримечательностями — хоть палубу не покидай! Тут и Череповец — стальное сердце Севера, город металлургов и химиков, с лесом труб, с заревом огней домен и мартенов, коксовых батарей. Тут и Горицы, Кириллов — крепостные башни, купола соборов. Наконец, внушительны сооружения самого канала — гигантские шлюзы, гидростанция-невидимка, упрятанная в плотину. А рядом на берегах ветхие часовенки, лес, подступающий к воде...

Неизгладимые впечатления дарит путешествие: пожалуй, нигде так, как на Волго-Балте, столь близко не встречаются прошлое и настоящее. Прошлое, которым нельзя не гордиться, и настоящее — с его размахом, устремленностью в будущее.

В 1964 году вступил в строй Волго-Балт.

Гораздо раньше, в 1945 году, наполнилось водой Рыбинское море. Его площадь — 445 квадратных километров.

Часть берегов, некоторые острова Рыбинского моря входят в состав Даринского государственного заповедника.

В его пределах, в тростниковых и камышовых крепях с весны останавливаются на отдых и линьку косяки гусей. Заливы черны от уток; затмевает небо, поднявшись в плеске крыльев, стаи куликов, чаек. По отмелям вышагивают журавли, звонко выкликают на плесах лебеди.

Борок — усадьба заповедника, его центр, утопающий в цветущей сирени. Расположена усадьба прямо среди сосен. Стоит специально тут побывать, чтобы увидеть вольеры, где ученые разводят глухарей, ферму с гадюками, громадный сад черноплодной рябины, посетить музей, рассказывающий о природе Севера.

По присыпанным дорожкам гуляют ручные лосята. Ступи шаг в сторону — и рассыпи грибов. Перед окнами изб на берегах дуплянки, заселенные утками-гоголями...

Чудный уголок: раз побываешь — не забудешь его!

КРЫЛЕЧКО

А ВОТ еще было: по лесу ходил, искал шалаш с периной. Нашел — и за порог не ступил. И уж перинка-то была — пуховая: ляг и почивай.

Не шучу, в самом деле нужно мне было гнездо пеночки-веснички. Хотелось проверить, правда ли, что наша певунья таскает пух-перо и тогда, когда в гнезде птенцы пищат, есть просят. Тысячи там перьев, а маме мало, все мало. Такая, говорят, пеночка домовитая, что перышко ей не попадайся — сразу унесет птенчикам на перину. Нарочно, мол, понадергать пуху из пеночкиной постельки, то весничка соберет, унесет обратно.

Хорошо искать, когда знаешь, где найти.

Я знал. Догадывался. Знакома мне в лесу прогалина, зеленый уголок. Кругом белые березы, от них светлым-светло, как от цветов пестрым-пестро. Толстые, одетые в бархатные шубы с меховыми воротниками шмели, одышливо отдуваясь, перелетают с ромашки на медовую кашку. Плечами оттирают они бабочек, мух, жучков, прильнувших к цветам. Пустите-ка... ишь, присосались! Расталкивают шмели эту мелюзгу, тяжело ворочаются, и пыльца цветов на их ножках напоминает желтые лампасы.

Чуден лесной уголок, где шмели генеральствуют! Земляника подставляет солнышку румяный бочок. Березы, косы распутив, светят стройными стволами и стелют прохладные тени.

Хорошо искать, коль знаешь, что найдешь!

Гнездышко пеночки — шалаш. Где под кустом, где под пеньком иль валежиной, где в открытую. Неказист домик-шалашик: кровля покатая, из былинки, сухой прошлогодней травки сложена. Неказист и мал: ладонью накроешь.

Конечно, полянка тоже невелика. Зато часты кусты, трава густа, в траве — пеньки и колодины.

Искал я весничкин шалаш с пуховой периной. Нашел, а дальше порога не пошел. От крылечка повернул назад, и все тут.

Веснички мне сами показали, где их дом. Может, не хотели, но так получилось.

У птенцов, наверное, был обед. Шустрая зеленая мама с зеленым шустрым папой вместе поминутно приносили комаров. Не рыжих кусачих надоед, а долгоязыких долгоножек, какие водятся по лесам, по болотам и выглядят великанами перед обыкновенными комариками. Пеночки таскали комаров, только ноги у них болтались на лету. На первое деткам комар, на второе — комар. Ешьте, что дают, не привередничайте! Известное дело, птенцы: дай да подай им, аппетит прекрасный. Комарища за комарищем носили веснички откуда-то из-за кустов. Путь птичек через поляну был примечателен своей неизменностью. Выпорхнув из кустов, птичка делала крутой бросок в гущу травы и присаживалась всегда на один и тот же ивовый кустик, скрытый в траве по макушку. С кустика она всегда в одном направлении ныряла вниз на голый сучок трухлявого пня...

Ну да, у пенька прятался ее дом, шалашик травяной. А там на пуховой перине — птенцы! Это кому-то сучок был сучок, больше ничего, а весничкам — крылечко! Крылечко-крылечко в зеленом уголке, где светят березы, земляника румянит бока и шмели генеральствуют.

Раздвинул я траву, стебли спутанные, перевитые вьюнками, и разглядел шалаш с покатою кровлей. Битком набит он: птенчиков в шалаше — по самую крышу! На пуховой перине им не спится: как один, рты пьют. У кого обед на час, у них — на целый день, на длинный-длинный летний день.

Рядом вмятина — отпечаток копыта, лось бродил. Счастье, что на шалашик не наступил.

Поди, лисицы сюда набегают, хорьки шныряют...

Прилепился к пеньку, стоит весничкин шалашик — ладонью его накроешь. Тысячи перьев, белый пух... Птенцы разевают клювы, комаров просят. Осторожно отступил я назад, перышка не тронул.

ВЕРЕВОЧКА

Видали ль вы, как ребятишек детского сада водят на прогулку? Бутуз, щечки наливные, держится за руку воспитательницы, второй, пристроившись сзади, уцепился за пальтишко первого, третий — за второго... Пошли, затопали! Пищит и лепечет караван. Держит он путь через улицу — милиционер вскидывает полосатый жезл, замирает движение транспорта: дети идут!

...У землеройки семейное жилище — шар, свитый из травы-сухостоя. Подогнана былинка к былинке. Теплое гнездо, врагам недоступное: надежно укрыто в пещере под мощными корнями старой ели. Наверху грудками хлам, древесный лом. Солнцу не пробиться сквозь этажи колючих лап. Ели, ели, теснота серых стволов... Глушь, на многие версты медвежья глушь.

Собою землеройка похожа на мышонка. Один вытянутый хоботком нос выдает: это зверюшка другой, не мышиной породы. Землеройка сама хватает мышей. Попадись только — живо сцапает за шиворот. Мал зверек, да удал. Больше, однако, землеройка пробавляется насекомыми: ловит их, ночи напролет шныряя в пластах опавших сучьев, хвои, прелой листвы. Выпадет случай — лужу переплывает, глубоко под землю спустится норой крота. Не найдется жуков, червяков, лягушат — поест и семян. Голодать не в ее привычках. За день землеройка съедает корму гораздо больше собственного веса.

Но если в гнезде семеро, всем дай да подай — тут-то маме-землеройке каково? Дать-дать — а где взять?

Что было поблизости мало-мальски съедобное, землеройка переловила и перетаскала. Может быть, это и послужило причиной тому, что землеройкино семейство покинуло гнездо?

Вышли... Вышли мир посмотреть и себя показать!

Впереди мама, сзади курносые малыши. Как один, курносые! Первый держится за мамин хвост, впившись зубками справа в его основание, второй — за первого, третий — за второго... Ползет, выползает из-под елки живая веревочка, топает по хвойным иглам, сопит и таращит глазенки на дремучие ели, на валежник гнилой и серое пасмурное небо.

Попискивает землеройка, строжит: эй, топай резвей, эй, рот не разевай!

Крайний в веревочке малыш, видно, зазевался: о хвойную иголку запнулся и выпустил хвостик соседа изо рта... Дальше ползет, лапками семенит караван, а он остался.

Хнычет крошка: обождите!

Нет, семеро одного не ждут. Зазевался — пеняй на себя. Идет караван, вьется живая веревочка... Ничего, отстающего мать вторым рейсом уведет. Самостоятельно-то ему шагу не шагнуть: нос не дорос! Иначе как живой веревочкой маленьким землеройкам гулять не полагается. Долго ли курносым крохам потеряться среди валежин, палых сучьев, дровесного хлама и лома?

ДВА ГНЕЗДА

Кто раньше обосновался: муравьи у подножья сосны или птицы, заняв под жилье вершину дерева? Наверное, птицы. Без них бы муравьишки прозябали...

Весной округу затопляет. Муравейник нередко оказывается в воде, среди ивня и черемух крикают утки, на ели, прямо на хвойные лапы садятся усталые чайки.

В поисках спасения муравьи переселяются вверх, в груды сучьев, составляющих птичье гнездо. Гряда громадна, тяжела. Сосна, как и нынче, больше всего давала приют скопам — крылатым рыболовам. Случалось, однако, что гнездились орланы-белохосты, однажды сова неясить, по два лета подряд — коршун. Неясить пруточка не принесла в гнездо, черный коршун обходился березовыми ветвями, обязательно свежими, с листьями. Зато орлан нагромоздил гору сучьев. Скопы тоже носят весной новые ветви и настилают поверх почернелого гнилья. Оттого-то гнездо громоздко и велико. Не будь его, куда бы муравьи делись в наводнение, где бы нашли убежище?

Летом муравьи не устают бегать вверх. Сосна, хоть одряхла, посохла, просмоленный остов ее крепок. Скопы не бросают гнезда, и муравьи служат у них добровольными дворниками: прибирают объедки, лишний мусор. Польза обоюдная. В гнезде чисто, а дворники получают даровой стол. Обглоданные дочиста рыбы кости, чешую муравьи волокут вниз. Срываются, падают и тащат... Все-таки волокут и тащат!

Мирное сожительство день за днем ненарушимо: пара скоп выкармливает выводок, а муравьи с утра до ночи хлопчут о возлюбленном своем муравейнике, купол которого летом заметно подрастает и округляется.

Буря, вывернув с корнем, уронила на сосну ель-сухостойну — так не муравьи ведь ее повалили?

Кабан, вывозившись в грязи, залег обсушиться на муравейник и разворошил его. Но опять же не скопы навели эту дикую свинью, чтобы навредить соседям.

Ничто не омрачало годами сложившиеся хорошие отношения между муравьями и птицами. Одни шуршали, невидимые во мхах и палой хвое, вереницами ползли по стволу дерева и копошились, неумолимо складывали и перекладывали мусор, наращивая этажи жилья; другим принадлежало небо, и они бороздили его, снижаясь над каким-нибудь озером или возвращаясь на сосну приглядеть за птенцами.

Но в том, что муравейник постигла беда, все-таки повинны скопы, птенчики их ненаглядные.

Недоросли оперились, гнездо им стало тесно. Бродя по краю грузной постройки, вдруг какой-нибудь из них взмахивал крыльями, словно пытаясь взлететь. Гнездо тряслось, грозя рассыпаться, сучья шевелились и осыпали вниз бурю труху.

— Кя! Кя! — пищал юнец, выхваляясь своим бесстрашием.

Они, тройка глупых птенцов, накликали, что к сосне однажды пришла гостья — старая рысь.

Пятнистую шкуру пробивала белесая, вроде бы пыльная проседа, сивой была пышная борода, двумя клочьями спускавшаяся по щекам к горлу, и в скованных угловатых движениях, в немигающем раздраженном взгляде желтых глаз проступало что-то старческое, брюзгливое. Привычная добыча не давалась старухе, поддерживала она себя несмысленным молодняком, мышами. Лето — и живот подводит. Проголодавшись, лесная кошка была зла на весь свет за немощь, за скудное, опостылевшее житье-бытье.

Рысь вскинула передние лапы на дерево и, выгибая спину, почистила когти. Короткий, как обрубленный, хвост подрагивал, густые белые усы подергивались. Старухе, казалось, хотелось выругаться: «Кой же черт заставляет вас вить гнезда так высоко!» Дразняще пахло едой, груда сучьев обещала сытость, но до чего она недоступна! Не разжимая губ, старуха глухо, утробно проворчала и сошла с муравьища. Она брезгливо отряхала с лап налипших муравьев, как кошка, выйдя из лужи, стряхивает с лап противные грязные капли.

Упавшая ель увязла вершиной в сучьях сосны. Рысь ступила на ствол, он не колыхнулся — сидит в сучьях прочно. Шагом, не ползком, чтобы не ронять достоинства, рысь достигла голых, с облезлой корой сучьев сосны.

Птенцы, присмирив, запали в лоток гнезда. Старых скоп не было видно: знать, улетели промышлять на дальние озера. Рысь зацепила когтями нижние прутья гнезда и дернула... Посеялась, пороша в глаза, ноздри и уши, вместе с муравьями пыль, труха. Раздосадованная рысь ударила лапой — вниз

повалились обломки. Елка прогибалась, трещала. Зажмурившись, прижав уши, лесная кошка ломала гнездо, добираясь до птенцов. Запах гнилого дерева, едкая вонь муравьев сердили зверя.

Муравьев было неисчислимое множество: сыпались сверху, лезли снизу. Кусали, прыскали в воздух, и кислота на жаре превращалась в жгучий туман. Рысь бросила крушить гнездо, терла морду о грудь, о что попало. Она держалась нетвердо на узкой, шаткой вершине елки, глаза и ноздри палило огнем и разъедало. Кошка гнусаво взывала, в ярости взмахнула передними лапами — полоснуть, достать бы врага когтем! — и оборвалась вниз.

Упала она на ноги. Кошки всегда падают на лапы.

— Кар-рау... кар-рау! — вопила она от боли.

Нескольких взмахов длинных широких лап было довольно, чтобы муравейник, разрытый до основания, стал никчемным хламом.

Рысь бежала, бежала нелепыми прыжками — боком, криво и боком, вжав морду в плечи, сослепу натываясь на пни и кусты

Час спустя вернулись с рыбой скопы. Они даже не заподозрили, какая опасность угрожала гнездовью.

Не обратили они внимания и на то, что с того дня муравьев на сосне убавилось. Жалкая кучка работников копошилась у подножья дерева, и становилось их меньше и меньше: разбредались муравьи кто куда...

Скопы поныне по-прежнему летают на озера — парой и поодиночке. Снизившись к воде, они замирают в воздухе, опустив вниз ноги и хвост, трясутся на месте, чтобы с шумом, в брызгах, бухнуть в воду и подцепить добычу: мелкая рыба — то одной лапой, крупная — то сразу двумя.

ПЯТЫЙ ВОРОН

УЗКОМОРДЫЙ, в черном бархатисто-коротком мехе, сухопарый медведь топал, косолапа с боку на бок, и черный ворон сопровождал зверя в скитаниях, временами пропадая надолго и появляясь внезапно, едва ходок задерживался перехватить чего-нибудь съестного, прилечь на мох, откинув натруженные, разбитые усталостью ноги.

— Кру-кру, — картавил ворон. Закладывал отлогие круги, водил на лету клювом: что там скитальцу досталось, не удастся ли около него пожить?

Лес оборвался резко: равнина впереди, поля и луга.

Ворон отстал. Трусоват и не решился остаться без полога чащи.

— Кру-кру, — едва слышно доносился его голос, теряясь в шуме хвои, в плеске листьев.

За полями, за лугами чуть различимо проступали светлые квадраты зданий, кущи городских садов, и тонкие, как спички, дымили трубы: каждая своим дымом — белым, бурым, иссиня-черным, а одна и розовым. Стекались дымы в одно облако. Странно, что оно было темным, а, накрывая солнце, делалось желтоватым на просвет, и легкие, бегучие ложились от него тени.

Пройдя вдоль опушки, медведь выбрел к шоссе. Досиня натертый шинами, асфальт точил едкие запахи. Неслись машины, громяхая, обдавали кусты серой пылью, бензиновым перегаром.

Медведь выбрал момент и прыжками пересек дорогу. Под напором зверя раздался придорожный малинник, пропустил и сомкнулся.

Лес. Все тот же лес — на лужайках зола кострищ, битое стекло, консервные банки. Который день бродяга в пути, но кажется, заплутал он, кружит по одному месту.

Закатившийся в траву окурок, взрытый рубчатыми колесами мох... Было! Было! Чего не бывало, раз бродяга колесит, не зная покоя и постоянного пристанища, неделями подряд!

Встретилась бы куча хвороста, пенёк с дуплом, удобный развилок ветвей, песчаный склон оврага — везде были гнезда, норы, логовища. Лягушка, надрывая горло, хвалила собственную лужу; в свой дом, пятясь, волочил иголку муравей.

Места нет, свободного от постоя! Редкая былинка не дает приюта блошке, под редким листом не хоронится мотылек. Поделена, без него поделена земля...

Брел медведь, понунив голову. Попадал он в сырые хвойники на съеденье комарью, в обширных вырубках пекло его солнце, полоскали дожди и обсушивал шубу ветер.

Вышел раз к роще — передохнуть бы, дреме отдаться в теньке, — отвернул в сторону. Впервые столкнулся с таким, чтобы летом березы, теряя сухой, как пожаром опаленный лист, сквозили вершинами. Бывалый медведь был напуган и озадачен: раздирающей ноздри горечью дышала роща. Слух поймал звук самолета, и различил медведь — возит за собой самолет пухлое облако. Снижаясь, облако окутывает осины, березы, и сыплется с них лист.

Пуста роща. Не пропищитмышь во мху, не дрогнет ветка, приняв птаху-певунью. Ничьего следа на травах, на мхах. Шуршит, перекачивается сморщенный лист...

Устало волочил лапы медведь дальше, все дальше. Который по счету — не пятый ли ворон поджидал бездомного зверя на подходе к обширной котловине, что открылась вдруг с полевых холмов? Передавали его друг другу черные птицы, воздерживаясь забираться в чужие пределы и покидать собственный участок. Передавали сородич сородичу. Нам не повезло — возможно, ты будешь счастливее, и достанутся тебе объедки с медвежьего стола...

Пятый — много это, мало? Много, ведь редок в тайге черный ворон и обладает огромными угодьями. И мало, мало, раз давно скитается медведь в поисках такого места, где можно бродить без оглядки, где вода пахнет водой, земля — землей... Лапы разбиты, отощал медведь, однако без внимания не оставлено им ни единой прогалины!

Дно котловины сверкало открытой водой протоки, похожей на исполинскую серебряную подкову. Зеленел за протокой лесистый холм, с высоты столь необъятный, что щемило сердце.

Спустился вниз медведь и понурил голову. Протока вблизи оказалась много шире, чем он рассчитывал. От стоячей, подернутой ряской воды несет затхлостью, тленом. Теснятся в воде голые, точно скелеты, деревья. Без сучьев, без коры стоят тысячи деревьев, готовых упасть, и тысячи их уронены ветром: легли вкривь и вкось, переплетясь вершинами, создав высокие завалы.

— Кру-кру! — ободрял ворон и, лоснясь черным пером, кружил среди мытых дождями, каленых стужей, побелевших, как мертвая кость, стволов.

Медведь ступил в протоку. Шарахались стаи мальков, с испугу выскакивая из воды. Плеснула хвостом большая рыба, колыхнув ряску.

Лапы засасывало, они не находили опоры. Медведь, поднимая бурую тину, порой погружался в нее с головой. Осилит, все одолеет... Будет и у него свой угол на земле!

Первое, что он сделает, это на приметной елке или сосне поставит свою печать: мое! Взыбится во весь рост и высоко, так высоко, насколько сможет дотянуться, цапнет по коре лапой. Когти раздерут кору, в нос ударит запах смолы... Будет так... будет! Медвежий обычай — метить свой угол царапинами когтей на деревьях, и он не преминет его выполнить с радостью.

Солнце пекло, комары одолевали. Пер медведь напролом: где ползком, где вплавь продвигался метр за метром, оставляя в завалах на суках клочья шерсти. Валежина — скинул с пути, пенёк — трахнул лапой, и тот рассыпался на лету.

Ободранный, ступни лап в занозах, выволокся бродяга к сухому берегу. Ноги не держали, пал в траву, со шкуры текла бурая жижа.

Упоительно свежа травка, чист золотой от пыльцы цветущих сосен воздух. Клоня в сладкую дрему, шумит хвоя.

Он нашел свое, он пришел!

Покатался медведь по травке. Сон его не брал — так был доволен. Радость переполняла его, плескалась через край.

— У-у... — прогудело вдруг за соснами. Очень близко раздался рев, исторгнутый железной глоткой: — У-у-у!

Вскочив, медведь услышал, как плещут волны, плюется кипятком машина, как гремят ее железные суставы, и ринулся прочь, теряя голову от страха.

Запахавшись, он выбежал к воде. Была вода велика: в синей дымке чуть обозначался плоский противоположный берег. Далеко плыл по гладкой, как натянутый шелк, воде белый пароход, и до того было покойно на просторе вольном, что услышал зверь, как на палубе чиркнули спичкой.

Желанная земля была островом, одним из бесчисленных островов, возникших в зоне затопления после строительства гидростанции, когда многие-многие окрестные леса, болота, пашни и покосы ушли под воду и стала река подобием моря.

Плыл по белым облакам белый пароход, порождая в бору на холме отзывчивое эхо.

Приметная сосна с краю опушки плакала душистой смолой: ствол ее был разодран когтями на большой высоте. Примерился медведь взглядом и понял, что не дотянуться ему до этой высоты.

* * *

Увлеченно, с хрустом отдирав он дерн, и червяк полз — слизывал, коренья белели — выкусывал, жуя со смаком. Толстый, мягкий, шерсть на голове бурая, а в пахах отливает соломенной желтизной — медведь воплощал в себе благодущную деловитость.

Шорох в кустах прервал увлекательное занятие.

Чужак?

На остров заходили медведи, но весной, используя лед, а летом и осенью по низкой воде. Бурый не кичился правами единоличного владыки, хотя пришельцам без обиняков давал

понять, что лишь терпит посторонних. Был он росл, лапы по лопате; незванные гости убирались восвояси без напоминаний.

Низкое солнце било в глаза. Бурый привстал на задние лапы, подслеповато щурясь. Чужак также проворно вздыбился. Худой, черный, он мотал мордой, рычал и скалился.

Коротышка смеет угрожать? Бурый исполин взревел. Рычать и при этом мотать головой считается у медведей вызовом, какой нельзя оставить без последствий. Ревел бурый, брызгал слюной, как плевался. Пришелец уступал ему в росте, сутулился, на спине остро проступали лопатки. Эй, прочь!.. Прочь! Горячка схлынула, бурый запугивал чужака. Уходи... прочь, прочь, пока цел! И делал короткие шажки на задних лапах, казавшихся крохотными при такой громадной туше.

Преимущество за тем, кто бьет первым: черный выкинул переднюю лапу и нанес молниеносный рассекающий удар.

Бурый завыл от боли и навалился на обидчика. Рев, скрежет зубов... Кровь пятает траву, летит шерсть клочьями. Катался по лужайке рычащий мохнатый клубок, и то ли кусты трещали, то ли кости.

С отмени снялись чайки: стенали тревожно, в страхе заламывали крылья. Лосиха на лежке заводила ушами. Вскочила поспешно, мычаньем подозвала телят. Рыжие двойняшки жались, робея, к матери. Она погнала их в глубь острова. Очнулся среди камышей кабан. Нюхал воздух, щетинил загобок. Фыркнул: фу! фу! Ударился бежать, зачавкали в грязи копыта...

Рычащий клубок распался. У черного кровоточило прокушенное плечо, бурый хрипел и задыхался.

Тешился исполин надеждой, что нахал после полученной трепки уйдет, откуда пришел. Но идти бродяге бездомному было некуда. Некуда, некуда! Или победить ему, или пасть в схватке! Влесли когти, как ножи, и опять достали врага.

Бурый прежде всего полагался на силу и хватку челюстей. Облапив обидчика, мял его и тискал. Одна увертливость позволяла пока что черному избегать поражения. Держаться и ждать... Ждать, что враг допустит промах...

Лужайка, только что зеленая, представляла жуткое зрелище: кусты смяты, растоптаны, тут и там дерн вспорот, испятнан сгустками крови. Рычанье зверей, шум побоища слышны были и в удаленных закоулках острова.

Страх заразителен. К паническим стонам чаек присоединился плач чибисов с мокрого кочковатого луга. Еще лось, на этот раз бык-рогач мелькнул, убегая размашистой ино-

ходью к топкой непролазной низине. Истошный крик подняли дрозды. Выглянула из дупла и мигом скрылась обратно белка.

Черный, весь залитый кровью, слабел в могучих объятиях врага. Бурый в остервенении грыз его, кромсал клыками. Земля поползла у черного из-под ног. Медленно-медленно оседал он, заваливаясь навзничь. Издав торжествующий рев, бурый чуть-чуть ослабил хватку, подставив ослабевшему, казалось, ничем уже не опасному противнику свой сытый живот. Сжавшись в комок, черный вложил в последний рывок все свои истаявшие силы и полоснул по врагу когтями от груди до низа живота.

И все было кончено.

Не сразу выполз победитель из-под тяжело придавившей его туши. Так же ползком он приволокся к луже. Полакал и со стоном свалился в нее.

Надо было, как требовал обычай, закидать поверженного врага сучьями, мхом, кусками дерна, придавить валежинами — укрыть. Обязательно! Надо было вырыть в тени яму для себя: сырая земля остудит горячие раны, послужит целебной повязкой. Из ямы медведь или выходит, выздоровев, или остается в ней навсегда.

Себя черный ощущал как сплошную рану. Лужа потемнела от крови, а она все текла. С кровью уходила из тела жизнь. В голове роились странные видения, сменяя одно другое. Медведю представилась берлога, в которой он провел нынешнюю зиму и где ему сладко спалось в разгулявшиеся метели, тихие снегопады, оттепели и морозы.

Раз в лес заехал трактор. Зажжужала пила, брызгаясь опилками, чад отработанного бензина стлало по снегу.

— Веня, слышь? — удивленно вскричал пильщик. — Берлога!

— Ври-и! — откликнулся тракторист из кабины. В кабине было теплее.

— Я по ней шарахну... Хошь? На спор хошь, что берлога? Вон — пар идет... Ставь пол-литру на спор, я шарахну...

— Ври-и!

— Шарахну. Ну?

Не забыть, как мохнатая елка с громом упала на убежище медведя, как он, хватая в пасть сучья, грыз их, ревел от ужаса и бился, вырываясь из западни.

...Царапая дерн когтями, черный кое-как выполз из лужи. Подергивались лапы, точно зверь силился убежать. Тело сотрясали судороги, но все реже и реже. Наконец когти впились в дерн и замерли.

Между тем остров успокоился. На отмель вернулись чайки, по кочкам расселись чибисы. Ночью вода далеко отступила от берегов. Возникли новые бухты, заливы, топкая илистая перемычка соединила остров с обмелевшим мертвым лесом, который весь оказался вдруг на суше. По ней, как по мосту, первой устремилась лосиха с двойней телят, следом — кабан, потом еще лось, осторожно неся молодые, покрытые замшей рога.

Убывала вода до утра, пока не закрылись опять створы в далекой отсюда плотине станции. Взошло солнце...

— Кру-кру! — прокричал пятый ворон.

Черный остыл, и черная птица опустила на бездыханное тело.

— Кру-кру! — криком звала она сородичей пировать.

Обогретая, напитанная росой трава лужайки исподволь оправлялась. Если смятые, растоптанные былинки поникали, то взамен пробивались из земли другие. Они зеленели густо, стремясь вобрать в себя солнце и влагу, — не минет недели, как лужайка затянется свежей зеленью, она скроет шрамы и рубцы поединка.



ЗАГАДКИ ДЕДА- ВСЕВЕДА

ГДЕ СЛУЖАНКА БЕГЕМОТА,
ГДЕ РЫБКА-ЗАДИРА

Гуси-лебеди летели, в чисто поле залетели, в поле банюшку доспели. Воробей дрова колол, таракан баню топил, мышка водушку носила. Уж как парился я, напарился. Песню спел и на капустник сел. Съел три короба блинов, три костра пирогов, заулок рогулек, заход калачей, овин киселя, поваренку щей!

Такая нынче присказка, а сказки-бывальщины все впереди.

Ну-тка, угадали вы, что на черемухе весной платье бело, кружева да рюши, а к лету одни зеленые пуговицы остаются? Вторая загадка была о куликах-турухтанах. Ни одной птице с ни-

ми не сравниться. Куличихи у турухтанов скромницы, серенькие, затрапезные. Но кулики-петушки... Из модников модники! Будь их в стае хоть сто, хоть тысяча, у всех оперенье наособинку. У каждого кафтана свой цвет, свой узор и пятна-крапинки. Весной не встретить двух одинаково оперенных турухтанов. Понятно? Следующая бабушкина загадка-прибаутка касалась гриба сморчка: он в колпаке поярчатом весной показывается. Ранние грибы полезны, питательны, только требуют особого обращения. Прежде чем на сковороду класть, сморчки и строчки отварить надобно, воду вылить, дать ей с грибов стечь. Запомнили? Тогда прожарьте и кушайте на здоровье! Моя же загадка всех легче. У коров за зиму отрастают копыта. Перед выгоном на пастбище им проводят обрезку. Чем не маникюр, а?

Эх, утка, селезюшка, не летай за реку, не клуй песок, не тупи носок! Давай-ка кончим с прибаутками, за серьезные дела возьмемся, ведь лето на дворе раннее, от зорь росных, от медвяных кашек румяное!

Конца-краю нет летним престелям, да моим землякам опять легче нет, настало время заботное.

Дети, дети, без вас какое житье? С вами жизнь — сладкая каторга...

Кукушка вечно одна, гнезд не вьет, так и кукует. Кукуй, голубушка, кто тебе посочувствует, бездомнице? Никто...

Разве что зайчиха. У зайцев-беляков повадка: мать единожды покормит лопухих дитяток — и прощайте. Едва родившись, зайчонок уж круг-



Зайчонок. Мама бросила, чужие зайчихи малыша молоком кормили, пока подросток стал бегать на травку.

лая сирота. Кормят его посторонние зайчихи, как и его мамаша голубит чужих дитятюк, пробегая мимо кустика, где они затаились.

А осуждать ни кукушку, ни зайчиху не надо. Вовсе ни к чему наши-то мерки для жизни лесной. Когда кукушка яйца в чужие гнезда подбрасывает, то тем самым о будущих птенцах заботится. У кукушки аппетит — себя бы прокормить! Кукушкины дети едят того пуще — каждый за семерых! Заведи горюнья семейку — так себя и птенцов голодом заморит. Поневоле кукушата-то подкидыши, иными им не бывать! И то, что зайчиха, покормив, зайчат бросает, лопухим малышам на пользу. Почитай, одна у зайца от врагов оборона — длинные ноги, быстрый бег. Но зайчонку-то разве от лисы убежать? От наскока ястреба разве скрыться, — лапки коротки! Зато умеет он прятаться, затаиваться в траве лопушистой, под кустами, а главное — не пахнет. Та же лисица рядом шмыгнет, о зайкиной захоронке не догадается. Зайчиху лиса бы почуяла, да ведь зайчиха где: ищи ее свищи — давно удрала, зайчат бросив.

Не счесть уловов, секретов, к каким прибегают обитатели лесов, полей, рек и озер, чтобы обеспечить безопасность своему потомству. Чомга своих полосатых утят на спине возит, при опасности с ними ныряет.

У летучей мыши мышата-сосунки при себе на груди. Подрастут — определяют их в ясли, в большое дупло, где малышей кормят сообща. Медведица к медвежатам берет няньку-пестунью — старшую дочь из прошлогоднего выводка. Медвежата балуют, а нянька от мамыши оплеухи получает. Бывает, бывает!

А кабаниха поросят в грязную лужу привела купаться...

Кстати, вот вам загадка: зачем кабаны в грязи купаются?

И вторая: отчего утята в воде не тонут?

Ну-тка, ну-тка!

Повинюсь перед вами, мало я запас загадок. Внук у меня гостит Вася, человек городской. Сбил постреленок старика с панталыку. Чего ни скажу — он в ответ: «Знаю, знаю! В кино смотрел, по телевизору показывали».

Бабка надо мной подтрунивает:

— Внук весь в тебя, на любой вопрос всевед!

О чем я ни заговорю, мой Васенька на свое свернет:

— Бразилия, Африка — во, дедушка, где природа! Змея анаконда — это тебе не ужонок, крокодил — не ящерка!

Конечно, где уж нам уж, кого поставим из нашенских животных супротив слона либо бегемота? Опять же Вася семь классов кончил, в восьмой перешел — образование, не мое горе...

Зазывал я внука с собой, хотел ему деревеньку из дуплянок показать, столовую лосей за околицей — не пошел, не интересно ему.

Ладно хоть рыбалкой соблазнился! Но поймал окунька и заскучал.

— Вот на Амазонке, дедушка, там рыба-а... Одна пиранья чего стоит! Пиранья? Слыхом не слыхал.

— С чем ее едят, эту пиранью, внучек?

Вася засмеялся:

— Дедушка, не ее едят, она всех ест. Зубы — во, как пила! Пастухи при перегоне стада через речку нарочно вперед выпускают какую-нибудь скотину подохлее. Пираньи набросятся, пока ее лопают, живьем на части рвут, тем временем удастся перегнать скот на другой берег без потерь.

— Ужаси какие, внучек. Но у нас тож кое-что есть. Вот смотри-ка.

Сломил я прут, в воду сунул. Вдруг откуда ни возьмись — рыбешка. Хватъ за прут, и давай кусать.

Заморгал Вася, удивился:

— Что такое, дедушка?

— Загадка, внучек, моя потешка. Эге, опусти в реку палец, без руки останешься!

— Шутишь,— пробормотал Вася, однако на шаг от воды попятился.

— Тут еще что-о...— дальше разыгрываю его я.— Вот у нас кулик есть, так он зимой в Африке у бегемота гардеробщиком служит. Знаешь про такого?

— Не-а.

— «Не-а»? Говорю же тебе — служит, букашками жалованье получает.

— Дедушка, у бегемота что за гардероб? — вскричал Васенька.— Всего-то одна шкура, и та, как броня, толстая! Неужели ее моль бьет? Подумай, что ты говоришь?

— Куличок вдобавок, говорят, бегемоту зубы чистит.

— Дедушка,— взмолился Вася,— ведь у бегемота клыки полметра длиной. Тут не щетку, тут швабру надо, чтобы их чистить!

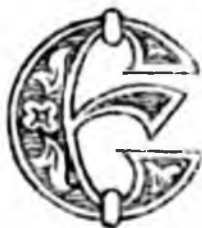
Ну а вы что скажете на мои загадки?

Пока что сказка вся, дальше рассказывать нельзя, нето в самом деле заврюсь.

Заврюсь, не заврюсь — напоследок от загадки не удержусь: какого цвета яйца кукушек? Ну-тка, мой вопрос — ваш ответ!



ИЮЛЬ-МАКУШКА ЛЕТА



ЛЬ зимой и летом одним цветом, а когда пушится, от верхней мутовки до нижних лап как шелками расшита: иглы светлые, мягкие и не колкие. На соснах, словно свечи, смолистые побеги...

Цветов сейчас — колокольчиками, зонтиками, шарами, одиночными венчиками, гроздьями! Взмыл над лугом разноряженный махаон, умолкла обессиленно пчела: где уж все цветы облететь, когда их сила несметная и один другого медовой.

Не найти в море трав даже былинки безымянной. То простодушны, то лукавы, то озорны, то наивны дошедшие до нас их народные названия.

«Поповская плешь» — что это? Одуванчик. Отцветет, пустит пушок на ветер и станет лысым. Ну а кто в деревне, как не поп, лысиной мог заноситься: «Это, миряне, у меня от учености и большого ума!» Посмеивался люд честной, взял да и наделил одуванчик едким для попов прозвищем.

Почему мяту «холодком» зовут, тоже прост секрет: после мяты во рту долго сохраняется ощущение свежести и прохлады.

«Бабочки», «братки», «родина» — не счесть народных названий полевых анютиных глазок! Братки — это ясно. Где один цветок на глаза попал, там и его братика ищи. И на мотыльков анютины глазки похожи. Но «родина»? По какой причине их породнили со столь высоким словом? Весной пахал мужик свою полоску — видел анютины глазки на меже. И летом они цветут, в разгар жатвы, и осенью вплоть до снега. Всегда анютины глазки были с мужиком на поле, соленым потом политом, том поле, с которого для крестьянина и начиналась Родина...

Поэтическими преданиями овеян июль. Нашептали их белые березы листвою шелковой, сотворил их робкий свет вечерней звезды и крик ночной птицы из тумана.

Бывало, в ночь на Купалу (с 6 на 7 июля) уходили волхвы — колдуны копать коренья, брать травы целебные. Царь и церковь жестоко преследовали травознаев. Когда-то под страхом смерти запрещался сбор трав. Свистели плети, палач в красной рубахе поигрывал топором на помосте... Отголосок давних суеверий, когда травам приписывалась злая, сверхъестественная сила, звучит в слове «отрава». Между тем многие лекарства готовят в аптеках на травах, открытых, возможно, теми холопами, кого на смерть секли кнутах на лобном месте.

Пришедшие из глубины веков обряды на Ивана Купалу проклинались как «сатанинские». Не уступал народ — горели костры в купальскую ночь, берега рек оглашались песнями, хороводами. Выкупался, через костер прыгнул — значит, прошел ты огонь и воду!

Примечательный обычай соблюдался под Вологдой. По преданию, на Архангельской дороге будто бы разбойничал Аника-воин с ватагой добрых молодцев. Наводил страху на купчишек, бар и богатеев удалой атаман. А похоронен Аника в семи верстах от города. Кто бы из мужиков ни шел, ни ехал

мимо, всяк долгом считал положить у могилы хворосту, хотя бы прутик малый. Потом ночью из собранного за год топлива зажигался огромный костер. Пили пиво, ели блины — справлял народ память об Анике, отблеск пламени заревом освещивал в окнах помещичьих усадеб...

Много костров горело по берегам рек, озер, где веселилась молодежь, но не меньше костров раскладывалось близ полей. Там по древнему обычаю песнями величали зреющие хлеба: «Чье жито лучше всех? Наше жито лучше из всех! Колосисто, ядренисто: ядро с ведро, колос с бревном!»

Пели, гуляли, бражничали — хоть денек, хоть одну ночьку праздничную вырвать у серых трудовых буден...

Июль славен сенокосом, зеленой страдой. В месяцесловах звался июль грозником и сенозарником. А в шутку — макушкой лета: «Всем лето пригоже, да макушка больно тяжела».

На луг выходили по свету: «Роса косу точит», «До солнца пройти три покоса — не находишься босо» (то есть жить будешь в достатке). Спешу убрать траву — нето прогадаешь: «В цвету трава — косить пора», «Перестоялась трава — не сено, а труха».

Спеши... спеши! Ну если дожди ударят? Вспомни: 11 июля — Самсон-сеногной. «На Самсона дождь — семь недель тож».

12 июля — Петровки: «Петр — Павел жару прибавил». Сенокос в разгаре и пора зябь подымать.

Тут и зажинки не за горами (21 июля).

Ячень усы выпустил. Ржи напостылело бить поклоны, нагрозила колосья увесистым зерном.

Трудно приходилось мужику в июле: находила работа на работу, не успеть всюду поспеть — хоть разорвись!

Жарой и росами знаменательна середина лета. 25 июля — «На Прокла поле от росы промокло», «Роса — добрая слеза, ею лес умывается, с ночью прощается».

Пухлые облака поминутно меняют очертания. Дрожит знойное марево, в воздухе напахивает гарью. Издали погремливает гром...

Парной дождик по лужку прочикал, и в лесу под кустиком —

Стоит Антошка
На одной ножке,
Его зовут,
Не откликнется.

В прятки с грибниками играют ранние рыжики, грузди. У подосиновиков алые шапки набекрень — мы всех нарядней! К сухим мхам по сосновым куртинам жмутся маслята: «Был



Дружно в рост идут белые грибы.

ребенком — пеленался в пеленки, стал стар-старичок — надел воротничок».

Белые грибы гуще пошли, в корзине им честь да место!

Усидишь ли дома? Все удобства в квартире: газ и ванна, голубое окно телевизора, распаханного в мир. Все равно не заменят они лужайку с ромашками, теплынь сосновой рощи, белые ее мхи, откуда заливаются, стрекочут кузнечики, где малина в спелых ягодах, точно в монистах...

Почему-то воспоминания о детстве деревенском легче всего накладываются на картины лета. Поля ржанные, васильки на меже, речка самая светлая — где вы? Спешешь по тропе и ловишь себя на мысли: «Может, эта стежка-дорожка вновь выведет в желанную страну детства?» С каким нетерпением покинул ее, с такой же тоской ищешь ее теперь, прекрасно сознавая, что время безвозвратно...

Солнце распалилось. Иволги свищут. Сомлевший от зноя лес в истоме сонной, запахи спелого хлеба текут с широких полей.

А коль рожь на серп просится, порхнул с березы желтый листок, то июль уступает перед августом.

Август... Скоро август — бон и вереск зацвел. Закрывается еще одна глава в книге природы, повторяющаяся из года в год и всегда неповторимая.

САМОЕ-САМОЕ



Зной — в 1954 году в Никольске 10 июля термометр в тени показал 36°!

Снег... Как? Неужели снег в июле? Летописец отметил в 1682 году: в Великом Устюге 22 июля выпал снег «с лишком 7 вершков», то есть глубиной более тридцати сантиметров.

В 1364, в 1366 годах... в 1430, в 1431 годах... зной, сушь, пожары в лесах и болотах, неурожай, голод.

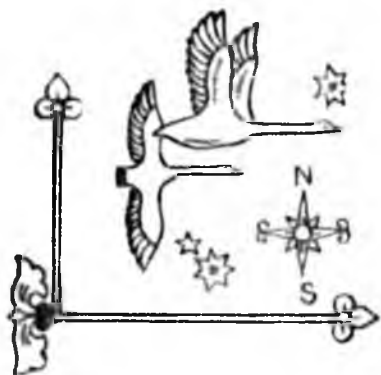
1972 год также запомнится надолго: сушь и жара, установившись еще в мае, длились почти все лето. Ни капли дождя.

Земля трескалась, увядали хлеба и травы. Термометр с утра, как распалится солнце, показывал более 35° в тени...

К середине июля обычно поспевают черника, гонобобель, поленика. Но в 1921 засушливом году черника поспела 23 июня, лесная черная смородина — 1 июля (почти на месяц раньше, чем обычно). Наиболее ранний срок созревания малины — 1 июля 1947 года, самый поздний — 1 августа 1936 года, когда после засухи стали перепадать дожди.

Самая ранняя жатва хлебов, согласно летописи, была в 1484 году. Кончилась к 10 июля.

КТО И ГДЕ? КУДА И ОТКУДА?



МЕДВЕДЬ — зной переживает, где тень плотней. Охотно кормится сочными дудками дягиля, всевозможными ягодами. Все-таки пастух не дремлет: косялапый не давал зарок не трогать скота.

ЛОСЬ — хуже чем от мороза зимой, страдает от зноя, засилья комаров и слепней. Забивается в такие непролазные кусты, где, кажется, комар обломает крылья. Кормится, когда спадет жара, в зарослях иван-чая, в осинниках. Молодые деревца пригибает и дерет кору, обкусывает сучья, пропуская стволы между передних ног.

БАРСУК — душно ему в норах, почти не пользуется ими, бродяжит где попало в лесах.

ВАЯЦ-БЕЛЯК — принялся белую шубку растить: на каждый летний волосок появляется десять белых, шелковистых. Понятно, в серой шерсти они пока незаметны. Долга песня до зимы...

ТЕТЕРЕВ — с утра выводки посещают ягодники, в полдень отдыхают, после перерыва часов с трех-четырех вновь кормятся в черничниках, обирают с травы насекомых. Тетерки завошенные перья меня-

ют на ходу: недосуг заниматься туалетом!

КУЛИК-СОРОКА — первым обновляет перелетные пути. В конце июля на берега и отмели больших рек подваливают стаи с Севера.

ЧИБИС — табунится в стаи по лугам. Среди лета у него к зимовке сборы.

ЯСТРЕВ - ПЕРЕПЕЛЯТНИК — на крыльях от темна до темна. Воспитание каждого выводка перепелятников обходится лесу в 600—700 птичек. Правда, эти маленькие ястреба сами не застрахованы, что не попадут кому-нибудь на обед — ночью филину, кунице, а днем и белка не прочь нанести визит к ястребам в гнезде.

КОРШУН — высоко и неприступно гнездо на дереве. Непременно в нем отыщется то тряпка, то ключья бумага. Известное дело, барахольщик он, черный коршун! Птенцов двое или трое. Вылупились из яиц в мае и не торопятся покидать родительский кров. Услышат голос папаша, похожий издали на ржанье жеребенка, и, разинув клювы, тянут шею: что достанется поест. Если поблизости город, то отбросы со свалки, если река рядом, то снулая рыба. А бывает, что и мыши, лягушки...

КРАПИВНИК — спохватился! Лету середка, а птенцы не выведены. Чем занимался, спрашивается? Гнезда яиц. Целых пять, или семь, или девять. Старался подружке угодить. На низких пушистых елочках гнезда. Под корневищами деревьев. В хворосте и грудях бурелома. Которое же крапивничихе понравится? То, куда она станет перышки носить!

СНЕГИРИ — у кого из взрослых красивые, у кого светло-бурые грудки, но все в черных шапочках.

А птенцы-снегирьки оставили гнездо без шапок — видно, торопились. Ничего, поокрепнут, подрастут — получат по шапке!

ЛИНЬ — подлинно лентяй. Где живет, там и мечет икру, а все равно растянул нерест до половины июля. Воду предпочитает спокойную, прогретую солнцем, с обилием трав, водорослей. Личин Рыбинского моря обитает в затопленных лесах.

ГОЛАВЛЬ — любознателен. Что ни плынет поверху, хоть щепка, ткнет

носом — не съедобное ли? Невзначай кузнечик стрекнет в воду — и пропал.

ЖЕРЕХ — вечно в боях. Как конь, выскакивает из воды, хлещет плащом широким хвостом, глушит мелкую рыбешку.

ЯЩЕРИЦА — в засуху зарывается под корни деревьев, пни, в прошлогодние листья и оцепеневаает.

МУРАВЬИ — роятся — в муравейниках столпотворение! После роевые самки отгрызают себе крылья и закладывают новые гнезда.

Мой край родной

ПЛАВУЧИЕ ОСТРОВА

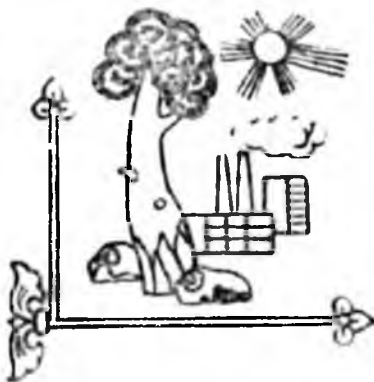
Чаячий крик над волной, голубые дали, следы кабанов на сыром песке... Стынут в зеркале вод облака. Словно развалины крепостей, рисуются острова затопленных колоколен.

Да, где суда плывут, некогда была суша. Чиркали камни по лемеху, прокладывая в поле борозду; перекликались по дворам петухи; стада паслись, и колос наливал зерно.

Суша в зоне затопления после пуска Рыбинской ГЭС уцелела незначительными кусками.

Бесцельно было бы наносить их на карту: чуть ли не ежедневно изменяются очертания островов, возникают новые бухты, песчаные косы. Если вода прибывает, острова погружаются в пучину, кроме разве самых возвышенных мест. Мелеет Рыбинское море — появляются целые архипелаги островов, лабиринт проток. На иные острова доступ преграждают мелководья, завалы затопленного, сгнившего на корню леса. Есть острова, куда ступить вряд ли отважишься...

После подъема воды плотной на дне, кроме лесов, пашен, лугов, очутились также торфяные болота. Время от времени они всплывают на поверхность с перевитой корнями трав почвой, моховыми кочками, деревьями и иногда превращаются в блуждающие острова. Не чудо ли — плывет суша по воле ветра, в хвое на макушке ели белка сидит, как матрос на мачте, и лось вышагивает, точно боцман по палубе!



В большинстве своем плавучие острова, достигавшие в прошлом громадных размеров, размыты волнами. Часть их, однако, сохранилась. Покрытые камышом, мхами, болотным разнотравьем, кустами, зеленеют они привольно — не заподозришь, что под ними вода.

Неповторимы в Рыбинском море и не плавучие, а, так сказать, земные острова. Взяť хотя бы остров Ваганиху, где из года в год в сосновом бору поселяются цапли. Гнезда высоко, на вершинах деревьев. Тесно стоят сосны, густо лепятся птичьи постройки из стеблей камыша, сухих прутьев. Всего здесь сотни гнезд, в каждом по 4—5 птенцов.

Странное впечатление производит цапля — голенастая, длинношеяя, с легкомысленными косичками и острым длинным клювом, — когда опу-



Серая цапля.

скается на сосну, нетерпеливо болтая ногами. Невобразимый гам поднимают птицы, если кто-нибудь приближается к их колонии: шумные взмахи крыльев, гортанные вопли, кваканье, дробь костяных клювов.

Колония серых цапель на Ваганихе уникальна уже тем, что является одной из самых северных в нашей стране. Пуглива, дика голенастая птица. Между тем поселение расположено буквально на пороге большого города — по прямой не более чем в десяти километрах. С окраины бора открывается панорама металлургических и химических предприятий Череповца, жилых зданий в зелени бульваров.

В том, что пугливые птицы поселились рядом с человеком, видится предзнаменование, исполненное большого смысла: природа вручает себя человеку. Нерасторжимы они — природа и человек, вооруженный всем могуществом современной индустрии.

ПЫЛЬ

НАПЛЫВУТ ли чередой облака, до перламутрового сияния раскаленные зноем, налетит ли чайка из приречной долины — похоже, холмы их сдерживают: так сини они, так высоки. Торопливо загребает чайка косыми крыльями, словно карабкаясь в отвесную крутизну. Облака грудятся кучно, один по одному переваливают через холмы, подталкивая друг друга. Преодолена высота, и облегченно растекаются облака, отдыхает чайка, неподвижно распластавшись, парит белая среди зелени...

Огражденный холмами, покоен воздух, густ и сочен, напоенный запахами цветущей ржи, тесного разнотравья. Донник, луговая герань, шиповник, гвоздика, зверобой и еще, еще какие-то белые, розовые, лиловые, золотистые цветы. Всего много и все поет: в единый хор сливается и треск кузнечиков, и жуужжанье пчел, и птичий пересвист.

Поющие дни!

Зачин принадлежит жаворонку. Ранней ранью с песней отрывается он от земли и несет песню высоко, выше холмов: бери меня, небо, я твой! Маленькая птица опускается наземь не раньше, чем кончится песня.

Она первой ловит луч солнца на грудь. Потом уж вспыхнут окна изб на холмах, потом уже перелески окунут листовые вершины в красно-оранжевый огонь и хлынет поток света и жара в сизо-синие хлеба, в травы, мохнатые от цветов, тяжелые от росы.

Распечется зной, затрещат кузнечики, и смолкнет жаворонок, нырнув в хлеба — перевести дух и выкупаться.

Роса не просохла: клочка травы достаточно, чтобы принять душ. И река близко. И лужи есть, налитые дождем. Но

жаворонок предпочитает землю: купается в бороздах, на тропках, посыпая себя пылью поверх головы...

Иду межою сквозь рожь, и везде по ней лунки, пыльные ямки. Почему-то стараюсь не наступить на них, перешагиваю. Кто знает, может, прав жаворонок, и земля чиста — чище неба, чище воды, чище росы утренней!

КУКУШКИ

ВЗЯЛСЯ найти кукушку. Не в бору, истомленном зноем, да на березовых полянах, не вдоль ручья среди черемух — ищу ее в луговом раздолье, пестром разнотравье, где воздух меда слаще, где что и птиц, то чибис и коростель-дергач. Кукушка мне нужна особенная: увидеть бы ее, пойму, наверное... Пойму, чем же подобные существа берут, и раз навсегда, быть может, избавлюсь от доверчивости ненужной, той простоты, про которую говорят, что она хуже воровства. И на душе полегчает, буду на мир смотреть веселей: э, нас не проведешь... Видали мы виды!

Из кустов мне в уши:

— Ку-ку, ку-ку.

Мимо иду.

Издали, от залесья, вновь:

— Ку-ку, ку-ку...

Окликает: ну, обернись же, обрати внимание!

Обернулся. Вон она, рябая, жметя к голому суку на посохшей лесине, вздернула хвост и кричит:

— Ку-ку!

Что эта кукушка, всех за ней провинностей — гнезд не вьет, птичья мелкота воспитывает ее сирот-подкидышей! Коварней, злей есть кукушки. Втираются они в доверие, то бывают ласковы, обходительны, такая сердечная приязнь, что готов с ними последним поделиться, кусок хлеба не съешь — им отдашь. Но приходит запоздалое прозрение: боже мой, что же это такое? Друг-то хуже врага: поганыт твой дом, обобрал тебя, разорил — так что свет не мил! Кому после этого верить?

Есть и такие кукушечки, возле нас отираются, поверьте уж на слово...

Низина. Бело кругом от серебристой пушицы. Стебли лабазника по плечо, кремовые цветы собраны кистью. Запах — был бы пчелой, сюда и летал.

Поднимаюсь выше на ровную луговину. Трава густа, скрыты в ней мшистые кочки.

Внимание! Здесь должны быть гнезда-землянки шмелей, здесь, возле них, и отираются шмели-кукушки, которых я взялся сегодня найти — хоть одну. Поймаю, погляжу, как она запищит...

Тело кукушки-шмеля в плотном панцире — толстокожие они существа! При их повадках и характере это очень даже кстати — иметь панцирь попрочней. Затем длинное жало — необходимая вещь: оружие, чтобы колоть исподтишка, но насмерть жалить хозяев травяных домиков, работяг-шмелей!

Проникла к ним в домик кукушка — смерть семье. Первой погибель примет глава ее — матка. Не заколет кукушка — того хуже шмелихе: будет тосковать, хиреть и зачахнет заживо.

Удивительно, почему шмели не распознают вовремя чужака? Понимаю: одинаковы слюдяные крылья, богато украшенные позументом шубы. Неотличимы между собой работница-пчела и кукушка, но все же... Присмотрелись бы, что ли! Уже то, что на задних ножках у кукушек нет корзин, куда складывается с цветов пыльца — не собирают лодыри-нахлебницы нектара — должно бы как-то настораживать шмелей.

Не настораживает, и все тут. Разве одни мы задним умом крепки?

Влезла в домик кукушка. Ластится, перед всеми угодничает. Глядишь — ей уже служат работники, забыли матку. Кукушку они кормят медом, холят и нежат. Детву ее пестуют и нянчат. Матка строга, кукушка добра и ласкова — кто же предпочтительней простофилям? Впрочем, став в семье главой, кукушка заводит другие порядки. Что не по ней — шмелю-ослушнику жалом в бок! Жалом его, жалом в бок — длинным, ядовитым! Не перечь... не смей перечить!

Травы, травы густые. Не шагнуть, чтобы не согнать мотыльков, не уронить с листа нарядную букашку с отливающими металлом надкрыльями. О кузнечиках, мошкаре и пчелах молчу, столько жужжит их, стрекочет...

Где тут кукушки? Не узнать, не понять!

Кстати, вы хоть слышали ли об этих кукушках? А в жизни подобные попадались?

Нет? Ну, ваше счастье!

ТРАВКА-САМОЛОВКА

С ВИДУ ничего в ней такого. Трава и трава. Где вода, там и она. По тихим прудам, по зайленным старицам рек. Канава — сойдет и канава. Нет канавы — так в луже, в любой яме приживется, была бы вода.

Зеленеет травка стеблями нежно-нежно, прозрачно, хрупко и незащитно. Иногда нежный, тонкий стебель держит на себе цветок, а то и два. Собою цветы желтые, в бурую крапину, довольно крупные. Как распустят они летом золоченые губки — эй, пчела, поцелуемся! — так по пути ей или не по пути, привернет пчела. Видно, все мы такие: неловко не отозваться на улыбку, на ласку приветливую...

Сбоку цветка есть отросток. Приглашает пчелу радушно: сядь, отдохни, голубушка. Присаживается пчела. Отчего не отдохнуть? С утра раннего на крыльях — умаялась, месту рада. Губки цветка под тяжестью пчелы размыкаются, открывая доступ в его душистое, сладко пахнущее нутро. Пожужжит пчела, как поохает: опять работа, опять дела.. Да чего уж, на порог ступила — надо и в горницу идти. Ползет пчела внутрь, точится — стебель тонкий дрожит, шатается.

Выпадает ли ей на долю нектар? Возможно, да, а может быть, и нет. Досталось, не досталось сладкого угощения — жужжит пчела, задом пятится, вся-то желтой пылью испачканная. Отдохнула, не отдохнула пчела, а потрудиться потрудились, цветок опылила.

И снова пчела в путь, а вслед ей желтенький цветок покачивается, расточает сладкие льстивые улыбки: нас-то не забывая, еще прилетай, гостьюшка!

Все пока обыкновенно, не правда ли? Но что вы скажете, когда узнаете, что у этой сладкой улыбки нет ни листьев, ни корней — таких, какими мы их представляем? Вместо корней извиваются, в мутной воде в узелки вяжутся путанные нити: что ни узел, то пузырь — или зеленоватый и мелкий, или побольше, размером с горошину, и светлый, будто надутый воздухом.

Блестят пузырьки, переливаются, светят в застойную стоячую воду. Хрупкий стебель качает желтые цветы. Тиной пахнет, стрекоза дребезжит, глаза выпучив, и тают в знойной дымке дальние сосны, сморенные жарой.

Кулик, попискивая, сам с собой разговаривая, вдоль лужи шагает на долгих ножках-ходулях. В теплой грязи кулик роется: где букашку склонет, где сладкий корешок, а тут...

Тут прельстился сверкающим пузырьком. И второй пузырек проглотил.

Будет, ну будет тебе — цветок утопишь! Не утопит. Пузыри даны желтому цветку вовсе не для того, чтобы на плаву держаться. Иное у них назначение.

Представьте, в каждом пузырьке есть дверь, которая растворяется при малейшем к ней прикосновении. Пожалуйста, проходите, милости просим! Не стесняйтесь! Но кто угодит в пузырек, тот и пропал. Дверка хлоп — назад ход закрыт. Нет ходу назад ни водяной блошке-дафнии, ни рачку-циклопу. О стены бейся, в дверь колоти — нет ходу, нет! Рачку смерть, блошке погибель, только бы нарядный цветок золоченые губки распускал, пчелам лъстиво улыбался!

Вот она какая — пузырчатка, травка-самоловка. Отнюдь она не редка. Местами по заводям пузырчаток видимо-невидимо. Где и малькам, рыбьей молодежи плавать? Белый свет рыбкам застят, всю живность поедают улыбчивые самоловки.

Ветер травку клонит, волны бьют. Бьют волны, ветер травку носит по заводам...

РАДОСТЬ

ГРОЗА еще огрызалась, отвесно падали последние самые крупные капли дождя, когда выглянуло солнце. Туча на глазах из чугуно-черной давящей громады обратилась во что-то мутное, раздерганное в клочья и обессилела. Гром смирился, не слепили больше молнии.

Перед избами, глянь, беспечно носится босоногая детвора: рада лужам, вопит и скачет. На провода выпорхнули воробы — перышки помыть, что ли? Деревенские воробы давно загадывали о дожде, купаясь в пыли на дорогах. Верная примета к смене погоды, если птицы лезут в пыль, и до чего долго она не сбывалась: неделю за неделей томил зной.

Сбылось наконец-то! И как зазеленела освеженная грозой трава, как заблагоухали цветы, и вся земля в облегчении задышала, будто не дождя, будто живой воды ей досталось — на каждую пядь по ведру.

А воробы трещат, пар от них валит — рады, рады сорванцы, что столько добра наворожили!

Дождь перешелся. Через клеверное поле я спустился к Кубене.

Вечерело. Выкликали на камнях кулики, ивы с прополосканных блестящих листьев струили избыток влаги, река ды-



Белые кувшинки.

милась прозрачным туманом, и кипел Якшинский омут. Он именно кипел, кипел бесчисленными всплесками: играла рыба. Верхоплавки, сорожонки и прочая мелюзга — куда бы ни шло: выпадет вечер погожий, они готовы пускать по воде круги. Так нет, в том и дело, что увальни язи, голавли-лобачи резвились прямо до упаду. То сверкнет широкий бок в серебряной насечке чешуи, то вспорет гладь омута багряный плавник, то увесистый рыбий хвост шлепнет гулко, или взбурлит вдруг крутой бурун и рассыплется радужными искрами. Ну и картина, дух захватывает! Даже лещи, покидая сонные глубины омута, ложились плашмя, истомно чмокали отверстыми ртами, тянули их как для поцелуя...

Рада рыба, больше всех рада, шумит и скачет, что пекучий зной, густая жаранынче разрешились долгожданным дождем.

Так бы мне и думалось, когда бы в тихой заводи не увидел кувшинки.

Я поразился. Что это — вечер, а белые лилии не спят? На ночь цветы складываются зубец к зубцу в тугие шары и уходят под воду, увлекаемые стеблями. Перед дождем то же самое — прячутся в воду, под собственные листья, широкие, точно подносы. Но эти... Эти вопреки всему распахнулись и белеют упругими зубцами ограждения; в сердцевинах желтые, яркие, как пылающий огонек, тычинки. Дождь поливал — не залил огоньки. Ночь нагрянет темная — все им гореть!

Я пригляделся: лилии никак не молоды. Краток их век, в зной, наверное, и того короче. Зеленые, с исподу лиловые, словно залакированные листья в бурых расплывах, как в ржавчине. Зубцы цветов изъедены какими-то насекомыми — скоро лепесткам блекнуть, скоро тухнуть желтым огонькам. И кто скажет, радовались ли жизни лилии, радуя всякого, кто проходил мимо заводи по зеленым, топким от родниковых вод берегам? В сушь, в жару что за радость цвести тем, для кого вода — родная стихия! Лилиям прохлады бы, им бы на свежей зыби качаться, как корабликам на белых парусах, — нет, длилось и длилось пустое безветрие, угнетающая жара. Дни и недели зной и пекло, укорачивающие и без того их недолгий век...

Напоследок, но взять свою долю радости! И не спрятались лилии от дождя, остались раскрытыми на ночь.

Понял я их, горькую пронзительную радость понял и долго-долго стоял у заводи, хотя донимал меня с заречного поля перепел:

— Спать пора! Спать пора!

ПОМЕТКА

Изнывая на парной духоте, фотографирую березу, пометку топором на стволе, дупло и его очередных постояльцев — мухоловок-пеструшек. Засидка моя рядом с березой. Хвоя соседней ели укрывает с головой. Да не от птичьих глаз! Главное, нельзя делать резких движений. Корчусь, согнувшись под елкой, и терплю: пот со лба не смахнуть, комара со щеки не согнать...

Все равно птички поначалу робели. Отваживались юркнуть в дупло, но, задав корм птенцам, выскакивали оттуда очертя голову, как выбрасываются из окна горящего дома.

Осмелели наконец. Думаю, потому они расхрабрились, что

дупло голосило, готовое треснуть от криков. Рот воронкой, на темени пушок, и вот птенчики надрываются, пищат: не получают сию минуту поесть — тут и умрут. На что я, посторонний, и то хотелось забросить все и ловить, хватать, что под руку попадет, а потом совать в дупло: нате! Нате, только угомонитесь!

Стали птички подлетать уверенней, чаще. Порознь и все вместе, враз. Их не двое, нет, четверо. Двое было бы в порядке вещей — родители. Но они вчетвером. Поверите ли, они вчетвером!

Серенькие, опрятные мухоловочки выглядели тоньше, стройнее черно-белых щеголей-мухоловов, кражистых, осанистых, наверное, оттого, что у них крупная голова и короткая шея. Делали кормильцы свою работу споро, без суеты. Носили зеленых гусениц, мошек, пауков, при этом успевая обменяться между собой короткими дружескими возгласами. В клюве ноша, но пискнет птичка птичке, уступая дорогу — пожалуйста, прошу вас! И та пискнет: пожалуйста, вы вперед! Один белобокий мухолов и песенку спел:

— Ти-ти, ти-ти... крути-крути!

Странно, однако, почему они вчетвером. Странно, странно...

Зной. Духота. Кора березы раскалилась и слепит. Солнца много, ветер треплет листья, и неподалеку рычат трактора, звенят пилы лесорубов. Доверчивость мухоловок мне уже в тягость. Она связывает и смущает. Дорого бы дал, чтобы не обмануть ее. Встать бы мне и уйти. Не могу выбрать подходящего момента: постоянно рядом всплескивают быстрые крылышки и без умолку голосит дупло.

Дупло известно мне не первый год. Они дороги мне — береза и в ней дупло.

Окрестный лес обжит мною: не одну ночь провел я в нем у костра, слушая уханье сов, встречая рассветы под шепот глухарей. Я бродил тропами, просеками летом и зимой, пил воду ручьев, брал грибы, охотился, а стал лес ближе все-таки благодаря березе с дуплом.

Открыто было дупло мною случайно, можно сказать — проходя. Устье дупла в складках коры и, пахнущее нутряной древесной сыростью, обращено чуть вверх, к сучьям. Не удивительно, что я дупла не замечал. Дело было весной. Ничем береза не выделялась. Разве что белый, в серебристой пудре ствол отливал едва уловимой розоватостью. У берез весной это бывает, у берез и осин перед тем, как им одеться листвою.

Наверное, сок от корней к сучьям и почкам движется под напором: нашлась бы ранка, царापина в коре — и сок

выцеживается наружу. Подсыхая, он краснеет. Стоят березы, сосны в красном налете до дождей.

Помню, шел я мимо березы и нечаянно, так уж привелось, увидел дупло. Оно было низко, его отверстие было оглажено... Ба, жилое дупло! Я заглянул: внутри сухой мох, впотьмах посверкивают глаза.

Кто там? Взял прут, постучал. Никакого результата.

Палку с земли поднял и ударил по стволу — снова ничего. Сорвал сухую метельчатую травинку и сунул.

— Ш-ш-ш,— зашипело в дупле, заворчал. И выскочил серый пушистый комочек.



Летяга.

Летяга... С места не сойти, летяга!

Мечталось в те дни хоть увидеть чудесницу-полетуху, а найти ее жилье... С чем сравнить подобное везенье?

Чудна полетуха: серая с непомерно большими глазищами, выпуклыми и словно бы слоеными, с плоским, точно из-под утюга тельцем, с пушистым плоским хвостом и меховыми перепонками по бокам. Повадки зверя того чудней: летяга впрямь летунья. Прянет откуда-либо с вершины дерева и, расправив перепонки, планирует по воздуху, как с крутой горочки летит стремглав. Слышал, она своих зверят на себе возит погулять. Подрастут — дает уроки, учит полетам. Говорят, у летяг два выводака в лето. Говорят... Да мало ли что говорят! Теперь-то я сам все увижу.

Летяга живо, гораздо проворней, чем белка, взобралась повыше, в сучья, села и с прижатым на спину хвостом прикинула к стволу. Загнутые острые коготки, пока она бежала по стволу, производили скрип, столь характерный, что он до сих пор у меня в ушах звучит. Как сейчас у меня перед глазами, как она смотрела вниз и горькую печаль выражала ее согбенная фигурка. Была она вся до того беззащитна, что я дал зарок понапрасну больше ее не тревожить.

Вот навещать буду. Буду, буду, грешно упустить редкую удачу!

Наведался я вскоре: на месте ли полетуха? Меня ожидали перемены. Шумела молодая листва, черемухи цвели, а в дупле у летяги появились малыши — очаровательная тройня.

Потом редкую неделю я не ходил к березе. Бывало, как ни крадешься к дуплу, хозяйка услышит — поди, застань ее врасплох! Заглянешь в сырые потемки — и так и сверкнул оттуда черные молнии, раздастся недовольное ворчанье. Наткнешься на диковатый взгляд — едва удержишься, чтобы не отпрянуть назад. Жгучий взгляд громадных и черных глаз завораживал и отталкивал одновременно. Глаза летяги словно бы были глазами самого леса, его ночей, глухих, без звезд и ветра ночей, которые вместе с трущобным лесом составляют родную летяге таинственную стихию. Всего на шагок, но ближе я стал к этим глухим ночам, к этому лесу из-за того только, что удалось заглянуть в глаза летяги.

Я слышал, летягу в полете сравнивают с ведьмой на помеле: мол, хвостик у ней, как помело. Не знаю, видел я полеты, но зверек в воздухе походил для меня больше всего на крошечный ковер-самолет из сказок.

Сидит летяга где-нибудь на сучке — свернут коврик, скатан в серый пушистый комочек. Оттолкнется летяга, полетит

бесшумно — развернулся коврик и несет, несет ее сквозь лес, мимо сосен и берез. Она и детенышей в дупле прикрывала сверху собою, как меховым ковриком.

Берег я, не беспокоил глазастого зверька. Возникли планы: надо поладить с ним, приучить к себе и со следующей весны взяться как следует за наблюдения. Спешить не буду, поспешность только испортит дело.

В конце июля подростки летяги покинули гнездо. Старая летяга осталась. Не ворчала, как раньше бывало, едва я заглядывал в березовый домик, и все шло к тому, что планы мои сбудутся.

Через лес той осенью стали прорубать трассу для газопровода. Просека не задела березу. Летяга тем не менее бросила дупло. Напуганные шумом работ, ушли лоси, исчезли медведи.

Дуплистая береза уцелела. Береза с краю широкой-широкой просеки, распахнувшей лес настезь, как не открывают его ни дороги, ни тропы.

Гнездились прошлым летом в дупле синицы. Позднее в стужу залетал ночевать дятел. Очередь, круглый год к дуплу очередь: кто последний, я за вами!

Искал я летягу. Не нашел. Нашел ее кладовку. Старую заброшенную кладовую — тоже в дупле, но дряхлом, щелявом: сережки ольх, березовые прутья с почками и просто почки. Летяга собирала запас, как сушат сухари в дорогу: может, понадобятся, может, и нет.

Куда она ушла? Трудно в лесу тем, кому без дупел не житье. Старые леса рубят и сводят, в молодых, естественно, дупла — редкость. Потому очередь к ним. Большая очередь...

Вот и все. Осталось мне встать и уйти.

Да не оттого ли один выводок птенцов выкармливают две пары птичек, что с дуплами трудно? Вполне вероятно, другой паре не нашлось жилья, и коротают мухоловки время, чтобы поселиться тотчас, как дупло опустеет.

На их месте я бы не занимал очередь. Прорубают через лес новую трассу, теперь для высоковольтной линии. Береза помечена. Срубят березу, раз оказалась точно в пересечении трассы электропередач с трассой газопровода. Я пришел сюда, чтобы снять березу на память. Пришел проститься с нею и ее жильцами.

Пометка топором на березе. Голосят в дупле птенцы, и нет-нет и пропоет рядом белобокий мухолов:

— Ти-ти, ти-ти... крути-крути!



Птенец серой неясыти, лесной совы. Весь в пуху малыш!

Ухожу. Сзади лязгают гусеницами тракторы, воют пилы, падают с грохотом деревья знакомого мне леса, а мне все слышится:

— Ти-ти... Крути-крути!

НИЧЕЙНАЯ

ГРОМАДИНА, выше ее не найти дерева. И ведь стара, вековуха. Так талант, что ли, такой ей дан, елке на бугре, чтобы с годами не считаясь, матереть, неизбывной силой полниться? Чудовищно толст ствол, но кора гладкая, на сучьях и в хвое ни клочка сивого патлатого мха.

У подножия всегда сухо, жестко, ни травинки, узлы корневищ притрушены палой, созревшей в тлен хвоей. Одна ель на бугре, ни с кем земными благами не делится: солнце —

себе, ветер — сколько лапы захватят, влага — опять своим корням до остатней капли. Появятся всходы юных елочек и зачахнут, прозябая. Напрасно крохи в одну-две мутовочки с мягкой детской хвоей тщатся уцепиться за материнские сучья, как за подол, — задушит их ель своей тенью. Горе и мука малым-то рядом с великими!

Ровесницы ели давно служили человеку, а эту избегал топор: на дрова и то не пригодна, без ладу суковата.

Как сейчас вижу бугор с темно-зеленой хвойной пирамидой, спуск к ручью и окрест — березняки, лощины с поженками, вдали сосновый бор, синий от знойного марева.

На сенокос бежишь — жара замучит, рубаха в поту, и под ноги не смотришь, отыскиваешь взглядом, когда лес расступится и мохнато затемнеет старая елка. Ужо в ручье напьюсь, враз полегчает.

Скот ищешь — наш черед — опять скорей к елке. Бугор с нею обладал, по крайней мере в нашем мнении, интересным свойством: сюда звуки как бы стекались с ближних и дальних мест. Кепку долой и слушаешь, не забрякают ли колокола: коров у нас отпускали без пастухов, зато на шею вешали колокола-ботала.

Частицей нашего бытия была елка. Не забыть ее. Ее и сосны за гумном, кудрявую березу у крыльца, на которой в дуплянке летом гнездилась горихвостка, таскавшая голубую скорлупу яиц подальше от березы, когда выводились птенцы. Помню... Помню каждый камушек на взгорке, молоко берез и дикий хмель, точно веревками оплетавший куст красной смородины, где висел берестяной ковшик — черпнуть из ручья и напиться.

Вода была студеная, точно из ледника, и по дну мелькали гольяны, рыбешки, в изобилии водившиеся по омутам. На темечке рыб выступали голубовато-белые бугорки, похожие на сложенную из жемчужин корону. Царевны... Все-все царевны!

Плавники рыбок находились в непрестанном движении. Думалось, что царевны из омутка, из звонкого ручья обмахиваются веерами, плавая, как танцуют. И уж боек, звонок был ручей — прыгал, скакал и взбивал рыхлую пену.

Позднее, наезжая в родные края, я ходил к елке и ручью, словно в гости к детству. Избы ветшали, гложухнул путь-волок на сенокосные угодья, одна ель, стоя в лесу выше всех, не поддавалась. Что ей, долгожительнице, какие-то тридцать-сорок лет? У деревьев, видно, свой отсчет времени в их загадочно-таинственной жизни.

Тот же был без трещин и морщин неохватный ствол. Та же

нестареющая в вороном налете хвои. Те же тесные пещерки, создаваемые нижними, склоненными долу сучьями — там под нависью непроницаемой хвои не раз приводилось пережидать дожди, спастись в тени от пекучего зноя. И ручей был прежний: звенел и плескался, заигрывал с водорослями и бежал, бежал, увлекая за собой царевен в жемчужных коронах, а они отмахивались — ступай, ступай, очень-то надо нам с тобой знаться!

Если возникало ощущение неприкаянности, горького отчуждения, когда я видел сгорбленные избы, заброшенную пашню, то ель древняя, дремучая и ручей роднили меня с тем, что было и навечно пребудет моим, моей землей.

На днях вновь привели дороги в отчие края. Деревню на месте я уже не застал. На лужке — бывало, бабушка к праздникам его голиком мела — краснели стайки сыроежек. Из развалин избы, заросших лопухами, порскнул заяц и, заложив уши, пошел, пошел стегать в кусты.

Поля стали шире: лучше сказать, образовалось единое поле, поскольку прежние перелески выкорчеваны, межи, клочки сенокосов распаханы. Паслось у деревенской околицы стадо. Коровы одна в одну — черно-пестрые, породистые. Пастух разъезжал в седле на чалой лошадке с транзистором через плечо. Неслось из транзистора под перебор гитарных струн:

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?

Бежали через лужок ребятишки. С удочками, значит на Городишну — до реки не будет и версты.

— Откуда вы? — спросил я.

— С центральной усадьбы.

Новое словечко, мы его не знали.

Ребятишки на минутку не задержались. Лишь задний мальчуган, всех младше, все оглядывался, держась за съезжавшую на нос панамку. Мы были другие — зайдет чужой человек, мы глазели, раскрыв рты. Но кому было в глуши появляться? Забредет нищая-побирушка — так целое событие. Цыгане для ночевки раскинутся табором — разговоров хватало на целый год! А эти? Не скажешь, что их мир ограничен околицей! Как-то они, повзрослев, распорядятся своим большим миром?

Пойду-ка пройдуся. Ради встреч приехал, чтобы с полями повидаться, с лесом, по которому бегал босиком на Городишну — счастливей меня не было!

А волок-то знакомый не узнать. Разворочена колея тракторами, крутые повороты спрямлены. Делянки, делянки — сплошная лесосека. Старые деревни уходят на слом, строятся усадьбы — без древесины разве обойдешься? В цене оно, бревно строевое.

Гниют кучи сучьев. Тени не найдешь, жарко, словно в бане. Дятлы стучат, как гвозди загоняют. Не слышно птичьих песен. Ладно, скоро елка — посижу в холодке, дух переведу. Цел ли берестяной ковш? Него обойдусь и так. Наслаждение — черпать воду горстями, пить и плескать в лицо.

Напьюсь, лягу под елку навзничь — смотреть, как плывут мимо облака. Посмотришь, посмотришь — и покажется, что облака стоят неподвижны и летит сама земля, сорвавшись в неудержимом беге. Куда ты мчишь, земля?

Ладно, лес рубят. Тени нет, птичьи песни умолкли... Ладно, ладно, раз нужно строевое бревно! Одно бы помнить надо: есть кое-что подороже бревна. То, чем дышим, чем мы живы. Лес его дарит — чистый воздух: с каждой ветки по глотку...

Действительно, душновато. Зной и духота. Я прибавлял, прибавлял шаг, и что ручей позади, понял, только очутившись на заросшем некошенном лугу: проскочил — и не заметил.

Ель на месте. Но что с нею? Поржавела, ссохлась. Один ствол прежний, одни сучья. Шишки — гроздьями, нависью шишки, словно медали на груди заслуженного ветерана. Ни единой иголки: осыпалась, полегла хвоя, пласт ее глубок, по колону.

Мешал бугор вывозке древесины, и его срыли. Излишек грунта бульдозер выгреб к елке. Глыбы глины заляслой, каменно твердой, заваливали поляну.

Ручей мешал — засыпали, сверху намолив сбитых железными скобами бревен. Умолк ручей, растекся в лужу. Вода — не вода, бурая жижа. Кто и рад ей, то лягушки.

Задохлась ель под завалами глины... Ни у кого из наших не поднялась бы на нее рука. Да где те, чье детство она пестовала, кому в дожди давала приют и оделяла тенью в пекучий зной? Была она нашей, стала ничейная.

За ручей не переживаю, он пробьется. Весенней водополью рано или поздно размоет насыпь, и потечет таежная быстринка, как текла веками. Еще повесят в кустах берестяной ковшик, крепко надеюсь. О старой ели горюю. Сущность леса не в том, чтобы давать древесину. Повторяю, есть кое-что подороже бревна. Погибла ель — обеднели мы все, с каждой ее хвойной лапы на глоток...

ЗАГАДКИ ДЕДА- ВСЕВЕДА

К ГЛУХОМУ СКРИПАЧУ
В ГОСТИ,
С ПОРОСЕНКОМ ПО ГРИБЫ



Уронила курочка перышко, выкатилось из перышка ядрышко, покатилося оно напрямик в наше село. Уж как у нас-то в селе дед на пороге обувается, внук канючит, с ним в лес про-сится:

— Дедо, а я?

— Представишь отгадки — возьму. На-ко, держи и не выр-ни первую задачку: «Зачем ди-кая свинья кабанят в грязь во-дила?»

— Дикая и есть... Неряха, известное дело!

— Не то, внук, не то. Каба-нам в луже вывозиться — все равно что со щеткой-мочалкой помыться. Любо-дорого шкуру продерут. Корочка грязи на ще-тинке насохла — это от мошек, комарья защита. Видал, какой

у свиней хвостик? С оводами, слепнями, прочими кровососами им мно-го не навоеуешь.

— Понял, дедушка! А я скажу, отчего утята не тонут: легонькие ведь, один пух.

— Прав, да наполовину. — я ему отвечаю. — Утка на дно по сто раз перья лошит, жиром из копчиковой железы мажет. Когда она крох-пу-ховиков голубит, под крылышко прячет, утята и греются, и о материн-ские перья жирком себя натирают. Пух в воде оттого не мокнет.

— Но рыбешку точно назову, которая на голый прут бросалась! — перебил Вася. — Это — бычок-подкаменщик. Он икру охраняет.

— Верно, не зря ты, дружок, на реке с ребятишками пропадаю.

— И тайну кукушкиных яиц, дедушка, я знаю. Кукушки больше чем ста разным птицам их подкладывают. Настолько приспособились — яйца несут разноцветные. Ага, ага! Несет кукушка крапчатые яйца — подки-дывает их камышовке, голубые — горихвостке. Рядом положи — не от-личишь, какое кукушкино, какое горихвосткино.

— Молодец! Еще бы молодец деду поведаль, что за птичка-куличок у нас на реке с берега на берег летает — востренький носок, крылья ко-сым парусом.

Рад Вася стараться, выпалил:

— Перевозчик! Знаю, знаю! — И осекся, заморгал. — Дедушка, неужели ты намекаешь, что перевозчик в Африке у бегемота гардеробщиком зимой работает? А, понял, понял! Перевозчик со шкуры бегемота козявок клоеет. А если бегемот пасть разинет, то в рот ему садится, в зубах у него ковыряет...

Я рассмеялся:

— Догадлив! Бери-ка, догадливый, корзину, а мне подай котомку — под новые загадки. Без даров лесных не останемся, поручусь тебе. Еще в школу попутно заглянем, где уроки без парт с темна до темна идут...

Сразу внук заскучал.

— Я на каникулах.

Там-то не знают каникул — под хвойными сводами чащи, в моем хозяйстве. Учителя добры, экзаменаторы, беда, строги — хищный клюв, клыки наголо. Не жди поблажки за помарки в лесной грамоте!

Вот и получается: опять моим соседям нелегко живется, постоянно в трудах, в заботах...

— Второгодники, дедушка, тоже бывают в той школе? — о своем думал мой Васенька.

— Как не быть, раз наука трудная! Что пить-есть, как врагов избегать и друзей узнавать — всему учись. Вот кого из маленьких школяров на второй год оставляют, пусть-ка разведает следопыты-знатоки и нам скажут. Это будет первым моим заданием.

Только мы с внуком в лес вошли, сразу вспугнули выводок рябчиков. Шумно разлетелись цыплята по деревьям. Сели — и пропали. Мастера они чужие глаза отводить! Один рябчонок лег в развилку ветвей — стал как мха клочок; другой шею вытянул — стал как сучок; третий в листе затаился, словно в омут зеленый провалился на самое доньишко; четвертого и пятого я и сам не разглядел...

Ловко, ловко, ставлю вам всем за прятки по пятерке!

В овраге глухом давно у меня лисья нора была замечена, и привел я туда внука. Все малыши потешные, все проказники, а лисятам у норы в баловстве и проказах равных нет.

Тихохонько мы подкрадывались. Различалось уж сквозь сучья, в прогалины между стволов деревьев, что лисята играют — только хвостики мелькают. Да попадись тут под каблук хворостина... Тресь!

— Тяв-тяв! — у норы лай.

Лисята мигом попрыгали в нору.

Жалы!

И жаль, что лисята не дали на себя посмотреть, и доволен я, что лисята — послушные ребята: получай, дружная пятерка, по пятерке за поведение!

Вася присел за куст, мне шепчет:

— Лиса... Лиса-то не спряталась!

— За нами, внучек, следит. Да не лиса это, а лисовин. Туго ему, внук: пятеро лисят на шее висят. Ага, сироты. Матка-лиса охоча была до кур. Забегала как-то в деревню и собакам на зубы попалась. Теперь папаша семью ведет.

Удивился Вася.

— Не может быть, дедушка!

Не может? Тогда нас рассудите вы, знатоки, ладно? Пусть будет вам новая задачка.

Третью загадку для вас Вася представил. Шли мы лугом, я не видел, а он чудную картину рассмотрел. Встретились, мол, на травинке



Рябчик — хохлатый лесной петушок.

кузнечик-скрипач с улиткой-тихоней. «С дороги!» — кузнечик глаза пучит, усами шевелит. «Нет, прыгун, ты мне уступи,— попросила улитка.— Уступи, больно тихо я ползаю». Кузнечик захорохорился: «Я прыгну, но ты не окривела бы!» — «Смотри, прыгун, ты не оглохни». И правда: скрипач прыг да об улитку споткнулся — оба с былинки свалились. Кузнечик на правое ухо оглох, улитка на левый глаз окривела...

Ай да внук, ай да Васенька, задал загадку, есть над чем голову поломать!

И мне не резон в долгу оставаться. Получайте затейку-потешку. Что за животинка-попрыгунья у нас живет? По лугу она скакала, языком мух, комаров, букашек ловила, ловила и ела, ела, ела, а все худела. Похудела — косточки торчат! Но окунула в лужу лапку — враз пополнела... Кто она такая? А? С вас спрос! Намек дам: всем попрыгунья-то известна, никак уж не диковина.

Ягод, грибов в лесу нынче... Что ни полянка, то скатерть-самобранка. Тут и земляника, и боровики — грибные полковники. По ельнику грузди грудками, рыжие лисички рассыпью.

Разбегаются глаза: что брать, что в корзину класть? Подскажите, пожалуйста, какой гриб лучше всех по питательности.

Скоро наши корзины стали располнехоньки. А мне все мало: условился с Васей, что дома я нашу бабушку разыграю.

Явились в избу. Антипьевна ахает, довольна, что столько мы добра нанесли.

Я на печь залез и давай стонать.



Земляника — ягода-цервинка, лесной подарок.

— Ох, бабка, ох, душа не на месте! Самолучшие-то грибы мы найти не могли. Дозволь завтра в лес поросенка взять. Дорогих грибов наберу тебе: их и принцам заморским не кажин день на стол подают.

— Ума решился! — Антипьевна руками всплескивает. — Где видано, где слыхано, чтобы с поросенком по грибы ходить?

Ну-ка, а что вы на это скажете? Есть ли такие грибы, что их с поросятами ищут?



АВГУСТ-ЖНИВЕНЬ

И

СПОДВОЛЬ спадает зной, устойчивей прохлады. После долгой сухомени отрадны дожди.

Закрой глаза, и одни запахи — грибной прели, подзавявшей травы из леса, сухих колосьев из полей — подскажут, какой месяц на дворе.

Обильны звездами ночи, по окоему вспыхивают зарницы, сполохи дальних гроз.

Рощи покойны, утихли птицы.

Густарем-густоедом прозывался встарь август. Работ густо: надо и косить, и жать, и пахать, и сеять. Огурцами, укропом натягивает с гряд. Завивает кочаны капуста — «шаровита, кудревата, на макушке плешь, на здоровье съешь!» Сидит репа, «сама клубочком, хвост под себя». Пасеки пчелами гудят. В садах ветви трещат от яблок. Действительно, «август-густоед», «щедрый разносол»! Но и «собериха-припасиха»: «У зимы рот велик». Поэтому главное — уборка.

Хлеб... Все помыслы мужика испокон веков начинались и кончались хлебом: «Хлеб на стол, так и стол — престол, а как хлеба ни куска, то и стол доска», «Без ума проколотишься, а без хлеба не проживешь», «Не красна изба углами, красна пирогами».

Пахота и сев велись в основном мужчинами. Тяжкое бремя жатвы несли женские плечи. Но женщинам, занятым уборкой урожая, и чести больше: «Николу борода, коню голова, пахарю коврижка, а жнеюшке пышка».

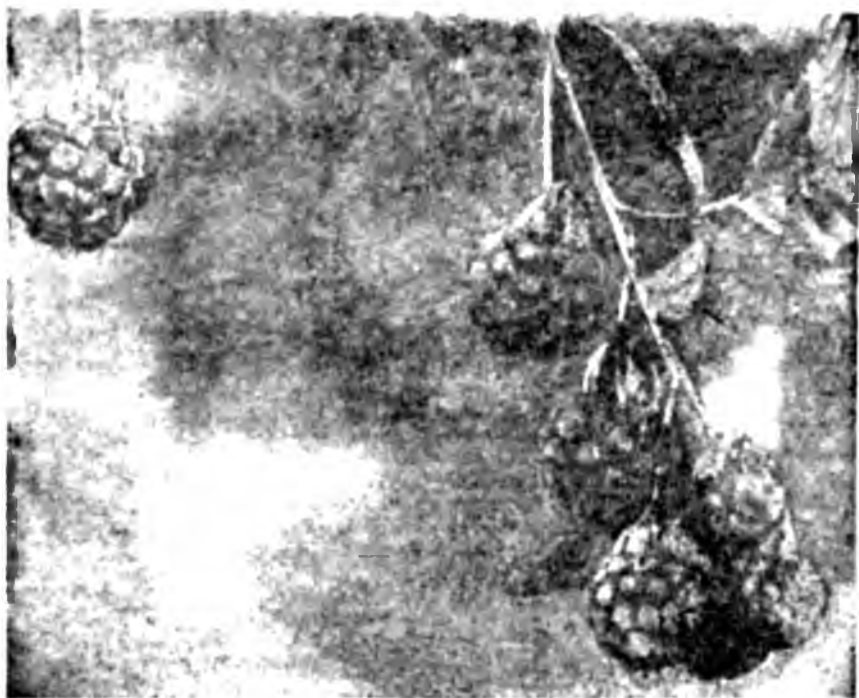
Красочными обрядами обставлялась жатва. По деревне проносили первый сноп, убранный лентами, изукрашенный цветами. В избе его ставили в почетный — красный угол, как гостя желанного, долгожданного. То же самое и последний сноп — и ему в красном углу место. При дожинках, завершении уборочной страды, оставлялась на полосе горсть колосьев, так называемая борода. Ее или завивали, словно венок, при этом опять же украшая лентами, или «заламывали», пригибая к земле и закапывая вместе с хлебом и солью. «Заломать бороду» означало вернуть земле истраченную на выращивание хлеба силу.

Ну а жнеи? Они ведь тоже потрудились. Поэтому на дожинках было принято кататься, кувыраться на полосе с приговором, с причетами: «Жнивка, жнивка, отдай мою силу в каждую жилку, в каждый суставец!» Лето кончается, осень начинается, и работы еще будет невпроворот: понадобятся бабам силы.

Август — межа лета и осени, «когда до обеда лето, после обеда осень». По древним месяцесловам, август открывают «Макриды — указчики осени»: «Смотри осень по Макридам: Макрида мокра — осень мокра», «На Макриду дождь — уродится рожь».

Но приметы приметами, а что делать и как поступать, доходи своим умом. Месяцесловы на этот счет выражались вполне определенно: «В поле не давай дуракам воли».

2 августа — «Илья Пророк два часа уволок, от дня убавил, ночи прибавил». Первые утренники, когда и «камень зябнет».



Поспевае́т малина — сначала садовая, лесная потом.

Обыкновенны грозы, дожди: «Пришел Илья, принес гнилья», так как мокнет, портится сжатый хлеб.

Ни дня не пропускали творцы народных календарей, чтобы оставить его безымянным, не дать ему образную характеристику.

12 августа — «Силантьев день». Лучший срок сева ржи: «Посеешь на Силу, хлеба соберешь силу».

14 августа — «Авдотья-малиновка». Теперь малина в лесу и самая сладкая и самая сочная — бери, не ленись! Одновременно этот день — проводы лета.

15 августа — «Степан-сеновал». Косят отаву — зеленую траву, отросшую на лугах после раннего покоса.

17 августа — снова Авдотья, в отличие от предыдущей — «сеногнойка». Дожди, дожди предосенние... Дождь слепой. Ему говорят: «Иди, куда тебя просят». А он пошел, где сено косят. Ему говорят: «Иди, куда тебя ждут». А он пошел, где жнут.

28 августа — осенины: «солнце засыпает», «ветер по лету стонет».

Конец августа. Бередя душу, кричат журавли на убранном гороховом поле. Вдруг взлетают они все разом, выстраиваются в вышине треугольником и, делая круги, курлыкают тоскливо. Это молодняк овладевает походным строем, готовится в отлет.

По лесным прогалинам, тенистым берегам рек еще горят пижмы, лиловеет короставник, синеют луговые васильки. А незабудки, ромашки, подмаренник, зверобой лес бросает охапками к ногам путника! Но по суходолам трава побурела, выметала семена.

Грибы ушли в лес — не то, что в перволетье, когда искать их приходилось по полянам, прогретым солнцем! Улыбчивы, образны народные прозвища грибов: «дарьины губы», «писанки», «говорушки». А груздь? Почему он груздь? Да грудами попадается. Масленик, этот с исполу желт, словно топленое масло. Рыжик — рыж. Белый — и сушеный бел, когда остальные грибы чернеют. Опята — «гулянки», подберезовик — «ба-трак», подосиновик — «красик». В августе богаты грибные высыпки: под елями, березами, в борах сосновых как скатерти самобранные расстелены в бликах солнца, в зеленых мхах, в ситечках пауков.

Ягод полно. Орехи поспевают...

Хлебосол август, тут ничего не прибавишь, не убавишь!

Лось новенькими рогами щеголяет. Ласточки на провода вылетают, словно устраивают смотрины. Ужата из яиц вылупились. Налим оживился, пескарей хватает. Осенние все приметы. Недаром, по присловью, сейчас «лето вприпрыжку бежит». Куда? О чем вопрос!

На лугах настлан лен вымокать под росами. Издали на зелени отчетливо выделяются серые дорожки, похожие на половики. По ним, неслышно ступая, и приходит осень.

САМОЕ - САМОЕ

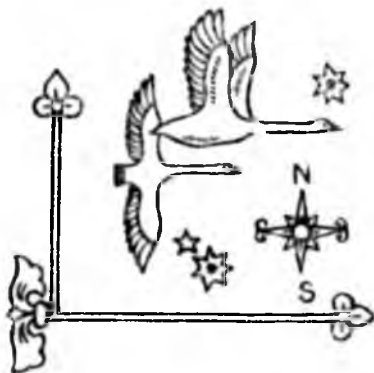


Едва ли не жарчайший для Вологды день 7 августа 1920 года: в тени было 35,2°!

Заморозки... Не рано ли? Между тем первые утренники с инеем на траве, как высчитали фенологи, типичны под Вологодой уже с середины месяца, в то время как в Никольске ранние заморозки, когда трава гремит, на сапоги сыплется иней, возможны уже со второй декады июля.

Самый обильный ливень в Вологде, вошедший в летопись природы, это дождь 24 августа 1946 года: за несколько часов была с лихвой превышена среднемесячная норма осадков!

КТО И ГДЕ ? КУДА И ОТКУДА ?



КУНИЦА — молодняк подрос, от взрослых не отличить. Много мышей, насекомых — и кунички на промысле семьями; мало корма — выводки рассеялись, молодые держатся в одиночку. Нужда приневолила, ничего не поделаешь...
ЛАСКА — не считается с сезонны-

ми переменами крошечный хищник, самый маленький в тайге. Попадают и самостоятельные зверьки ранних выводков, и слепые беспомощные детеныши в норках.

ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА — щенята проходят курс наук под руководством родителей. Прекрасно плавают, ныряют, поэтому ни озера, ни болотные топи еноткам не преграда. Ловят в обмелевших лужах рыбу, хватают утят-поздншей.

РЫСЬ — матка уроки дает своему потомству, как подкарауливать добычу из засады, как читать следы птиц и зверей, избегать опасностей. Сменили рысята пухлявые шубки на взрослый мех. Обучаются лесной науке.

БОБР — для него наступает хлопотная пора: трава теряет сочность, и все больше приходится питаться корой, прутьями ив, осин. Начина-

ется смена меха — летнего на зимний. Если засуха, то бобры покидают поселения на обмелевших ручьях.

БЕЛКА — лето на дворе, а она хвостик растит — для зимы! Линяет белка дважды в год; а хвостик ее только раз.

ЛЕТЯГА — продолжают учебные полеты у маленьких летяг, начатые в конце июля. Старая летяга показывает приемы. На землю спускается редко, планируя всегда к подножью дерева.

БУРУНДУК — опустело семейное дупло. И взрослые бурундуки и бурундучата одним заняты: набивают подземные хранилища съестным добром. Ягоды, семена, зерна и горох с поля — все им годится для кладовок.

МЫШЬ-МАЛЮТКА — у нее уже во второй, если не в третий раз мышата!

КРОТ — в случае засухи предпринимает переходы во влажные низины.

ОРЕЛ-БЕРКУТ — в гнезде по-прежнему орленок. Поспит, постоит и давай крыльями махать, так что

громадная, из толстенных сучьев постройка шатается и скрипит. Орлята учатся летать!

ФИЛИН — у него гнездо — сырая темная пещера на склоне оврага. Опостылело оно филинятам. Целое лето в нем просидели. И как? На пятках! Мозоли намаили. По весу птенчики уже со взрослыми сравнялись, одеты в пух-перо, научились подпархивать. Сидят на сосне: младший филинонок — на суку ниже, старший — выше.

БЕЛАЯ КУРОПАТКА — выводки ее встречаются как в брусничниках, на жнивье, по соседству с тетеревами, так и по сухим гривам болот на вырубках, по соседству с рябчиками, глухарями.

КРЯКВА — утята неохотно пользуются крыльями, при опасности затаиваются. Дни проводят в укромных старицах, тихих заводях, вечером вылетают на хлеба, в болотные ягодники на берега озер.

ЛИНЬ — обленился и поест лень. Худеет, снижением аппетита отмечает приближение осени.

ЯЗЬ — перемещается из прибрежной полосы, заливов в открытую часть водоемов.

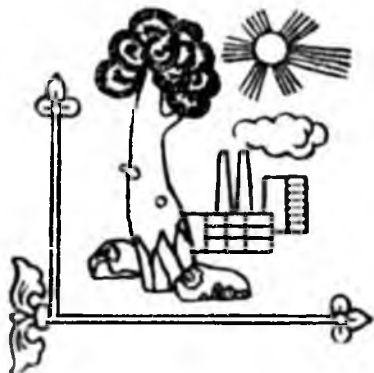
Мой край родной

ОПОКИ

Сухона... Что за река: бывает, вспать течет!

Двумя рукавами Сухона берет начало в Кубенском озере. Первый — Большой Пучкас, второй — собственно Сухона. Причем Б. Пучкас не менее полноводен и куда длинней. Слово не желая соседке покоряться, Б. Пучкас выкидывает коленца, прежде чем слиться с нею: вправо, влево бросится, петляет по мшистой низине — вот я тебя без воды оставлю, тихоня!

Для вологжан привычно, что



весной Сухона поворачивает вспять. Вскрытие Кубенского озера запаздывает сравнительно с паводком на верховых сухонских притоках — Леже в Вологде. Раньше набрав силу, эти реки подпирают Сухону, затем их воды вместе со льдом как бы переливаются по Сухоне в Кубенское. Ярятся Лежа и Вологда, кичливо затопив берега: как же, Сухону покорили! Правда, вспять река течет недолго, но в 1900 году Лежа с Вологдой не выпускали ее из Кубенского озера, держали как в плену, с 17 апреля по 9 мая.

В верховьях у тихони берега низменные, лягушачьи заводи... Однако уже скоро скрытница-притвора выказывает свой истинный нрав. Кроткая, медлительная Сухона перед селом Шуйским берет разбег. За Тотьмой, у Брусенца ее не узнать: бушует на перекатах — горному потоку ровня.

Не перечислить на Сухоне каменистых подводных гряд, мелей, порогов, опасных для судоходства песчаных кос: Скородум, Ржаник, Коровий брод, Кривляка, Мутовка, Вилы, Борона... Соленым потом политы, бурлацкими проклятиями выстланы речные берега.

Сухона являлась важнейшей транспортной артерией в XVI—XVII веках, когда Русь через Архангельск вела торговлю с зарубежными странами. Богатые шли караваны. Мешалась русская речь с английской, немецкой, голландской. Оглашались белые кручи берегов заунывной песней бурлаков, скрипом расшив и барок.

Много чего навидалась Сухона за века минувшие. Строптивая, своенвольная река! Прекрасная и величавая! Что ни поворот, новый вид. Редко-редко заметишь впереди серую деревеньку с белой колокольной, поля, отлого спускающиеся к воде, стожки сена на луговине, ухорошенные граблями, шоселок сплавщиков или лесорубов с неизменными телеантеннами над шиферными кровлями... Сплошь хвойники по обеим сторонам, да алебастровые кручи, да чайки на отмелях, пахнущих тиной, да под вечер зазывный огонек рыбацкого привала.

Вот и Опоки! Стиснутая отвесными кручами, река сузилась и бешено крутит воронки. Бывало, в щепы разносила она лады и струги. Заслышав шум Опок, бледнел бурлак, купец крестился: «Пронеси, господи!»

Слыли Опоки за «нечистое место»: мол, бесы тут бесились. Они, черти, нарочно в Сухону камней нашвыряли, русло эво какими загогулилами позагигали. Чур нас, чур, сила вражья! Три церкви было в Опоках: у начала переката, в середине и в конце порогов.

Вообще перекат невелик, длиной километра полтора. Зато камней — огрудков и одиноков, валунов! Зато течение!

Инженер И. Петрашень, обследовавший Сухону в 1907 году, упоминал, что для проводки судов даже в те времена созывались окрестные крестьяне: по 50—100 человек впрягались они в бурлацкие лямки, удерживая судно на фарватере, чтобы не разбилося о камни.

Красивейший уголок Сухоны — Опоки. Левый берег здесь вздымается на высоту около 80 метров. Правый — низкий, образует мыс, называемый Носком.

Буруны, стремительный бег речных струй, луговое разноцветье, полозатые — белое с охристым, синеватое с бурым — слои береговых откосов... Раздолье туристам в Опоках: хочешь — пей воду из минерального источника, хочешь — уди рыбу, уху на костре вари. А нет, то карабкайся на гору. Зовут эту гору в Опоках знаете как? Пуп земли, вот так!

ЗЯБЛИКИ-ПЕРВОКЛАССНИКИ

От полей наносило сытым запахом: поспели хлеба.

Все было будто ошеломлено щедростью скупого в эту пору солнца: зелено поднималась трава-отава на скошенных лугах, розовые острова цветущего кипрея источали медовый аромат.

По утрам пели птицы, забыв, что пошел август. Оживленно перекликались пеночки. В тенистом овраге разливался зяблик. От него учились петь всей стайкой молодые зябличата. Они были прилежны, подражали вовсю, но часто сбивались на трескучее чириканье. И робели, как малыши-первоклассники, когда те выводят в тетрадах первые буквы.

— Пинь! пинь-пинь! — подал команду зяблик.

Урок пения окончен. Ученики рассыпались по поляне. Шалили, гонялись друг за другом, затевали возню в воздухе.словно ребята на переменке!

А в сети паука между тем бабочкой бился первый желтый листок, на зеленых рябинах ярко краснели гроздья ягод...

ПАРОЛЬ

РАЗВЕ спорить костру с луной! Ноя подкладываю сучья, бездумно слежу за искрами, стремительно взымающими вверх, за языками пламени и временами нечаянно забываюсь. Даже снится мне что-то под скрип сверчков с ближней луговины, под лесные покойные шорохи...

Налетел, звенит комарик, будто озяб и хочет погреться у огня. В замшелых корневищах мышь пискнула.

Опрокидывает свой ковш Большая Медведица — звезд она выплеснула, одна другой крупней!

Ночь. Ветер не дохнет. Тени углубились, ярче, наполненной замерцали капли влаги на траве. Я начинаю различать, что росинки искрятся по-разному: с матовой мягкостью и резко, колюче, и все они меняют цвета — от радужно-белого до пронзительно-голубого и синего в прозелень. Потом замечаю сову, вижу, как птица, взмахивая беззвучно крыльями, бороздит пространство над вырубкой. Странное возникает во мне ощущение: усилие, еще немного, чуть-чуть — и увижу, как нарождаются в небе новые звезды. Новые-новые, никем не открытые миры!

Жаль, костер прогорает. Не радость — коротать ночь впотьмах.

Стоило пошевелиться — и сова пропала, испугавшись моей тени, качнувшейся на серых шершавых стволах елей. Смолк комарик, нырнув под резной лист папоротника.

Свет,— не могу без него,— отделяет меня от ночи. Не быть ей моею, не войти мне в нее свободно, непринужденно, как входит скрип сверчков, бесшумное паренье совы и тяжелая поступь кабана, пробирающегося по чащобе...

Вдруг раздается протяжный вой:

— Уа-а-а!

Волк? Да, волк подает голос, будто волчице предъявляет пароль.

На подходе к логовам, возвращаясь из поиска добычи к



Волчонок.

семье, волк непременно предупреждает о себе заранее. Ответ волчицы должен указать, куда ему держать путь. Кормятся волчата всякий раз на новом месте: на мху и траве, как на свежей скатерти. Так волчица заботится об опрятности и чистоте, а одновременно и о безопасности логова, чтобы не выдать его расположение обедками.

Осторожны серые звери. Их все избегают, и они сторонятся всех, внушая жителям лесов страх и отвращение. Никому не верят волки. Даже своим доверяются с оглядкой.

Я прождал около часа, пока откликнулась волчица волку. Долгонько же медлила, не веря безмолвию ночи!

— Уа-а-а... — слышалось издали.

Принят пароль, дан отзыв!

Вьются и улетают вверх искры. Пепел подергивает раскаленные угли. На сучьях то пляшет, то поникает, свертывается пламя, и островок света, где я бодрствую, суживается, теснимый темнотой. Нет мне туда, за грань света, доступа. Нет у меня пароля. И где его взять — у травы в росе, у елей лохматых или у следов кабана на тропе? И с чем бы я пришел в ночь, что ей принес бы? Одну только тревогу, раз лишь тень человека страшит все лесное пуще огня...

ЛУЧОК

ИВАН Прокофьевич вынимал из рюкзака пакеты, кульки, торжественным голосом провозглашал:

— Перец черный. Горохом. Крепость необычайная — слезы из глаз.

— Идет, — подхватывал Генка, самый младший в компании. — Без перца какая уха!

— Лавровый лист...

— Непременно!

— А лучок? — сказал дядя Боря. — Не вижу, Прокофьевич! Гена, а ты видишь?

Иван Прокофьевич засуетился, перекладывая с места на место пакеты. Перерыв рюкзак, он огорченно развел руками:

— Братцы-рыбаки, ваш меч — моя голова с плеч! Три котелка, два топора, ложки есть, все есть — луку нету.

— Ну уж, папа, — заканючил Генка. — А еще говоришь, что вечно со мной приключения. Без лука, ты подумай, разве уха?

Бабка Платонида хихикнула, наблюдая из темного уголка за сборами своих постояльцев:

— Вы сперва наловите рыбы-то, добытчики!

— Не будет клева, — расстроился Генка. — Это ж надо, лук забыть!

Рыболовы ушли, и не было их ровно три дня и три ночи. Река далеко? Да рядом! За деревенскими огородами. Шаг шагнуть — и омота, заливы, густо поросшие стрелолистом, хвощом и водяной гречихой. Из окна избы — жаркий ли полдень, вечер ли синий, туманный — видела бабка: белеет Генкина панاما то вместе, то поодаль от соломенных шляп Ивана Прокофьевича и дяди Бори.

Следить за рыбаками у Платониды появилась веская причина: с гряд старушки начал пропадать лук. Бог бы с ним, когда б брали по луковке, так ведь гнездами. По несколько гнезд враз.

— А еще в шляпах. Ровно порядочных, их пустила, — плакалась бабка на деревне. — Самовар поставила... Да я в собес нажалуюсь! Где это видано, чтобы одиноких пенсионерок обижать? Выведу я эту шайку-лейку на чистую воду, не посмотрю на ихние шляпы!

Удильщики, днюя и ночуя на реке, и на четвертые сутки не намеревались бросать рыбалку. Их привел к Платониде милиционер — с утра пораньше, ни свет ни заря.

— Уху варили? — приступил страж порядка к допросу.

— А то? — как-то чересчур горячо отозвался Генка.

Иван Прокофьевич с дядей Борей подавленно молчали.

— «Варили», — так и запишем, — подытожил милиционер, хотя перед ним на столе лежала лишь новенькая форменная фуражка. — С чем, интересуюсь, ушку готовили? С луком, с перцем, с лавровым листом?

— А то!

— Запишем: «С луком». Где вы, спрашивается, его брали?

— Гы-ы... гы-ы... — расплылась в ухмылке рожица у Генки. — Сорока на хвосте носила.

— Пишем: «Сорока», — повторил милиционер и покраснел. — Что вы мне очки втираете, граждане? Какая сорока? Откуда взялась сорока?

Иван Прокофьевич переглянулся с дядей Борей, оба они повеселели.

— Вестимо, из леса, товарищ сержант.

— Обыкновенная сорока: белые бока, длинный хвост.

— Да-а? — протянул милиционер.

Бабка Платонида первая смекнула, что попала в неловкое положение. Пролетела из своего угла:

— Может, самовар, мужики, поставить?

Проворно выскочила она из избы. Босые ноги протопали в сених, и на задворках скоро раздались крики: — Кыш-кыш! Я вам, проклятые!

Мимо окон пролетели, стрекоча, две сороки.

Милицционер, водрузив на голову фуражку, бледнел и краснел, бесцельно поправляя скрипучие ремни амуниции.

— Извиняюсь, конечно,— промолвил он наконец с натугой.— Действительно, клев сейчас на реке? Извиняюсь, конечно, я тоже предпочитаю удочку всем остальным снастям.

— Какое там — клев! — воскликнул Иван Прокофьевич.— Горе, не клев!

— Папа! — порывался Генка вставить хоть словечко.

Дядя Боря махнул рукой.

— О лещах, голавлях мечталось, но пробавлялись...

— Пескари же брали! — чуть не со слезами в голосе вскричал Генка. — И ерши. На голый крючок! Хотите знать, в ухе ерш — первая вещь.

Кажется, и вся история. Бабушку Платониду и впрямь обижали сороки. Но воровали ли они лук с гряд, еще вопрос! В луке, в корнях, завелись летом червячки. Сороки проводали об этом и дергали лук с гряд. Чтобы расклевать червячков без помах, осторожные птицы уносили луковицы подальше — на крыши изб, изгороди, на приречные камни.

— Ума у меня нет,— сокрушалась бабка Платонида на деревне.— Когда бы мне за своими грядами следить, я чужие шляпы сторожила!

ЧЕЛОБИТЬЕ

НА дне корзины перекатываются сыроежки, горсть лисичек да подосиновик красный — не иначе как со стыда, что умудрился попасться. Сплоховал! Других-то я не выглядел: такая нынче в лесу травища, что рядом на земле ничего не видеть.

Есть белые, есть осенние опята, но трава... Ах, полно, что трава? «Без счастья и по грибы не ходят», — в этом все дело!

Ветер бьется, несет по ветру сухие прутья, задетые желтизной листья, чуть он уймется, возьмет перерыв — слышно по сторонам синиц.

Из лесной сумрачности ощутимо напахивает по-осеннему стойкой сыростью. Об осени звенят синицы. Желтые листья зовут ее в ельники, влажные мхи, в серый ольшаник, где хмельно забродила неопавшая малина и не встретишь больше

вертких мухоловок, спозаранок, первыми отлетающих в теплые края.

Пауза. Только лист крадучись шуршит, только шмель жундит. Вдруг сухой, смягченный мхом треск заставил меня насторожиться и придержать шаг. Кто там за кустами, кто мхи топчет? Подумалось прежде всего на медведя: соседей-дачников медведь пугал на малине за ручьем. Или там кабан? Весной кабаны бегали к ферме, подкармливались силосом, теребили сено и солому с возов, оставленных на ночь во дворе. Сегодня кабаны лежки и следы их копыт постоянно встречаешь рядом с деревьями.

А-а, лось... Обычное дело!

Обычное, конечно, да в каком виде я лося застаю — хоть глазам не верь.

Опустившись передом на колени, великан, выставляя вверх узкий зад, подбирал что-то во мхах, в траве и жевал, пуская с губ тягучую слюну. Несомненно, выщипывал он какую-то мелочь и, широкогрудый, с рогами, как корона, являл собою зрелище нелепее некуда. Бородой возит, мордой тычется, выкатив жадно глаза, и хвостик у него дрожит вожаденно. Ну и ну, зрелище: словно бы король бежал с трона, чтобы на глазах придворных по полу ползать, рассыпанный горох собирать!

Усердно лось елозил, во мху коленками вязнул, чавкал и встряхивал ушами, прогоняя надоедливую мошкарку. Верь не верь, весь он здесь — борода, рога, как корона, из белой замши чулки и копыта востроносы, блестящи, точно модные туфли... Ей-ей, ничего не видит, не слышит — увлекся!

— Очнись,— промолвил я вполголоса.— Очнись ты, ваше рогачество. Изволь вспомнить: в поле волки, в лесу медведи и брось-ка ушами хлопать.

Услышал, вскочил лось. С места ударился вскачь — по лесу треск. Непутевая головушка, корону потеряешь!

С корзиной я не без труда продрался сквозь кусты. Интересно, перед чем лось кланялся, чему челом бил? Грибы, так и знал. Экий, право, пустяк, и поди ж ты: забыв осторожность, лось на коленях ползал, головой рисковал.

Нет тайны: любит лось грибы. Любить любит, да тяжело они ему даются. При его короткой шее, при ногах-ходулях до гриба-то как ему дотянуться? На колени приходится падать — и весь способ.

Беленьких лось нашел, по обедкам вижу, что боровиков канюхал...

Ладно, коли так, перейму его способ. Буду сыроежкам по клоны бить, подосиновикам низко кланяться, перед белыми на колени вставать. Годится разве с пустой корзиной домой возвращаться? Нечего, нечего на густую траву ссылаться, пустые все отговорки!

ПРОПУСКА

ТУЧА громадна и в глубине своей становится зловеще непроглядной. И гром гремит все грозней и ближе.

— Не было б града,— хмурится дядя Вася.— Ох, природа, одни убытки!

Мы стоим на задворках избы, курим и наблюдаем за пчелами, что суетятся у разноцветных новеньких ульев, спеша укрыться от непогоды.

— Сторожа́м сейчас запарка,— сказал я, намекая, что не впервой на пасеке, сведущ в ее порядках.

Но дядя Вася перебил:

— Х-хе... В аккурат нынче сторожа и несут службу спустя рукава! Весной они бдят, весной и осенью: чужую пчелу взащей выталкивают. Противится — так и бока намнут. Видал...

Я это видал: как улей, так своя охрана — преграждает жалами доступ в дом. И не только чужим пчелам, разохотившимся поживиться соседским медом,— на ульи нападают осы, ночные бабочки, муравьи. А мыши? Наконец, медведи?

— Сторожа — отчаянные смельчаки, неподкупный караул,— говорю я.

— Да уж — неподкупный! — ухмыляется дядя Вася.— Совсем наоборот. До взяток она падка, охрана. Х-ха, сухая ложка рот дерет! Дай на лапу — кого хошь в улей пропустят. Я-то зна-аю... — грохочет он и трясет указательным пальцем с желтым обкуренным ногтем. Колючие брови старика ершятся, на скулах, обтянутых сухой в багровых прожилках кожей, проступает пятнами румянец. — Насквозь каждого вижу, дядю Васю не обманешь. У нас ведь как? Кто прослышет добреньким, чистеньким — так и не прав, да прав: уваженье ему, почет, на собраниях первое слово. А на кого понесут... Без вины ты виноват! Еще подумать ничего не подумал, как телегу на тебя прокурору катят: «Васька Перегудов медом спекулирует». Того не считают, почем содержание пчелок обходится. Рамки, вощина — плати. На рынок вылез — за место, за весы, за фартук, за все плати! «Неподкупные...» Где их найдешь?



Шмель в поисках меда.

Дядя Вася размахнулся в сердцах — хотел швырнуть окурок, но раздумал. На пасеке нельзя без чистоты.

— Непременно жди града, — вздохнул он и, бормоча, потащился в избу. — Пчелки, говорят, тихое, говорят, занятие. Кабы! Каторга, чистое разорение, часу нет покоя...

Туча заняла полнеба. Молнии полосуют ее, похожие на хвостатые огненные плети. От раскатов грома жалобно позвякивают стекла окон.

Пасека гудит. Разогнавшись, как пули, пчелы в беспорядке валяются вниз, гулко ударяясь о прилетные доски. Кто там сторожа, кто работницы, прилетевшие с грузом домой, кто дежурные, взмахами крыльев постоянно проветривающие улей, — пойми в общей давке.

Однако нет-нет и у входа в улей возникают пробки: в него пропускают не всех, кто бы того хотел. Поминутно одну-двух, а то и разом по нескольку пчел теснят назад: чужие они, не из этого домика. Их бесцеремонно выдворяют прочь, сталкивают прямо в лопушистую траву.

Своих пчелы опознают по запаху. Запах — вот пропуск. Запах и мед. Своя, не своя — пчела может залетать в любой улей, если она с медом.

Что ж, все на пасеке путем, все ладом: работнице-трудяге открыты любые двери, но ленишься, не несешь меду — посиди-ка в грозу под лопухом!

Воробьи, копошившиеся в бурьяне, опрометью мызгнули к избе под крышу, и тотчас западали капли, свертываясь в дорожной пыли темными комочками, и зашумело по крыше, по листьям сада — хлынул дождь.

БОЛЬШИЕ БЕРЕЗЫ

Редкий день у амбаров, месте сборищ детворы, не скачиваются босоногие ватажки. Куда пойти? Шумят, спорят! Но разом устанавливается тишина, когда кто-нибудь скажет: «Кабы на Кошкину горку...» В устах ребятишек Кошкина горка звучала не менее заманчиво, чем Индия когда-то встарь в испанских да португальских тавернах. Мечта пламенная! Предел желаний.

Я в той грибово-ягодной Индии, похоже, бывал. Нашел это дальнее урочище, куда, уверен, кошку сметаной не заманишь.

Сосны, елки там застыт небо. Тускло, сыро под их пологом. Березы... Одиночные в засилье елок, белые в извечном хвойном сумраке, очень белые березы.

Направо пойти — белых грибов наломаешь; влево — ягодники. Черника, малина — есть не хочу.

Алым колпаком, кружевными панталонами хвастает мухомор, кичливо выставясь у муравьища, разрытого медведем. Боровик, загорелый крепыш, скромненько жмется в тени папоротников, под шляпку поджав толстую ножку.

На полянах пышно розовеют заросли иван-чая. Под грузом медовой пахучей ягоды гнет стебли малина. И воздух тягуч, сладок — хоть чай с ним пей, как с вареньем.

Кругом море — зеленое, живое. Рокот листвы звучит точно прибой. Если в синем море о берегах догадываешься по свету маяков, то в лесном море о близости его края узнаешь по крику петухов.

Не слышать петухов с Кошкиной горки... Да, собственно, при чем тут горка? Нет же никакой — ни кошкиной, ни мышьиной!

Откровенно скажу, для меня деревенские названия угодий таят свою особенную прелесть, прелесть открытий и узнаваний. Есть большая история: на уроках спрашивают о пирамидах Хеопса, битве при Грюнвальде, о короле Пипине Коротком. Есть школьная география: нужно уметь найти на карте мыс Желаний, показать путь Магеллана, помнить, кто открыл пролив между Азией и Америкой. В то же время каждая, пусть захудалая, свой век доживающая деревенька хранит единственную в мире, собственную историю. Она — в людской молве, в устных семейных преданиях. Есть в деревнях и своя география. Не хочу умалять увековеченные на карте мира великие имена, однако дорог мне и безвестный Митя, раз Митиным зовется поле за деревней, или Дуня — ее имя носит мостик через ручей. Ничто доброе не проходит бесследно, и находится место — кому на глобусе, кому в неписаной деревенской географии...

Носил я грибы, ягоды брал. Между тем сомнения не покидали: точно ли, что на Кошкиной горке бываю?

Помог дядя Федя, пожилой, неопределенного возраста инвалид на костылях. Ему дашь как сорок, так и все пятьдесят — из-за сутулости плеч и седины в клочковатой бороде. Лето дядя Федя проводил на крыльце, плел корзины, вдумчиво дымил табаком-самосадам, по причине яркой крепости которого мерли мухи, и зорко надзирал за мальчишками — повадились огольцы таскать с гряд репу.

— Кошкина горка, — тихо ответил дядя Федя. — Туда ходишь, точно говорю.

Он перехватил мой взгляд, брошенный на костыли, и сконфуженно промолвил:

— Не-е... Я не с войны! Не бывал! — Потом спросил: — Березы там большие?

— Н-ну, — протянул я, несколько удивленный вопросом, — обычные.

— А ведь некоторые были побольше, мы до последней вырубали. — Светлые прозрачные глаза дяди Феди кротко помаргивали. — Не жалели... Нет! Новые, знать, выросли. Белые они, говоришь?

— Белые.

— Высокие?

— Деревья как деревья.

— Не скажи! — с пылкостью возразил он. — Березка от войны больше всех в лесу-то терпит. Ой, рубили-и... Думалось, переведем и корень-то ихний! Военное дерево, самое, брат, самое. Рубили мы березы, одни березы — такая была специальная посека. Кошкиной горкой ее прозвал наш дедушка Евлампий Иванович Драчев. По-уличному — Лапа. Евлампий — Лапа. Догадываешься?

Заметив мой интерес, дядя Федя предался воспоминаниям:

— В войну наш дом скоро осиротел. Помню, ячмень жали, как нарочный из сельсовета привез повестки. «На сборы, мужики, сутки сроку!» От тяти всего-то одна весточка пришла, письмецо треугольником. И то с дороги: в Вологде, мол, баня была, обмундирование выдано. О сабле — ни слова... Мы-то с Ваньчиком, младшим моим братишкой, карточку ждали. Получит, думали, тятя саблю, сапоги со шпорами, ежели уж на танк не посадят, поскольку тятя-то тракторист. Ладно, танк, но саблю ай не заслужил тятка? Твердо рассчитывали: сымется тятя на карточку с боевым конем и нам выйдет.

Не было карточки — одно письмецо треугольником.

В колхозе остались бабы, старики, подростки — вот и вся рабочая сила. Окна в избах было велено оклеить полосками бумаги: бои приближались к границам области. На оборонные работы всех девок забрали... Срок подоспел озимые сеять, зябь подымать, а робить некому... Война!

Мама на отцовский трактор села. Сутками дома нет. Проснешься ночью — шумит на Митином поле трактор. Дождь ли, темень — урчит, мамка пашет.

Однажды умолк он перед светом. Маму под плугом нашли: задремалось ей, видно, с недосыпу, скатилась с сиденья и прямо под лемеха! Так-то, брат, так, я точно говорю...

А лес у нас, сам видишь, какой. Потому два было долга, две заповеди: летом — хлеб, зимой — лес. Зерно, мясо, молоко и прочее дай, древесину, кубики эти самые, тож подай. Держава требует, так-то.

Дедко Лапа славился: работающий, безотказный. Военное задание ему доверили. Без берез, брат, скажу тебе точно, пуля не стреляет. У винтовки штык стальной, а приклад... Приклад-то из чего? Делянку дед сам выбрал: далеко, зато березы добры, получатся ложи для винтовок, автоматов, какие следует.

Старый Лапа из дому, малые Лапенки — с ним. В деревнях ни огонька — мы уж на ногах. Метет поземка. Провода гудят. Стонут провода. Враг-то, небось, был под Москвой...

На посеке дед орудует лучковой пилой, мы с Ваньчиком — дровянкой. Ходко дело подается. Перепотеем, упаримся — дед

похваливает: «Лапенки — порода таковска, на работе не зябнут!»

Должно быть, с поту и подхватила старого простуда. Слег дед в лежку.

Мы с Ваньчиком дело не бросили. Одни в лес тропу топчем. Поди, по сей день она заметна? Не заросла?

Являемся вот, а у кострища наброжено... Зверь! Лапы по блюдцу. Я думал, Ваньчик не увидит, а он раньше моего разглядел. Как крикнет на своим голосом:

— Фе-едь, лапы-ы!

Я напустился на него:

— Понеси леший, Лапенок! Где ишшо лапы?

Бранюсь, но нет-нет и скошу глаза: верно, лапы — всем лапам лапы. Не совру, отпечатки следов на снегу по чайному блюдцу. Матерый зверюга навещал посеку. Обошел огнище, горелые сучья разгреб и на золу улегся. Бока, лапы измарал пеплом и убрел, нас не дождавшись, куда-то в лес.

Зола теплая. Со спичками, надо сказать, обстояло трудно: в лавке не купишь. Огонь добывали кресалом. Приходилось с вечера оставлять на делянке большое огнище, чтобы утром от углей разжиглять костры. В делянке ведь полагалось сжигать сучья, порубочные остатки — таков порядок.

— Медведь... медведь! — сипит с перепугу Ваньчик. Горло у малого перехватило.

Мне, что ли, не боязно? А держу марку, кричу для своей, может быть, бодрости:

— Понеси леший, какой ишшо медведь? В берлоге медведь, лапу сосет.

— А это кто?

— «Хто, хто»... Иван-пехто! Разводи огонь, пеки картоху!

Дело прошлое, худенько тогда работалось нам. Дерево на ветру качнется, заскрипит — озираемся, по спине мурашки. Клест бросит шишку — вздрагиваем, глаза по луковице.

Виду, конечно, не показываем, хорохоримся. Для веселья частухи-нескладухи поем. Я начинаю:

Сидит заяц на березе,
Ломом подпоясаясь.

Ваньчик подхватывает:

Ну кому какое дело,
Может, он медведя ждет?

Через ночь да каждую ночь наведывался зверь. Бродил по посеке, на золе лежал, бока и лапы марал. Привыкли уж: он нас не трогает, мы его знать не знаем.

Тут и дедко поправился. Терпения не хватило, по дороге мы ему выложили, какой на делянке гость гостит: не зван, не прошен, лапы по блюдцу. Всем лапам лапы!

Дедушка в лице изменился:

— Отчаянные, Лапенки, отпетые, ай не боялись?

Я ему:

— Топоры на что? Отбились бы.

А Ваньчик:

— Кто ходит-то к нам, дедушка?

Дедко повеселел:

— Догадайтесь! Загану загадку, вы и догадайтесь! Ну-ка, что это такое: «Мамка толста, дочка красна, сын синь под небеса ушел?»

Для старого мы все еще внуки-несмышлениши! Эх, седая Лапа, думаю, тебе бы загадать загадочку! Ответь, седой баюн, кто до свету встает, впотьмах лесом бежит — шубейки рваные, шапки прожженные? Мороз, вьюга... Кто? Рассырененьки, в снегу по пояс, сыты-голодны — кто лесины валит? На кряжи кто пилит, чтоб из березоньки было ружье... кто?

А Ваньчик уже дедову загадку разгадал.

— Верно, печка топится — мамка толстая, — кричит дед. — Верно, Ванек, угадал, что дочка красна — огонь, сын синь — дым! Еще угадай: «Четыре топырки, две растопырки, один вертун да два яхонта на каменной горе почивают, на княгиню Подполею силы копят». Кто такой?

Вот-вот, дедко, как раз те у нас думы, отчего у княгини хвост-вертун...

Ваньчик, раз он помладше, и шапку с головы сорвал.

— Деда, чего ты о кошке загадываешь?

— Так к вам-то кошка ходила. Рысь, кошка лесная. У рыси повадки кошачьи: ишь, выбрала себе печку. Ишь, где нашла, супостатка, горку! Печь, слышите, кошкиной горкой зовут.

С легкой руки деда присохло к делянкам новое прозвище. Бывало, по утрам будит: «Подымайтесь, внуки! Кошкина горка ждет».

Тропу на посеку мы первыми топтали. А там нам в подмогу и другие ребяташки стали похаживать...

Разве одна наша изба кормильца лишилась? Шли, брат, в деревню похоронки... М-м, густо шли!

Дядя Федя умолк. Взялся скручивать сигарку.

— Не бывал я на войне. Ничего такого не пережил, не довелось... Рысь на кострище! Рассказывать неловко! — Он поднял на меня глаза. — Опять, говоришь, березы там большие? Сбродить бы потихоньку, поглядеть...

— Большие, Федор, березы на Кошкиной горке. Чудные, прекрасные, Федор, березы!

Можешь не ходить на костылях, дядя Федя, в даль лесную. Большие, опять большие там березы. Точно тебе говорю — подросли.

ЗАГАДКИ ДЕДА- ВСЕВЕДА

ПРО ЛИСУ С ПОДКОВКАМИ, ПРО СТРИЖАТ-ГОРЕМЫК



Люли, люли, люленьки, полетели гуленьки, в огороде сели, песни запели! Там-то чудо: уродилась репа важная, дивилась ей старуха каждая. Неделю мы репу ели, другую половину — еще неделю...

Шучу я, побасенками забавляюсь, а на сердце-то грусть. Внук уехал, раз скоро первое сентября. Удочка его в сениях стоит. Увижу ее — вовсе тоскливо делается.

Ладно хоть не зря Вася со мной тропы топтал; все как есть прошлые загадки перенял, на бумажку ответы записал:

«1. На «второй год» остаются детеныши крупных зверей — медвежата, лосята. Им при матери до будущей весны находится, самостоятельности учить-

ся. То же самое — волчата, щенки енотовидной собаки, молодые кабаны. И они второгодники! 2. Об улитке говорят: глаза на рогах, дом на спине. У кузнечика, лугового скрипача, органы слуха расположены на голени задних ножек. Улитка рожком стукнется — окрикает, кузнечик запнется — чего доброго, оглохнет! 3. Лягушка... Ага, она языком работает, мошек ловит. Она по лугу скачет, ест, ест насекомых и все равно худеет от потери в организме влаги. Однако лягушке довольно лапку в воду опустить, чтобы напиться. Никто, кроме нее, таким свойством не обладает. Наберет лягушка воды через кожу и, ясное дело, сразу раздуется, пополнеет. 4. Лисовин с лисой поровну делят заботы по воспитанию детей. Примерный он семьянин, не смотрите, что мордочка хитрая, продувная! После гибели матки лисовин один водит хвостатую семейку и, ничего, вполне справляется. 5. Самый питательный гриб — бе-

лый. Сушеный он говядины в три раза жирнее и в два раза питательней. На себе проверял, ел да ел: на закуску — маринованные грибы, на первое — вареные, на второе — грибы жареные! Ничего, только по котлетам в конце концов заскучал.

Самый дорогой гриб — трюфель. Он растет под землей. В ряде стран, во Франции, Италии, например, трюфели добывают с помощью дрессированных свиней и специально обученных собак. У нас встречается олений трюфель, по-местному, парга. Дедушка мне его показал. Трюфелю нужна сухая рыхлая почва, открытая солнцу, обыкновенно на прогалинах, опушках леса. Выдают подземное сокровище мушки: роem кружат, толкуются точно комары-звонцы. Как пролысина, лишенная растительности, маленький бугорок, там и трюфель — из-под земли лезет, почву приподнял»...

Ай да Вася, дедов внук, ишь как он ответы-то по пунктам разнес! Август кончается, а в школе без парт все идут занятия. Волчата, скажем, чистописаньем заняты: участвуют в общих вылазках. Идет семья — впереди волчица, сзади матерый, посередине волчата прибылые. Прошла целиком вся стая, но по следам судить — вроде как один зверь. Ни помарочки на своей тропе не допустят волки!

Журавли, гуси тоже учат походному строю молодяк: скоро в отлет. Дорога предстоит для всех одна, хоть для старых, хоть для вчерашних пуховиков-несмышленишей. Высоко в небе проделявают гуси и журавли упражнения: то плывут под облаками острым клином, то перестраиваются в цепь, делают сложные повороты...

Бобрята наравне со взрослыми на плотинах трудятся, а выпала свободная минута — играют, в воде плещутся. Дети и есть дети: ростом взяли, да умом не вышли!

Э, стой-ка, постой, отчего у нас в избе-то шум да бряк? Не туча из-за горы подымается, Антипьевна в поход собирается: туесок берет — под малину, кузов — под рыжики, корзину — под белый гриб.

— Гриб-то гриб,— подаю я голос с лавочки,— да не случился бы с тобой грипп!

— Сиди уж,— ворчит моя бабка.— Ой, до чего ты супротивный, дед: как ему куда надо, ведь не удержишь, а не захочет — с места не сдвинуть. Смотри у меня, избу вымети, половики вытряси, помои выплесни, кур пощупай — которая хохлатая небось с яичком.

— Иди, иди, я тебе и баньку истоплю.

— Полно насмешничать, кабы тебе не было бани, седой! Давеча по воду ходила, так Пахомов черный кот дорогу перебежал. Не к добру — к ссоре примета...

Едва бабка моя со двора, как дождь во двор. Пошел, пошел лить-поливать! Припустит, на минутку передышку возьмет и потом того пуще полощет.

Говорил же старухе: не ходи! Кстати, знатоки, мои помощники, вам задание: назовите приметы на дождь и ненастье. Может, к вам Антипьевна прислушается? А то у нее больше веры черному коту, чем мне!

Загадок я вам заготовил — выбирай, кому какая нравится. Первая — про стрижат-горемык. Птичка известная, летун знаменитый; стрижен день-деньской на крыльях. Пьет и ест, даже спит, говорят, на лету! С десяток птиц нынче опять у нас жило в старой колокольне. Иду я вчера мимо нее — стрижей уж нет, улетели. Считаю, первым дальние дороги стриж обновляет. Добро, ладно. Все ж, думаю, дай-ка погляжу, не ошибся ли. Взрослых и точно нет. Зато в гнездах птенцы: сидят голодоньки, клювы пялят.

Ой, горемыки, папы-мамы вас бросили! Сомневаюсь, однако: возможно ли такое дело? Рассудите, очень прошу...

Дальше иду чистым полем, вдруг навстречу лиса. Хромает, едва плетется, язык свесила.

— Что с тобой, рыжая? — спрашиваю. — Не больна ли, кумушка?

— Ой, не говори, дед: на четыре лапы подковалась!

Ну и ну, что это такое: «подковалась», если подков-то на лапах и нету? Небось хитришь, старика вводишь в заблуждение. Ничего, думаю, знатоки мне помогут разобраться в твоих подковках.

Тут я еще одно чудо-чудное повидал: стоит дом, не велик, не мал — в нем сто тысяч жильцов, отменных работников. Переполох в доме, сумятица: мужиков те работницы взащей гонят — все-де вы тунеядцы, в осень вас не возьмем. на зиму и подавно! Мне бы сочувствие выразить, а я даже не остановился...

На том сказка вся, больше сказывать нельзя. Недосуг мне, пора баню топить: вернется Антипьевна — попарится, простуда к бабке не привяжется.

Мои загадки — ваши отгадки. Уговор помните? Тогда до свиданьица, до скорого увиданьица!



СЕНТЯБРЬ - НОВОСЕН



ОТЯ рано смеркается, день гаснет тихо: кострами занялись лиственные рощи. Луч заката, в пыль просеянный хвоей, скользит вверх по шершавым мутовкам дремучих елей. И долго-долго, даже впотьмах, белеют стволы берез.

Слякоть впереди и затяжное ненастье, лед на лужах и промозглые туманы. Дайте срок, «сивер потянет, шубу с кафтаном в одно место стянет!»

Все впереди, и то ли еще будет: «Осенью семь погод на дворе — сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет, снизу метет».

А пока горят, переливаются капли росы в паучьих тенетах, как дорогое ожерелье. Ожерелье, ожерелье в дар осени на новоселье!

В древней Руси в ряду других сентябрь стоял как руен — за желтый цвет, господствующий в лесах; ревуном прозывался — за ветряную непогоду; величался хмурнем — за дни короткие, ненастье частое.

Ничего, «в сентябре сиверко, да сытно». Сено в стогах, урожай в скирдах, свежий хлеб румяной ковригой на стол просится.

Растворю я квашенку на донышке,
Я покрою квашенку черным соболем,
Опояшу я квашенку ясным золотом...

Когда-то с сентября начинались девичьи посиделки. Первая посиделка была как праздник, предвещавший зимние домашние рукоделия: расчесыванье льна, прядение, вязанье кружев, вышиванье. Горела уж в светце лучина — подруга зимних вечеров.

Бывало, в сентябре отмечался Новый год. В последний раз — 1 сентября 7208 года. Это не ошибка — именно в 7208 году, так как встарь летоисчисление велось «от создания мира».

7208 год соответствует 1700 году. Шумно, под звон колоколов Москва отмечала вступление России в XVIII век. Били пушки. Перед Петром I маршировали гвардейские полки. Царь одарял приближенных и иноземных гостей яблоками, держа при этом в уме, что пора России сбросить такую весть, как прежний календарь, чтобы и по летоисчислению приблизиться к Европе.

15 декабря был объявлен указ: «Впредь лета исчислять» не с 1 сентября, а с 1 января, считать текущий 7208 год одна тысяча семисотым. Так что приход XVIII века Россией праздновался дважды, 1700 год оказался растянутым на шестнадцать месяцев.

Прозывался сентябрь хмурым, однако первый день месяца совпадает с днем-тепляком: «Тепляк держится, ушедшему лету вслед кланяется». Примечали тем не менее, что тепляк тепляком, «днем погоже, да по утрам не гоже», и стоят знобкие утренники.

День 5 сентября в месяцесловах напоминал о первых заморозках, инее на траве, а также о ягоде бруснике: «Коли

брусника поспела, то и овес отбронел» (пора косить). Для коня лишнюю полоску овсом засеять не в убыток: «Не кнутом коня погоняют, а овсом», «Не соберешь овес — наглотаешься слез».

Помимо брусники, осенью запасали впрок рябину. Рекомендовалось часть ягод оставлять на кустах — для прокорма птиц. Посмеивались в северных деревнях, когда ребяташки приносили домой полные кузова: «В нашем краю ровно в раю: луку да рябины не приесть и половины».

Если ягоды на столе подспорье, то рыжички соленые, грузди ядреные, волнушка-вовденка — уже снедь. Месяцесловы советовали побольше грибов запасать: «Летом — пинком, зимой — блинком», «Хороша свининка из-под кустика!»

7 сентября — «Тит, последний гриб растет!» Это и разгар гуменной страды. Лентяев высмеивали: «Тит, пошли молотить». — «Брюхо болит». — «Тит, пошли кашу хлебать». — «А где моя большая ложка?»



Грибы-боровики — «свининка из-под кустика».

К 14 числу предлагалось завершать посевную. «До обеда сей-паши, после обеда на пахаря вальком маши», то есть гони прочь с поля: в позднем севе толку мало.

Иней жжет ботву картофеля, торопит огородников кончать уборку овощей. И садоводам хлопотливо. Исстари известно, как пагубны заморозки в сентябре. На 19 сентября приходились Михайловские утренники.

Пожар в лесах — золотой, не гаснущий... «С сентября лист на дереве не держится», — говорилось в месяцесловах. Век за веком вглядываясь в окружающий мир, наблюдая за природой, крестьяне складывали приметы: «Если на деревьях лист желтеет снизу, то ранний сев хорош; если с верхних сучьев — хорош поздний сев», «Осиновые листья ложатся лицом вверх — к студеной зиме, изнанкой кверху — зима будет теплая, если наполовину изнанкой, наполовину лицом, то зима ожидается умеренная».

25 сентября — «Федорин день». «Всякое лето кончается на Федору». Деревенские острословы зубоскалили:

— Федора, подоткни подол, грязно!

Слякоть и дожди теперь в обычай. «Весенний дождь из тучки, осенний — из ясени».

Начинались по деревням «капустные вечерки». Уборка с гряд, рубка капусты у деревенских хозяек со временем превратилась в веселый обряд. Шинковать и солить капусту собирались по очереди всем женским миром. Мужчин попросту изгоняли из изб. Сопровождалась дружная работа песнями, шутками.

28 сентября — Никита-гусепролет. «Гуси летят — на хвосте снег тащат».

Сентябрь — вечер года. Смолкнут дневные звуки: шелест листвы, крики дроздов, треньканье кочевых синиц. Непроницаемой завесой сомкнется хвоя — она ли уступит постороннему взгляду? Отмякнут напитанные влагой мхи, — разве выдадут вкрадчивый шаг зверя?

Чу! Заскреблось в кроне разлапой осины. Это валится еще один побитый инеем листок, выкарабкиваясь из сплетенья сучьев...

Спозаранок на заре слышны с болот, с лесных лужаек трубные протяжные звуки: лоси-рогачи справляют по лету поминки.

Осень закружила в лесах рыжие метели, низкие тучи снегом грозят, для отлетающих птичьих стай уже светят созвездья далеких-далеких южных земель...

САМОЕ - САМОЕ



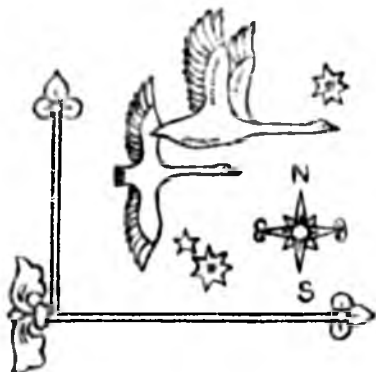
Верно говорится: год на год не приходится. В среднем для окрестностей Вологды яровая пшеница бывает готова для уборки в самом начале сентября. В 1960 году, однако, поспела 10 августа, а в 1955 году — 25 сентября.

Сильнейший градобой случился в Великом Устюге 1 сентября 1797 года: падали осколки льда величиной с грецкий орех.

Последние стаи ласточек-касаток покидают деревни под Вологдой около 6 сентября. Снег... Что? Уже? В 1913 году снег

выпал 10 сентября. Вообще на прохладные, суровые дни в сентябре обижаться не приходится: температура воздуха под Вологдой становится в полтора раза ниже в сравнении с августовской.

КТО И ГДЕ? КУДА И ОТКУДА?



МЕДВЕДЬ — в рябинниках «дуги гнет». Нет, нет, никого не запряжешь в такую дужку! Просто до ягод он охоч, любит рябину не

меньше, чем малину. Жирок нагуливает медведь — на зиму запас. **ВОЛК** — расширяется его охотничий участок, достигая 20—30 километров в диаметре. Волчата исподволь втягиваются в бродячую жизнь. По близким к логову деревням переполох: «Волки откуда-то объявились!» Между тем серые летом жили бок о бок с людьми, но до сих пор не промышляли возле своих логовищ.

ЛИСИЦА — молодой обрел полную самостоятельность. Держится лисы поодиночке.

БАРСУКИ — старые чистят норы, молодые роют их, готовя на зиму жилье. Для зимы нужна шуба потеплей, поэтому у всех барсуков отрастает густой подшерсток.



Молодая лисица

ОНДАТРА — мех стал рыжеватей, пушистей — не то что летом! Зверьки осваивают новые уголья: прокопанные мелиораторами канавы, сеть осушительных систем.

БЕЛКА — шубку меняет, переходя с рыжей на серенькую.

СЕВЕРНЫЕ ОЛЕНИ — лет сто назад они встречались по борам-беломошникам под самой Вологдой. Нынче только делают заходы на Сухону из соседней Архангельской области, и чаще всего сейчас, когда началась смена летних пастбищ на зимние. По пути олени переодеваются в зимнюю шерсть, чистят рога от кожицы: сперва быки-сокожи, затем оленуки-важенки.

КРЯКВА — наряжается в цветной наряд для будущей весны. Прибывают первые стаи селезней с Севера.

ЧЕРНЕТЬ — пролет с дальнего Севера. На широких плесах скапливается этих уток черным-черно!

ГУСИ — серые и гуменники появляются пролетными стаями на озерах Воже, Белое, Кубенское, на глухих водоемах в тайге. Чемпионы, они, улетаая на юг, всех выше летят: 9500 метров! Это установлено с самолета, когда гуси преодолевали высочайшую гору мира Эверест.

СТРИЖ — и он чемпион! Безделица для него — одолеть за день тысячу километров, ведь летает стриж быстрее всех.

ГОРИХВОСТКА — назвать бы и ее чемпионом, да язык не поворачивается: в сутки делает... километров по десять! А куда спешить? Подобно многим птичкам, перелеты

делает, медленно-медленно подвигаясь к югу.

ПОПОЛЗЕНЬ — собирает желуди, орехи, семена — запасается! По-есть захотел — присоединяется к синичьей стайке. Синички найдут что-нибудь съедобное — поползень бесцеремонно отнимет.

КЛЕСТ — в гнезде птенцы! Ничего удивительного, у этой птички, как известно, гнезда бывают и зимой, и весной, и летом.

СЛАВКА-СМОРОДИНОВКА — и прекрасно, и держись на смородине! Насекомые поредели, но поспе-ла бузина, и наша славка ягоды

клюет. К середине осени смородинка исчезает: ее ждут африканские саванны с бабабами, стадами газелей и жирафов.

ЛИНЬ — при понижении температуры до $+10^{\circ}$ залегает в придонный ил на глубине.

БАБОЧКИ — крушинница, крапивница, траурница кое-где порхают над поздними цветами в застойной тиши полей. Эти бабочки перезимовывают и в виде гусениц и крылатыми.

ЖАБА — зарывается глубоко под землю, используя любые подходящие щели.

Мой край родной

ИСТОЧНИКИ ЗДОРОВЬЯ

Застал хозяев дома за обедом — вежливость требует пожелать приятного аппетита или сказать по старому обычаю: «Хлеб да соль».

Обычай, действительно, старинный. Проистек от тех веков давних, когда хлеб на столе не всяк имел, соль и подавно. Непомерно дорога была она, по карману разве что людям состоятельным. Беднота, пробавляясь толокном да квасом, прибегала соль и настоящий хлеб для праздников.

Не случайно в средние века богатейшим человеком на Руси, ссужавшим деньгами и царя, был Строганов — владелец солеварен, рассеянных по всему Северу.

Немалую долю в снабжение страны солью вносила Вологодчина. Еще в XIII веке близ Тодьмы на левом берегу Сухоны обнаружился соляные источники. Для добычи рассола были сооружены шахты — первые в России шахты вообще. Рассол из глубины земли вычерпывался бадьями, потом его разливали по железным противням и излишек воды выпаривали над кострами. Возник в Тодьме новый посад — Усолье. Отовсюду стекался работный люд. Селились купцы. Рос, богател посад, обстраивался каменными церквями. Одно не менялось век за веком — изнурительный труд солеваров. Маялся народ в кабале.



В 1693 году Тодьму, ставшую к тому времени Тотьмой, посетил по пути в Архангельск Петр I. Он побывал на промыслах, поднял из шахты бадью с рассолом и, хотя царь был детина двухметрового роста и отличался силой, потребовал плату!

В 80-х годах XIX века, по свидетельству путешественников, в Тотьме ежегодно добывалось 200 000 пудов соли.

Не легче тотемской была «соляная каторга» в селе Леденгском, что на правом берегу Сухоны. Солевары болели чахоткой, рано умирали, изнуренные непосильным трудом. Так остался сиротой и вынужден был искать своей доли на стороне уроженец Леденгска Иван Бабушкин — в будущем выдающийся русский революционер, соратник В. И. Ленина.

Соляные промыслы Вологодчины к XX в. утратили бывшее значение и захирели: гораздо более дешевую соль стали давать озера Эльтон и Баскунчак. Теперь на Ковде, где были солеварни, работает курорт. Целебные свойства местных минеральных вод возвращают здоровье тысячам людей.

Ценный источник открыт и в черте Вологды. В 1950 году на речке Шограш была пробурена скважина до глубины 2236,6 метра, давшая исключительную по целебным свойствам воду с содержанием в соленом рассоле брома и йода. На базе источника действует лечебница. Строится также большой курорт возле источника «Новое», в 12 километрах от Вологды.

Выходы минеральных вод имеются у нас во многих местах. Порой, блуждая в тайге, охотники находят в низинах лужи с берегами, сплошь ископанными лосями, испещренными следами зайцев, мышей. Вода в лужице, грязь имеют чуть солоноватый вкус и привлекают зверей и даже птичек — таких, как клесты, которые ощущают недостаток солей, питаются круглый год растительными кормами... Ладно, пускай звери, птицы тоже пользуются этими «солонцами» на доброе здоровье! Хлеб да соль!

РЯБИННИКИ

В ЛЕСУ смотрины: ну-ка, кто краше? Цветисты черемухи — лимонно-желтые или огнисто-алые. Осины просто загляденье! Клен — чудо что такое. А ивы? Калина — ягодки каленые? Все равно рябина никому не уступает — жар птица, и больше ничего! Торопишься, да на нее обернешься: ах, хороша... Нынче особенно хороша!

Гроздь на рябине — навись тяжкая. Старожилы не запомнят подобного урожая.

Дрозды пировали, снегири и хохлатые свиристели. Обьедались, сустились: ягода в рот, две-три вниз, наземь. Из гущи хвойной под рябины глухарь приходил. Траву мял, мох топтал. Не гнушаясь крохами со стола птичьей мелюзги, белым клювом подбирал с полу ягоды. Ел-клевал, из лужицы водой запивал, бородой тряс и покрякивал:

— Крех... крех!

Выпить всяк выпьет — не всяк так крякнет!

Глухаря я спугнул из-под рябин. Ну загрохал, ну крыльями захлопал: раза три он подпрыгнул, оземь крыльями треснул, прежде чем взлетел. Отяжелел петух, на ягодниках нагулявшись.

Звоны листопадные, шумы, шорохи. Листок по листу роняют деревья, словно делятся с самой землей красой своей ненаглядной. Нам хорошо, пусть ей, родимой, будет того лучше! В дремной тиши сорвется вдруг желтый лист. Летит, подпархивая, попутно ударяется о сучья, издает притаенный звон, гаснущий наконец в сухой жухлой траве. Ветер дохнет, всколыхнует вершины, и лист течет. С каждой ветки — струя. Ветвей много, листьев множество. Струи становятся потоками, и текут они и шумят.

Глазам отрада — листопад, если сухо, паутина искрится, синицы тенькают, если небо голубое, чистое. В осеннем лесу пахнет валежинами, мхом и сладко-сладко — вянущей листвою. Этот запах стоек, сложен, есть в нем что-то такое от здорового дыхания леса, от силы его доброй, щедрой и древесных соков. Хмелит он и бодрит. Сравнивать его с чем-либо — так подойдет лишь весенний запах растущей травы, юной листвы. Всему свое время: время давать посулы и время исполнять обещания. Есть дни зеленой травы, и есть время золотых листьев. Что мог, лес в срок исполнил — и осыпается. Он радуется и ликует в пору листопада, весну готовит, загадывая о ней через зиму, лихое студеное безвременье...

Расписной, нарядный течет лист: с каждой ветки струя, с каждого дерева потоки — уступает он место грядущей смене, освобождает место почкам...

Задумавшись, сидел я грустно под рябинами, крутил в пальцах перистый рябиновый листок и завидовал ясной жизни деревьев. Тоже и мне катит осень в глаза... Что после меня-то останется, какие почки? Это я не сделал, и то не успел — из рук упустил!

Заяц возник у рябин, как чертенок в сказке, внезапно и бесшумно, когда его никто не ждал. Ну чего тебе? Тихого омута ищешь, а? Знаю, боишься листопада. За шумом листьев мнятся страхи. Дунет ветер, зашуршит палой листвою — ой, то не волк ли? Сорвется листьев охапка — ой, то не ястреб ли сел, когти изготавив? Вот и мечется косою, ищет затишья в хвойниках осенью. Тихо там, покойно. Густы мхи, глушат любой звук. Никакого тебе листопада. То и дорого, что никаких тревог: лежи себе на боку! Медведь протопает — не слышно, лось — и его не слышно. Лиса подберется, сту-

пая на цыпочках,— подавно не услышишь... То-то и оно, боимся лишнего шороха, вздрагиваем, мечтаем: э-эх, нам бы тихий омут! А там, глядишь, черт ждет, чтобы свой оброк содрать — понимаешь ты это?

Привстав, заяц тянул тонкую шею, наивно выкатив карие глаза. Его длинные уши жили как бы сами по себе: бросил шею тянуть, дергать нащепкой тупого носа — уши, однако, не успокаивались. Слушал косой — правое ухо вперед, левое назад.

Трусишка, брось робеть — ты не в омуте! Заяц опустил на все четыре лапы, задрал в небо куцый хвостик и давай обирать обитую птицами рябину. Это было до того неожиданно, так не вязалось с давно сложившимися представлениями о зайцах, любителях грызть кору, что я чуть не ахнул: ну ты даешь!

Опираясь, как на костыли, на длинные задние лапы, заяц проворно подпрыгивал, уплетая ягоды за обе щеки и не забывая откусывать травинки. Когда он поднимался на задние лапы, настороженно тянул шею, длинные уши его опять жили своей напуганной жизнью.

Озяб я, ноги затекли, а пошевелинулся — заяц тотчас вскинулся. Глаза, уши, пухлая мордашка его кричали: ты кто? ты кто? И будто ветром его сдуло. Мелькнул и пропал...

Я сорвал гроздь ягод, пожевал и проглотил — ай да рябинка, слезы из глаз! Крепка, ядрена, забориста — с одной горсти я сыт.

ФОРЕЛЬКИН «ВОЛЕЙБОЛ»

ТЕМЕН омут, оттого что застыло в нем отражение старого ельника. Зеленая темень кое-где разбавлена ослепительной белизной и тронута багрянцем и золотом: это отражаются березы и осины, что выстроились у самого берега. Горят березы, плещут со стволов молоко, с ветвей золото.

Кусочку синего неба с кромкой сиреневой тучи тоже нашлось место в омуте, как и блеклым отражениям папоротников, серых прибрежных валунов.

Но удастся ли мне увидеть форель? По приметам, подходящий для нее омут.

У форели спинка и верхний плавник в дымчатом накрапе, чешуя — серебро с позолотой, по округлым бокам — россыпь оранжевых звезд. А уж резва, уж до чего бойка форель! Зато и скрытна, недоверчива: прячется под камнями,

под подмытыми берегами — не выманить ее, чтобы показала белому свету во всей своей красе.

Склонилась к омуту черемуха, опустила ветки в воду. Будто выбежала она из лесу летним зноем, тронула веткой воду да так и осталась: купаться в омуте холодно, обратно идти неохота...

Села на березу синица-гаичка: «Пинь-пинь!» А хвостиком непоседа круть да верть, верть да круть. Попищала гаичка и давай о сучок клюв чистить, белые щечки чесать. Просыпала охапку золота прямо в воду: держались листья едва-едва, того и ждали, чтобы упасть и закружиться.

Кружась, порхая, опускались листья. Едва касались они поверхности омута, как стрелой вылетали из-под берега, блестя чешуей, форельки. Ловко же они поддавали листья головой — листья даже подсказывали вверх.

Начисто забыв об осторожности, играли форельки упавшей в омут листвою. Волейбольный матч, и только!

С листьев они сбивали паучков да комаров — вот в чем секрет их «волейбола». Ни одного листика не оставили форели без внимания. И вновь попрытались...

Я потихоньку, стараясь остаться незамеченным, ушел в лес. Отряс там березку, другую, набрал листьев и пустил их с переката в омут. Корабликами помчались они к омуту, стал омут пестрым от листвы.

Только не ожил омут. У форелькина «волейбола», видно, свои правила: чтобы поиграть, порезвиться, форелькам нужен не тот лист, что плывет, а тот, что сверху валится.

ЕДОМА

Есть прелесть в том, чтобы провести сутки-другие в охотничьей избушке в сердце лесов. Рубленные из бревен, проконопаченные красным ворсистым мохом и крытые еловым корьем или плахами, избушки эти прячутся в суземье. Нары, грубо сколоченный стол, черные прокопченные стены и низкий потолок, очаг из камней вместо печи. Но приди сюда после утомительного блуждания по лесам и болотам, скинь рюкзак с плеч, затопи очаг-камельк — в его красном зыбком свете преобразится убогий приют. И не столько огонь очага тебя обогреет, сколько забота охотника-трудяги, поставившего на перепутье хижину, открытую для всех...

Славный ведется обычай: уходишь — оставь спички, дрова и растопку, насыпь на стол сухарей, соли в тряпицу

завяжи. Как знать, не понадобятся ли кому-нибудь твои припасы? Ведь и после тебя придут в избушку люди. Вдруг у них спички кончились? Вдруг они голодны?

Порой в избушках можно найти полку с книгами, и попадется на ней то красноармейский букварь 20-х годов с волнующим заголовком «Мы не рабы», то вовсе старинный, писанный от руки том в переплете из телячьей кожи.

Ограбить, запакостить избушку — преступление. В недавние времена каралось оно сурово, без снисхождения...

Кое-где, в частности на Пинеге, глубинные охотничьи избушки зовут древним словом — едомные.

Запомнилась мне одна едомная избушка в сосновом бору, где он, редая, смыкался с чернолесьем.

Летом где-то близко от нее было гнездо филинов, и эти искони таежные птицы налетели сюда аккуратно, не боясь ни огня, ни меня. Я их не трогал, я любовался ими: экие пугала! Круглая кошачья морда с крючковатым, крепким, как кремь, клювом, рожки из перьев, свирепые, налитые золотисто-оранжевым огнем очи... И зрачки — чутко дрожат они даже от дыхания птицы! Крылья в ржаво-пестрых и черных пятнах: когда филин сидит, они кажутся плащом, плотно облегающим его с боков. Поражали и лапы филинов с острейшими когтями, спрятанными в густом пуху.

Филины появлялись, когда чуть начинал гаснуть закат.

«Уху-у... уху-у!» — их дикие крики звучали горько и тревожно.

Утром можно было прямо с порога избушки подманить пищиком рябчиков. Эти прибежали ко мне пешком — серенькие, наивные, перемокшие в росе.

Но я не трогал их...

Рябчики наверняка тоже были одного выводка. Выводка, упевшего несмотря на близость филинов.

Ведь филины не охотятся на пороге своего дома. Это закон для всех: нет охоты возле собственного гнезда.

Что же мне, человеку, было нарушать заведенные в «едоме» порядки?

ГОРДЫЙ

ВЕСТЬ о нем принесли ребятишки, бегавшие по ягоды на Долгое болото. Примчали к бригадиру Алексею Шушкову и обступили, затормошили старика:

— Дядь Леш, знал бы ты...

— Ой и рога!

— Бьется и не вылезет — по уши увяз!

Из бессвязных выкриков Шушков все же вывел, что на Долгом болоте, где колхозом зимой проводились торфопеработки, в дренажной канаве тонет лось. Угораздило бедолагу! Канавка глубокая, стенки отвесные, — без посторонней помощи не выбраться, думать нечего! Люди — люди само собой, но и техника понадобится. Лось вам не теленок: за хвост не вытащишь. Зверь он, дикарь — не вразумишь, что спасти его пришли. Не покалечил бы кого ненароком... Вслух своих опасений Шушков не высказал, мысленно прикидывая, кого из мужиков побойчее послать на такое дело, откуда хоть трактор, что ли, пригнать. Он покашливал и усмешливо щурился.

— Лось? С рогами? Рога, ребята, хорошо! А кабы корова топала, пускай и комолая... У, я бы тогда! На балансе, так сказать, коровы, лоси-то пока что не оприходованы. За них не спрашивают — ни по привесам, ни по росту поголовья.

Слова бригадира были приняты за чистую монету, детвора возмущалась:

— Дядь Леш, это природа!

— Он бьется, он тонет...

— Да о тебе бы в газете написали: «Благородный поступок!»

— Газета? — встрепнулся Шушков. — Ну-ка уговоритесь, дайте подумать. Благородный, поступок? М-м... — и решительно тряхнул головой. — Это меняет дело! Смерть охота быть благородным.

Из западни лося выручили трактористы и чуть живого, вываленного в торфяной грязи, жалкого привезли в деревню связанным на «пене» — стальном листе, используемом при доставке грузов по бездорожью. Заперли пленника в сарай на отшибе.

Кто и не перебивал у сарая! Лось — не диковина, но этот... Его угловатое и крепко сбитое тело было громадно. Зверь загнанно жался в темный угол и грозно щетинил холку, выставя навстречу любопытным взглядам толстые рожицы, похожие на вывернутый из земли пенек. Его была дрожь, клешнятые копыта на полу издавали далеко слышимый звук: туп, туп, туп.

Дичился лось, а пищу принимал. Ел траву, сухие осинового веники. Глыбу каменной соли выложили — грыз, бросали хлеб — подбирал. Воды, налитой в корыто, зверь сперва сторонился, фыркал, закладывал уши и косился закровавленным оком, потом как-то решился и вытянул разом ведра два.

Скоро лося было не узнать. Он по-прежнему занимал тем-

ные углы, откуда крутые его рога высвечивали, как отлитые из металла, но не тряся, не вскакивал, когда подходили люди, не сверкал белками глаз. Потупив горбоносую голову, словно в затажной дремоте, лось лежа жевал жвачку по-коровьи. Кончались веники, сено — он скреб зубом бревна, хрупал прутьями, которые ему нарочно бросали. Грязь обсохла, гладкие бока сыто круглились. Без сомнения, дикарь смирился с неволей.

Шушкова, снабжавшего пленника едой и питьем, лось ничем не выделял, только не спускал с него пристального взора, как бы спрашивая о чем-то.

Мрачнел Шушков, оставаясь с лосем наедине, злился, швырял под копыта ему веники.

— Чего? Чего уставился? Как есть скотина, в пору на шею хомут! Который день двери не запираю... Сообрази ты, сообрази!

Старик закуривал, держа сигарку в горсти, и отгонял дым ладонью от окна, через которое подавал корм.

— Заявл ты, на всю жизнь вперед устал, пока в канаве бился, — ворчал он, чувствуя на себе взгляд лося. — А на воле-то ширился, никому дорогу не уступал! Да тебя... Тебя на веревках из пропасти и выволокли! Унижение, а? Соображаешь, я вижу... Унижение и зверя ломает!

Папирова гасла. Старик мусолил зубами мундштук, сплевывал табачные крошки.

— В зоопарк тебя хотят определить: смирен, мол, приручен. На даровых харчах жить станешь, в неге, в холе. Ну, мне что? Не больше других надо. Клетка так клетка... Да хоть копытом топни ты, корова рогатая! — взорвался он криком. — Чего повял? Чего?

Неожиданно сарай как бы пошатнуло, из пазов между бревнами посеялась пыль. От прицельного удара лося один из отростков рога треснул и обломился. В распахнувшиеся двери зверь вылетел одним прыжком, словно ждал этого давно. За порогом он внезапно осадил, взрыв дерн острыми копытами. Что и было бы, не успей Шушков заслониться косяком двери.

Стояла старая телега — лось опрокинул. Колесо нацепилось на рог — отбросил. Оно ударилось о стенку сарая, ржавая шина соскочила с обода, посыпались спицы.

Как внезапно вспыхнул лось, так и угас: понурился и с низко опущенной головой побрел через поле.

— Ишь ты... — Шушков стоял белый, как мел, и беззвучно смеялся. — От чужого невслю примет, а свободы от чужого

ему не надо Обиделся, а? Обиделся? Гордый... Гордый! Коли так, будешь жить. Не по тебе, я вижу, клетка и даровые харчи!

ПОДАРКИ

— Ау! — справа и слева.

И издали:

— Ау-у!

Половина города, наверно, ринулась за дарами леса. Запасаются впрок на зиму лесными витаминами, белками, углеводами.

В березняках трава смята, к каждому кусту тропы натоптаны. Тут и там хлам, мусор, кострища. С берез кора ободрана на растопку.

А сюда, я уверен, никто не заглядывает. Глушь, намека нет на грибы-ягоды, и сборщики стороной обходят угрюмый еловый остров.

Хвоя шумит, шумит монотонно и усыпляюще. Вокруг тускло, серо.

Осинка дрожмя дрожит. Одинокая, она словно заблудилась, не чает, как выбраться из чащобы. Лист ее осыпается наземь, цепляясь за хвою. Старая ель где-то скулит и пристанывает. Лепечет в овраге ручей, и едва слышно доносится справа и слева из-за хвойной завесы, из-за гущины сучьев, частокола стволов:

— Ау-у-у...

Сижу на колодине, как бы обживаю этот мирок. Корзина с боровиками у ног. Мне хорошо. Я люблю редкие минуты лесного одиночества. Можно тишину послушать, можно елке хвойную лапку пожать: «Ну как, старушка, живешь-можешь?». Осинке сочувствую: «Не бойся, не дрожи!» И голос ручья, струйки бегучей мне понятен: журчит в немоте хвойной, дозывается кого-то, кто пришел бы да напился. Долг ручья — поить. Только услышит ли кто зов бегучей быстринки? Густ ельник, плотна завеса хвойная, лучу света не пробиться сквозь заслон, не то что лепегу водицы. Потому и ручью я сочувствую, на себя применяю: тоже бывало. С кем не бывало: зовешь, дозываешься, но откликнуться некому!

Вкрадчивый шорох раздался. Возле самой корзины. Ах, мои боровики, сокровище бесценное, не на вас ли покушение?

Белка! Замер я, чуть дышу. Смешно вытягивая шею, обнюхала белка мои сапоги. Мордочка лукавая, смышленная, в круглых глазах бесенята скачут. Щеки пухлые, нижняя губка

вздернута капризно. Ну сейчас моя белочка рассмеется! И какая же она пышная, крупичатая. Сама серая, хвост красновато-рыжий. Стало быть, блондинка. С усами. Идут ей усыки.

В уме я держу: «Хватит тебе сапоги нюхать. Боровиков охота — так бери. Перед прелестью такой кто устоит? Готов к твоим лапкам выложить все мои сокровища. Даже корзинку с боровиками. Не жалко, честное слово».

Обнюхала блондинка сапоги — и скок в сторону. Хвост закинула на спину. Наверное, он мешал. Напустила белка на себя деловитость и принялась в палой хвое ртыться.

Шишку откопала, еловую шишку-падалицу — мокрую, здоровенную. Ухватила зубами — получилось будто сигара. Увесистая сигара!

А мои боровики? Брезгуешь?

Расправилась блондинка хвостатая с шишкой в одну минуту. На пеньке. И ведь выбрала-то пенёк с моховой подушечкой! В минуту вылушила из шишки семена, шелуху сложила грудкой. Остался от шишки стерженек — так она его небрежно бросила и стала умываться. Чистюля и аккуратница, она сперва лизала свои лапки, потом терла себе мордочку. Полижет, словно бы поплюет в ладошку, и вот за ушами трет, вот скребет. Будет тебе, до дырки протрешь!

И не дает покоя, задело меня: а мои боровики?

Видимо, я пошевелинулся. Белка стремглав кинулась прочь. Угодила на осинку. А осина тонкая, и белка оборвалась — хлоп наземь.

«Батюшки, грех-то какой! Не зашиблась?»

Но она быстро справилась, прыгнула на елку. Сверху пощелкала сердито: «Цок! Цок!» Напоследок шумно, мне в остростку коготками по коре поскребла: видишь, у меня когти! Во... во когти! И скрылась, исчезла среди хвои.

Ручей из оврага журчит. Осинка дрожмя дрожит. Не надо... Не стоит! Подрастешь и выберешься из хвойника. Выше его станешь, только и всего.

У ног моих грибы. Белые боровики. Но грустно мне отчего-то.

А-а, грибы! Не нашивал я их, что ли?

— Ау-у... — долетает из-за серых шершавых стволов.

— Ау.

Не грибы мне в подарок, а как белка-блондинка шишку шелушила, как умывалась, чистилась — поплюет в ладошку и за ушами потрет. А уши с кисточками, а хвост пышный,

ухоженный... В подарок не то, что в корзине принес, а что в душу положил.

Берем ведь, тащим из лесу, что попадет. Грибы так грибы. Ягоды так ягоды. Кузовами, корзинами. А что взамен отдаем? Немного бы лесу и нужно на первых порах: наше внимание бескорыстное — и то добро, и то ладно.

ГРАЧ У ГНЕЗДА

Сборище грачей на березах с шапками гнезд. Суматоха, брань. Сосед выживает соседа с заветной ветки, никто не уступает: вот-вот сцепятся, ух полетят клочки по закоулочкам! Хлопают крылья, в воздухе мелькают черные птицы. Переполюх так переполюх!

Присмотревшись, замечаешь: повинны в нем пожилые грачи. Темноклювый молодняк не вмешивается, держится отстраненно. Больше того, старшие его подзадоривают и задирают: что вы киснете? Айда с нами! А то белоносый грач присядет к грачатам, которые сбились кучками, и заходится хриплым карканьем, тянет шею, будто загорелось ему втолковать нечто важное, не терпящее отлагательств. Потом, не добившись проку, пойдет он, взъерошенный, с горящими глазами, снова метаться среди берез.

Один грач вдруг обломил сухой прут-торчок и, торжествуя, поволок вверх. По его примеру двое-трое грачей сели на свои гнезда, взялись перебирать погнившие за лето сучья. Шум сразу поулегся, возникла пауза.

Воспользовавшись ею, сорвался с березы грачонок. Будто сигнал подал: за ним посыпались еще и еще...

Лети, удирай, темный клюв, я на твоём месте поступил бы точно так же. Заниматься гнездами, когда зима катит в глаза и скоро отлет — сушая же это нелепость!

Березы разом утихли. Старики ерошили перья, уныло горбясь у разбитых ветрами гнезд.

Улетела молодежь подбирать зерно на полях, где тракторы поднимают зябь, белить клювы, ковыряя из пластов пахоты червей и личинок.

На лужке перед избами иней, серебром блестит и стерня в полях.

Когда объявилось солнце, серебро стало золотом и растаяло. Сочно зазеленела трава. Воздух отмяк, будоражаще потянуло в нем запахом талой воды с луж, травяной прелью. Весна, всем бы весна, кабы не желтые листья в колее!

Осень противостоит весне, однако, я думаю, это противостояние не исключает, даже предполагает сходство. Весна предшествует лету, осень — зиме, четко противоположным временам года. Текучи предшественники, переменчивы. Они накапливают, тогда как зима и лето тратят, да, больше тратят, чем множат накопленное, чтобы проявить его зримо. Сходны весна с осенью не в долготе дня, убывающем или, напротив, возрастающем потоке света, тепла, а больше и значимей в чем-то нё поддающемся исчислению, уловимом разве что птицами, травой, деревьями.

На мокром лугу под защитой ивняка, я знаю, расцвела калужница, одиночно желтеют купальницы. Позже, в оттепели, накануне зимы будут набухать почки. Даже зимой, случись только потайка, зачирикают воробьи, заворкуют голуби. Каждую весну молодеет, обновляется земля, и в редкую осень она не вспоминает о весне...

Чуть не забыл! Нынче ведь произошло совсем небывалое: стали распускаться вербы, медом запахли желтые их пуховочки!

Постой, а если грачи тоже весну вспоминали, собравшись на березы? Зазвали к гнездам молодняк и разыграли перед ним сцены весенней жизни, забот и хлопот, тревог — в выборе места для гнезда, в схватках за удобные развилки сучьев?

Не поняли дети, отвернулись. Не впрок пошел, не задался урок...

Трудно постигается чужой опыт. Ум — его не просто взаймы брать!

Улетели грачата, не поняли стариков...

Понимаю тех, кто улетел, но с теми я теперь, кто остался. Вне памяти нет опыта жизни, а память не всеильна: из поколения в поколение повторяется, что главное, важное, как гнездо для птицы, нам приходится делать, полагаясь лишь на себя. Бледна память, как бледны, блеклы весенние цветы, расцветшие в разгар осени. По ним ли судить, какой бывает весна? По нашей ли памяти судить о минувшем, о былом?

Шагал я дорогой, разгорался погожий денек, а было мне в моих думах ничуть не легче, чем старому грачу, что, находясь, горбился у разбитого ветрами гнезда...

ПАСТУХИ

Располагался пастуший стан на бугре под высокими соснами. Рядом березы и ветхая часовня. Поодаль еще бугор, там сарай-сеновал, острова крапивы, дичающих яблонь, развалины

колодцев — наверно, деревня была когда-то. Конечно, деревня, чего еще, кроме деревни?

Маковка часовни зеленела мхом. При ветре дряхлое строение шаталось, скрипело, будто жалуюсь на немощь. Федя прижимался лицом к заколоченному окну, и часовня поражала его потемками, запыленной кисеей паутины. Замок двери отпирался без ключа, и все-таки Федя предпочитал заглядывать в помещение через окно — так страшнее! Половицы были покороблены, в щели лезла дурная трава: хилая, испитая. Это от нее, совсем не от потемок, ржавого на ржавых цепях паникадила и черных досок икон подкатывала к сердцу необоримая жуть: «Чего растет без солнца-то? Уж лучше бы сразу чахла».

Вечерами, если погожая погода и безветрие, на бугре явственно можно было разобрать: в ближней деревне звучит радио, кричат ребятишки, должно быть, гоняя по лужку мяч. Федя забирался в шалаш, лежал, закинув руки под затылок, и когда отец кликал ужинать, молчал, притворяясь, что спит. Было до деревни далеко, до дома и того дальше...

В школу Федя пришел в новеньком картузе и мешковатой, купленной на вырост форме. В новом портфеле лежала трудовая книжка, выданная в правлении колхоза, электрический фонарик, который подавал сигналы желтым, зеленым, красным светом, и четырехцветная авторучка. Ручка скоро поломалась, но фонарик был железный, исправно светил и всем понравился. Но все равно чего-то Феде не хватало; казалось ему, что покупки не оценены по достоинству.

— А еще было-о...— заводил он, для пушей убедительности растягивая слова.— Волк наскочил! Коровы-ы... Н-ну шарахнулись, н-ну задали драла! Я ка-ак оплету кнотом: враз волку шкуру просек. Больше он на глаза не показался. Воеет ночью — и шабаш, раз получил острastку. А тут на шалаш однажды сыч уселся...

Внутренне сопровитываясь, Федя увлекался, мешал быть с небьютью и говорил, говорил взахлеб о сыче, волках, о том, как в лесу встретил медведя.

— В-во он пошел чесать по колоднику: лапы выше ушей на бегу закидывал! А про ученье журавлей знаете? Куда вам: домоседы... Старые журавли журавленка с обрыва сталкивали: пускай не притворяется, что летать не может. Полетел... Полетел как миленький! А слыхали про кузнечиковый деготь? Ну-ка, кто? Ну-ка? Пяткой на сучок напорешься, до кости просадишь, но деготьком, который изо рта кузнечики капают, смажешь — к утру заживет. Пятка как новенькая!

Правда не устраивала. Скажи он, что было на самом деле, слушать не будут. Корова Аглая увязла в болотине, полдня ее с отцом вытаскивали — спина трещала с натуги. Другая корова телиться удрала в лес, и нашли ее уже с телянком. Федя и бегал искать...

Не то, все не то... Не зря он еле дождался первого сентября!

Заводила свои порядки осень. Липы сыпали желтой листвою на крышу мастерских и физкультурного зала.

Подымался ветер, задира хвосты дроздам на рябинах и разметывал желтые листья, порой они летели выше лип неведомо куда.

Переменки ребята проводили в саду: сгребали листья ногами в вороха, втихомолку их поджигали.

Федю как летом тянуло на люди, так теперь потянуло к настоящему костру, к треску сучьев на огне. Стали вспоминаться сосны, заколоченная часовня при дороге, похлебка, упревшая в котле. Похлебку варили из крупы и сушеного мяса, а удавалось поудить, то получалась ушица — за уши от котла не оторвешь.

Славно... Ах, славно было вставать до солнца, по поясу мокнуть в росистой траве на лугу, потом сидеть у затона и, обмирая, следить за перяным поплавком. Кабы линь клюнул! Золотой, он на солнышке линяет, пластами лезет с боков липкая слизь. И-окуньки — дело, да кабы линь польстил на червяка! Пахло мятой, утихали скрипучие крики коростелей, стелился над водой туман. Случилось однажды диво: показалось, будто клюет, а это из воды по леске карабкалась синяя, с голубым брюшком стрекоза. Она влезла на поплавок и улетела, как век не ночевала в темной глубине омута...

Поднимались с лежки коровы. Дышали парным теплым духом, жевали жвачку. В добрых покорных глазах с белыми ресницами дробились блестящие точки. Под навесом, позевывая, переговаривались доярки, гремели бидонами, шофер дремал в кабине, навалившись на руль. И как звонко брызгали первые струи молока о дно подойников, как ослепительно сияли белые березы и невесомо плыли прекрасные облака!

— Вёдро, вёдро, — бормотал Федя, плетясь со двора к школьному подъезду. — Не все вёдро, были и дожди...

По правде, дождало летом изрядно.

Хотелось Феде покаяться: сочинил он про волка. На самом деле забежала к стаду собака. Мальчик принял ее за волка, испугался и бросился к ней, хлопая пастушьим бичом. Не было и встречи с медведем. И журавлей он видел издали: пти-

цы кормились на гороховом поле. Ничего такого с ним не было. Было другое — простое, очень-очень обыденное, как обыденны туманы на реке, дожди-проливни, грозы.

Если дождь, так кутайся в брезентуху и не смей на шаг стойти от коров. Кто за тебя справит твою работу?

Гроза — того тошней. Боязно, когда гром, когда молнии огненными плетями хлещут по бурым тучам, а порывистый ветер гнет деревья, заупокойно воет в старой часовне. А стой, не бросай коров: напугаются, разбегутся — после ищи их!

— Радий, бык-от, грозы боялся, — шепнул Федя соседу по парте на уроке. — Загремело — он уж и смиренный, ровно овечка. Так никого не допускал: рога выставит, ровно ухват, слюну пустит и копытом скребет, трясет подгрудком. А в грозу хоть верхом садись — только дышит тяжело и моргает.

— Хватит, нашел чем заноситься, — ткнул Федю локтем сосед. — Было бы нас у отца шестеро, я бы тоже коров пас.

А тут еще учительница замечание сделала:

— Теребов, нарушаешь дисциплину!

Федя поерзал на парте и вздохнул. Невмоготу ему стало в классе с его чинной тишиной, стуком мела по черной, свежее-выкрашенной доске. Ой, невомогуту!

Убежал Федя из школы на перемене, бросив в парте картуз, портфель и фонарик, который теперь, когда включали, горел жидким, тоскливым светом.

...Луга пересекала железная дорога. Шел состав с пилеными досками и бревнами на платформах. Он растянулся почти на километр, и, пережидая, пока состав прогремывает, Федя вдыхал запах бора. Бором, смолой пахли платформы. А в лугах уже поблекла трава, и стояли лужи, замусоренные опавшими листьями.

Нет чибисов — улетели. Нет бабочек, кузнечиков, — куда девались? Завидев впереди стадо, Федя прибавил шагу.

Отец в неизменном брезентовом плаще-дождевике стоя плел из прутьев корзину. К мальчику бросился Пиратка. Скуля obeжал вокруг и, вскинув передние лапы Феде на плечи, лизнул его в губы.

— А-а, не утерпел? — сказал отец, вынимая изо рта сигарку. — Что дома нового? Картошку копаете?

— Начали, — сказал Федя. — А к нам в скворечник скворцы прилетели. Пели, как весной. Прощались, наверное.

— Прощались, определенно... — отец щурил глаза: папираса у него чадила. — И сюда летают. В их обычае пастухов навещать.

Летом при стаде держалась большая стая скворцов. Куда

коровы, туда и они. Разойдясь по пастбищу, скот выгонял из травы мошек, ночных мотыльков. Скворцы их ловили, кормились из-под коровьих копыт.

Федя поднял с земли плетъ, щелкнул привычно.

— Ну-ну, разлеглись... Я вас хлестуном-то!

Пиратка залился лаем, наскაკивая на быка: с Радием у него нелады.

Стадо потекло к лесу, там трава не тронута инеем, сочной отава. Зашагал и Федя. Губы у него сами складывались в улыбку: покой дорогой, душа на месте!

— Раз в пастухах, то вся деревня у тебя в долгу.

Пиратка, слышав его голос, сперва завилял хвостом, потом гавкнул. Смотрел преданно: что прикажешь, хозяин?

— В долгу, говорю, деревня-то. Перед пастухом, да. Ты вникай, на то и голова дадена! Мы весной какое стадо приняли? Зимовка прошла — хуже некуда. Кормов вечно нехватки, едва достало до свежей травы, — рассуждал Федя солидно. — Теперь глянь и сравни: во коровы стали, поперек себя толще! Ты понял? Понял али нет?

У опушки, оставив стадо на попечение пса, Федя пошел по знакомым местам: к ручью, где поймал рака, к рябине с гнездом дрозда в развилке сучьев, к муравейнику, что выше его — громадина. Умылся в ручье, попил — ух водица, зубы ломит; посмотрел, как муравьи наращивают обвершье купола всяким мусором, хвоинками: больших холодов ждут — верная примета.

Гнездо дрозда было, конечно, пусто. Оно зеленело мягкой травкой. Видно, ветер занес семена, и они проросли.

— Диво, — покачал Федя головой. — Диво, диво!

На грузовике к навесу привезли свеклу. Отец помогал дояркам сгружать ее, разносить по кормушкам.

Коровы от леса заученно повернули обратно.

Федя заметил вдаль над лугами, через которые опять полз железнодорожный состав, темное облако, как вырвавшийся из трубы клуб дыма. Оно росло и спустя минуту обернулось многочисленной птичьей стаей.

— Скворцы! — ахнул мальчик.

В шуме крыльев покружив над лугом, стая рассыпалась, унизывая черными точками березы, густо лепясь на сосны. Затем, точно по сигналу, птицы взмыли в воздух и разделились: большая часть унеслась дальше, а остальные снова расселись на деревьях.

«Наши, — шептал Федя, — это наши!». Опережая стадо, он припустил к бугру и остановился на полпути.

Скворцы пели. Песня их была воспоминанием. В ней звучало все, чем живо было прошедшее лето: голоса других птиц, скрип телег по дороге, стрекот кузнечиков и пощелкивание пастушьего кнута, и лай Пиратки, и, похоже, шум дождя о брезент. Лето вернулось, вернулось и пело, заливалось с берез и сосен.

— Наши... Понимают, чего надо-то, — стоял Федя. — Ведь вместе пасли... Пастухи мы... да-а.

И подумал — скорей бы опять лето!

ЗАГАДКИ ДЕДА- ВСЕВЕДА

ПУХОВЫЕ ТРУСИКИ
И БАБОЧКИ-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ



Уж как курочка ряба да по улочке брела. «Дед, — говорит, — дедушка, сивая бородушка, где ты был-побывал, что повидал? Был ли на меленке, видел ли диковинку: козел муку сеет, козлушка подсеивает, малые козлята в скрипочку играют?»

Э, думаю, твои бы мне заботы, рябая! Что мне твоя меленка, — то ли еще я видел, то ли слышал в глухой-то чаще у моих земляков в гостях!

Для начала, однако, пройдемся по прежним загадкам: кто их решил, кто угадал? Кто мимо попал?

О приметах. Много их народом накоплено, в самую большую книгу не вместить. Допустим, о приближающемся ненастье предупреждают муравьи:

прячутся, входы в муравейник заделывают. Лягушки, напротив, покидают лужи, выползают на сушу. Коровы, возвращаясь с пастбища, громко мычат. Ласточки и стрижи летают низко. Заря вечером горит багряная, небо мутно, ветер усиливается, ночью тепло и траву не мочит роса... А черный кот? Пусть его бегают через дорогу, суеверия к приметам не имеют отношения! Вторая загадка касалась стрижат-горемык. Стриж — птица на

особицу. Так, бывает, на юг спешит, что бросает дома птенцов. Стрижата по несколько суток проводят без еды в ожидании, пока окрепнут для полета крылья. Пускаются они в дорогу за тыщи верст одни, без провожатых! Так что про стрижат говорил я сущую правду. И про лису — тоже. Перед осенью у ней на подошвах лап отрастает шерстка. С весны, ишь, босиком она, а к зиме в меховые тапочки переобувается. В августе щекотно рыжей ступать, охотники шутят: лиса, мол, «подковалась»! На самом же деле никаких подков в помине нету. А дом на сто тысяч жильцов — это улей. Пчелы в августе изгоняют трутней, вот и все.

Покончено с летними тайничками, возьмемся за осенние.

Спору нет, лето — сама отрада. Ну а осень чем уступит? Спусти я слова не молвлю, понапрасну ничего не похвалю, никого не похую. Пожито на свете, того больше пережито, но осенью не устаю удивляться: бывает ли когда краше, чем сейчас? Чтобы озами — зелен изумруд; чтобы роша — костры негасимые, чтобы небо — синь бездонная... Бывает ли лучше-то?

Не ловите на слове: седой баюн, мол, на старости лет заговаривается. И зиму и весну нахваливал — не отрекаюсь от старых слов. Новые ищу, чтобы поведать о радости жить на доброй этой земле. Люблю жизнь. Люблю — в снегах сыпучих, убродных и докучливой сырой мокреди, в мороз-трескун и летний зной полуденный, когда воздух густ, как мед, на запахах смолы и земляники настоящий... От удивления миром, от любви к жизни и мои загадки-затейки.

Распорядительна осень. Кого на путь наставит и простится ласково; кого впрок употчует — так что на всю зиму хватит; кому и обновы справит. Никого вниманьем не обойдет!

Косулька-малышка, точеные ножки, за маткой-косулей летом бегала — на боках солнечные веснушки. Только осень на порог — получила косулька взрослый наряд: платье серой шерсти, не шибко нарядное, зато немаркое. Молодняк лосей, полосатики-кабанята — считай, все лесные ребятишки в срок переодеваются во взрослый наряд. Цыплята у квочек-глухарок, у пестрых тетерок, бывало, на быстрых лапках летом носились — не отличить, кто петух, кто курочка. Теперь-то возмужали: петушки в черное перо вырядились, одних курочек в пестрых перышках оставили...

Осень — и опять хлопоты. Опять забота, опять работа, и все легче нет!

Многих-многих нужда гонит: летят, плывут, пешком идут. На юг, на юг! Интересно, есть ли птицы, кто к северу нынче путь держит? Кто на запад и восток? Знатоки-следопыты, вот вам задача!

Нут-ка, потрясу котомочку, не сыщу ли затейки подиковинней? Ага, есть. Живет в лесу зверь, рыльце хоботком, зубы крашенные. Не смотрите, что мал он, — меньше зверя нет, — он на дню по восемьдесят раз ест, сто двадцать раз спать ложится. Проворен крошка. Зверю на обед себе промыслить — все равно что нам поработать, и уважаю я таких проворных. Особенно молодца в плюшевой шерстке, ведь питается он жуками, червяками, прочей мелюзгой.

Нынче я по бруснику ходил, его повстречал. Слово за слово — разговорились.

— Небось скоро заохлодеет, козявок поубавится — как жить-то будешь? — его вопрошаю.

— Лучше всех! — бойко отвечает.

— Ну? Уж и лучше всех. При твоём аппетите зимой зубы хоть на полку клади.

— Положу, — говорит, — дело привычное.

Я удивился:

— Как то есть дело привычное?

— А так: холодами повеет — у меня зубы частью повыкрошатся, но и остатка хватит жуков жевать. Голова соохнется, сам уменьшусь...

Не дослушал я его! Чего зверюшка меня морочит? Надо же — зубы на полке и все равно лучше всех живет. Хвастун, зазнайка, больше ничего! А вы что скажете? Помогите, рассудите нас, очень прошу!

Расскажу вам еще: дело было утром, с ночи иней пал, на открытых местах роса смерзлась, трава аж шуршит. Иду, и нос зябнет. Вижу тут: по просеке мой старый знакомый скачет. Окликнул его:

— Стой, стой, молодец — хвост одуванчиком! Не зябко ль тебе?

— Нисколько, на ходу греюсь! А будет холодно — пуховые трусики надену.

Вам, знатоки, новая потешка: кто ж это в лесу, как станет холодной, пуховые трусики носит?

Набрал я загадок, порядочно наискал, а домой пришел — от внука письмо ждет. «Дедушка,— пишет Вася,— был я за городом, бабочек видел. Слушай, они в Африку собрались!»

Ай да внучек, весь в меня, пострел! Вам, стало быть, задание: узнайте, правда ли, что осенью у бабочек бывают перелеты.

Тут и вся сказка, загадчику бубликов связка, отгадчику короб кренделей — от лавок до дверей!



ОКТАБРЬ-ЛИСТОВОЙ



НЕГ выпал под вечер.
Что ж, на то октябрь: ког-
да листком землю кроет,
когда снежком!

Ветер-сивер в полях
кусты гнет, соломой шур-
шит. В лесах сыро, холод-
но. Черные ели, мокрые
лохмы лишайника... С сучь-

ев, с хвой булькает в лужи. Оно и понятно: осенний сне-
жок — не лежок, выпал и скоро тает.

Бывало, в октябре завершалась полевая страда. Зато ры-
бачья страда, путина осенняя, была в разгаре.

В старину промысел рыбы облагался от царя и монастырей поборами: «Рыбу ловить — в казну платить». Славилась рыбой отменных качеств Вологодчина: тут и шексинская и сухонская стерляди, и нельма-белорыбица с Кубенского, и снеток и судак из Белозерья, и семга онежская. Да что тут говорить, если, по шутливой пословице «и маленькая рыбка лучше большого таракана!» Любая речушка с ельцами и плотвой давала семье подспорье.

Вологжане понимали толк в рыбе. Песня, когда-то известная на севере, рассказывала, как архангельские поморы поймали в невод «три окуня златоперья»:

Да еще первый окунь да во сто рублей,
Еще другой окунь во тысячу рублей,
Еще третьему-то окуню цены здесь нет.
Еще есть ему цена в Новгороде,
Ему оценщики да во каменной Москве,
Ему покупщики да в славной Вологде.

Труден был, опасен рыбачий промысел: «Ловцы рыбные — люди гиблые», «Рыбу ловить — о край смерти ходить...»

Сентябрь по народным календарям заканчивался Никитой-гусепролетом, а октябрь открывала «Арина — журавлиный лет»: «На Арину (1 октября) и отсталый журавль за теплое море тянет».

Принято было у деревенской детворы окликать осенью журавлей: «Колесом дорога! Колесом дорога!» Будто бы журавли тогда поворачивали вспять, дольше длилось тепло.

Ветра-листобои характерны для октября. Поэтому им посвящался день 3 октября — Астафьевы ветры, праздник мельников, работающих на мельницах-ветрянках.

Снопы на гумнах в копны уложены. Наставало время молотбы.

Кудрявый дымок курился над овинами, ригами, где сушились снопы. Сытый, теплый, удивительно шел этот дымок к серым избам, к убранным полям, где одни запоздалые грачи похлопиво граяли с изгородей. Разносил тот овинный дух запахи хлеба, сухих дров и соломы, и билось радостью мужицкое сердце: страда позади!

Однако предупреждали месяцесловы: «Топить овины топи, да на Феклу оглядывайся!». 7 октября — «Фекла-заревница». Овины соломой крыты, снопы, как порох, сухие — долго ли до беды? По ночам то тут, то там вспыхивали зарева, перекалились деревни пожарным набатом.

С 14 октября шло зазимье. Игрались свадьбы. Кстати, слыл октябрь встарь месяцем-свадебником.

Раз в жизни бесправного, обездоленного мужика величали князем, деревенскую женщину, жнею и пряху, домовницу-рукодельницу — княгиней. И это было только на их свадьбе.

Горько было невесте расставаться с девичьей волей, во сто крат горше, если выдавали ее за «чуж-чужанина» немилого, постылого. Плакала, убивалась невеста: неохота ей идти замуж на «чужую сторонushку, за болота зыбучие, за ельники дремучие», где «медведь-то — свекор-батюшка, а медведица — свекровушка-матушка».

Выпевала горемычная, слезно причитала:

Как во нашей во деревне
Три города славные:
Треть Москвы
Да треть Вологды,
Да уголок славного Питера.
Здесь соседки-то тетеньки
И соседи-то дяденьки...
Здесь поля хлебобродные:
Посеют торицею,
Нарастет-то пшеницею.

21 октября — «с Трифона и Пелагеи все холоднее».

Месяцесловы вместе с другими произведениями устного народного творчества, как былины, песни, сказки, выражали сокровенные думы и чаяния трудового народа. Осмысливая свое место в мире, крестьянин-пахарь ставил себя высоко. Если в сказках Иван, мужичий сын, становился в конце концов царем, то есть первым лицом в государстве, то в месяцесловах мужик чувствовал себя на равных с обожествляемыми церковью «угодниками», «великомучениками». Свят всякий труд на земле, — и потому-то рядом с хлебоборами-лапотниками в месяцесловах «Борис и Глеб сеют хлеб», а в курной избенке «Харитина ткет холстины!»

Впрочем, «угодников» запрягали в более обыденные работы: «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавички шьет».

Пора, пора шубу чинить, овчинные рукавицы шить, раз октябрь на исходе!

Не забыта в народных календарях даже грязь дорожная. Дожди, слякоть, и развезло же дороги — ни колесом по ним, ни полозом...

Кто виноват в распутице? Да Парасковья! (27 октября — день Парасковьи-грязнихи.).

В месяцесловах говорилось, однако: «Проскакивают погожие деньки и по осени».

Когда же, как не в октябре, после затяжного ненастья бывает столь чистое небо, столь ясны рассветы? Рощи раньше восхода светятся, продутые ветрами насквозь.

Месяц — это много или мало? Мало, мало — не заметишь в труде и заботах, как он проскочит... Нет, извините, месяц — это много! Вспомните, когда октябрь почин делал, стояла осень золотая, а сейчас уж серебряная, налицо перемены невозвратные...

Гулко, голо в осинниках. Золота было — из-под любого дерева мешком носи! Потускнели вороха, посмыл их, прибил дождь-водолей, теперь иней серебром прикрыл.

Березы, бывало, сыпали листья с каждой ветки пригоршнями. Нынче, считай, промотались: нечем больше от зимы откупаться.

Торопливей, чем листки календаря, обрываются последние сморщенные листья. Шуршат, падают, нанизываясь на синичный свист.

Иней. Серебряные стволы берез. В октябре, по присловью, «зима со бела гнезда сымается, к мужику в гости наряжается, дай-ка, я на Руси погощу, деревни-села навещу, пирогов поем».

В морозное утро вдруг услышишь, как треснет от холода в лесу набрякший сыростью сучок. Второй, третий... Еще и еще!

Пожаловала зима, стоит на пороге, с осенью спорит:

Осень говорит: озолочу!

А зима — как я захочу.

Осень говорит: поля в кафтан наряжу,

А зима — под холстину уложу,

Весна придет — покажет!

САМОЕ-САМОЕ



Дружно обнажаются липы. В Вологде обычно в первых числах октября. Поэтому дата 29 октября 1900 года и является памятной: самый поздний листопад у лип. Напротив, в 1921 году золотыми липы выстояли только до 6 сентября. Первый лед стеклит лужи обычно в октябре, но в 1955 году лужи не покрывались льдом до 2 ноября.

Снег в октябре — не диковина. Но то, что в 1946 году снежный покров в Нюксенице установился 13 октября, а в Вожеге еще на день раньше — это редкость.

Забереги на Кубенском озере появляются самое раннее 3 октября (1939 год), самое позднее — 29 ноября (1923 год).

Октябрь — последний у нас в году месяц со средней плюсовой температурой. Самым теплым он бывает в Вытегре, в Вологде же среднесуточная температура в октябре $+2,8^{\circ}$, на целый градус ниже.

КТО И ГДЕ ? КУДА И ОТКУДА ?



МЕДВЕДЬ — зажил, еле ворочается! Тогда как медведица с медвежатами присматривает место для

берлоги, иному старому космачу об этом заботы нет: ляжет в прошлогоднюю.

БАРСУК — постель не понравилась — выбросил. Собирает новую перину: где сухой травы нарвет, где листьев нагребет и волочит в нору.

ЛАСКА — поздравьте малютку — в зимней шубке щеголяет! В кладовых у нее мышей запасено — не переест! Все равно ловит: очень у ласки азартный характер.

БОБРЫ — семьи на поселениях дружно занимаются хозяйством: чинят плотины, утепляют норы, ремонтируют старые и строят новые хатки, ведут заготовки корма на зиму.

МЫШОВКА — родственница тушканчика, обитателя пустынь и сухих степей. Тушканчик — прыгун, мышовка — акробат: лазая по кустам, пользуется длинным-длинным хвостиком. Захолодает основательней — и мышовки забираются спать до весны под трухлявые пни в гнезда, набитые древесной трухой, травяной ветошью.

ПОЛЕВКА-ЭКОНОМКА — владелица овощного склада. Зверек обойдется и без запасов, но зима долгая — разве они помешают? Натакала в нору корневищ, клубеньков трав — когда и успела? Действительно, экономка! Склад чистый, просторный, содержится в большем порядке.

БЕЛКА — на стройке. Сколько бы ни было гнезд, все ей мало. Шерсть, пух и перья добывает в брошенных птичьих гнездах.

ЛЕТЯГА — на войне... Ага, воюет с дятлом, выживая птицу-работягу из дупла. Как знать, чья возьмет? Дятел, он как поддаст клювом — добавки не запросишь!

САПСАН — осенью у него нет постоянной прописки. Чрезвычайно редок этот сокол, много странствует. Как в пастухи нанимается, чтобы сопровождать утиные стаи на зимовку. Берет добычу в воздухе, при броске развивая баснословную скорость — до 400 километров в час. Зимой сапсанов встречают в Африке, Индии, Китае, даже в Японии. Но иногда белогрудый сокол остается на Вологодчине до глубоких холодов.

РЯБЧИК — пальцы лапок сейчас в кожистой зубчатой бахrome, какой не было летом. Зубчики нужны, чтобы зимой птицам держать

ся на скользких обледелых ветках.

БЕЛАЯ КУРОПАТКА — заранее до снега встала на лыжи. Ножки, пальцы так густо обросли жестким пером, ногти так удлинились и сплющились, что птица впрямь как лыжи обрела — по сугробам ходить, не проваливаясь!

СКВОРЦЫ — собираются на старт к отлету. За Вологдой в луговых кустарниках наблюдались стаи в 100—120 тысяч птиц.

СНЕЖНАЯ ПУНОЧКА — из тундр Заполярья, с островов Северного Ледовитого океана добралась до наших полей. Соединяясь с местными овсянками, летает по дорогам.

УШАСТАЯ СОВА — перекочевала к деревням, елку заменила столбом электропередач и по-прежнему неутомимо промышляет мышей. Склады устраивает в дуплах — на зиму запас.

ЛОСОСЬ — плывет в реки, на извечные нерестилища, метать икру. В Онежском озере кого из рыб на сон клонит, а у семги-лососа — весна.

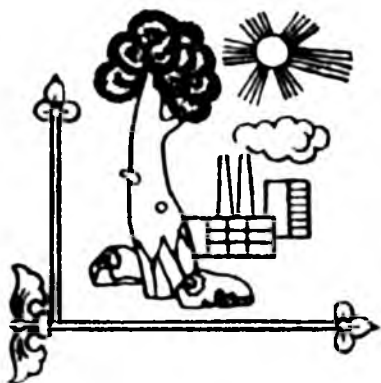
ПАЛИЯ — нет рыбы вкусней в пирог! В Онежском озере нерестится, как и повсеместно, раз в несколько лет. Икра крупная, количество ее невелико.

НЕЛЬМА — нерест проходит при +3—8° как в Кубенском озере, поблизости устьев рек Ельма и Кубена, так и в самих этих реках.

РЯПУШКА — мечет икру накануне ледостава. Что делать, любит прохладу, летом и то держится на самом дне. Есть ряпушка в Белом, Онежском озерах, в Рыбинском море.

Мой край родной

ТЕМНЫЙ МЫС



Берега низменные, изрыты норами ондатр, испещрены копанками — гнездами ласточек. То сужаются берега, приподнимаясь над водой, то раздвигаются в неоглядную даль заливных лугов.

Длинные стога сена. Ольховые куртины с шиповником и смородиной. Гривками осоки, камышей отмеченные озера...

Плывешь на лодке, стучит мотор, порождая эхо, и вдруг видишь: берега впереди неожиданно вздыбились, затемнели,

как грозовая туча. Минута за минутой пути под перестук мотора, и стали различаться громадные стволы вязов, узловатые сучья, кипящая на ветру листва.

Впечатляет картина богатырской мощи природы. Невольно появляется мысль: как, почему, откуда взялись эти деревья среди толпких торфяников и сырых луговин Присухонья? Неужели здешняя скудная почва способна породить таких величавых гигантов? Да не одиночек, — одиночки-вязы попадают у нас и в лесу, — а рощу, которая тянется и тянется вдоль берега!

Стиснуты вязы между рекой и болотистой сырью. Весной некоторые деревья стоят в паводковых лужах до июня.

Вкрапления вязов в засилье мхов, осоки, хвощей напоминают оазисы. С той разницей, что в пустынях сушь, песок; здесь же наоборот — разжиженные торфяники, топкая мокредь.

Ежевiku где под Вологодой найдешь? Под вязами белеет она цветами все лето. Редка у нас синица-лазорева, но в тенистых урочищах вязов обычна. При этом почему-то чаще попадают белые лазоревки, совсем уж редкие птички, прозываемые князьками. Пишно разнотравье, точно попал в Подмосковье, даже южнее... Оазис и есть! Могучие кроны деревьев задерживают как палящие лучи солнца, так и холодные, промозглые ветры, и в летний зной под вязами застойный воздух плотен, густ от влажных испарений, как в парнике.

Помимо берегов рек Вологда и Лежа, массивы вязов есть в устье Вексы. Это — Темный мыс, преддверие города, излюбленное место отдыха вологжан. Вязы Темного мыса достигают высоты 15—18 метров, толщина стволов более метра. Ивы, однако, еще выше — до 20 метров, почти с девятиэтажный дом!

Можно думать, в былые времена вязовые рощи встречались чаще.

На дне Мологи, Чагодоци, Внины есть залежи мореного дуба. Значит, шумели у нас могучие дубравы! Были и не уцелели. Дело скорей не в перемене климата, но в том, что встарь хищнически вырубались



Темный мыс — вязовый лес в преддверии Вологды.

прежде всего наиболее ценные породы: дубы, вязы, липы. Ведь прекрасно чувствуют себя дубравы к северо-востоку от Вологды, где они занимают урочище Дубняки по левому берегу речки Дубня (между Лежей и озером Костье). Как память о былом изобилии, красуются дубравы в Бабаевском районе, неподалеку от села Дубровка.

Осень...

Кажется, нигде нет таких ярких красок — оранжевых, лиловых, бурых, желтых, огненно-красных, как в вязовых лесах в пору листопада!

Осыпаются деревья, сеют листвой в воду, на пожухлую траву. С берега на берег перелетают дрозды.

Стучит мотор, холодная вода бьет в борта лодки. Поворот реки, другой поворот — заводскими трубами открылась вдали Вологда.

КОШЕЛЕК

ПРОТИВ обыкновения первой осень встретила ольха. Следом начали осыпаться другие деревья, недружно, вразнобой: иная береза насквозь сквозит, тогда как ее соседка поступилась листьями лишь снизу и фасонит, будто девчонка в короткой юбочке.

Как бы то ни было, чем дальше вглубь осени, тем больше обьявляется летних тайн. Глядишь, там и там птичьи гнезда:

на грибе-трутовике, как на фундаменте, покоится мазанка дрозда, на березе, в развилке сучьев, — пуховое лукошко зяблика, у подножия пня в полеглой траве — шалашик пеночки... Не попадались летом на глаза: трава птичьи поделки укрывала, листья прятали. Вышел я к сырому лугу, и снова гнезда вдоль опушки, прямо на высокой крупностебельной траве. Гнезда шариками, округлые, сплетены из тончайших травяных волокон, и гнезда кошельками тоже будто плетеные, вязаные. Думаете, чьи они, крошки? Птичьи? Вот и нет!

Водится в лугах нарядная мышь. Прелестное грациозное существо: глазки-бусинки, белый живот, шубка рыже-охристая или совершенно желтая, словно яичный желток. Мала мышка, зовут ее малюткой. Мышь-малютка среди прочих зверей — «мужичок с ноготок». Любители держат малюток дома, говорят — доставляют они массу удовольствий. Шустрый зверек и собою хорош, и чистоплотен, и легко приручается. Он и строит гнезда высоко в траве: то к стеблям припутана шаровидная плетенка, а то похожее на кошелек гнездо свисает с ветки наклонного стебля.

Жаль, летом они не попадались. Птиц держать дома, я думаю, все равно, что песни прятать в клетку, ну а мышь, наверное, ничего...

Пусты были на ольхах мазанки, у пенька шалашик. Раз осень, пусты в траве и шарики и кошельки.

Точно, ничего нет в малюткином гнезде. Щупай его и тереби — нет. Шарик пуст и кошелек, наверное, пуст. Стоп, наоборот, кошелек набит добром! Кажется, привалило мне счастье!

Осторожно расковырял я мышиное гнездо, и на ладонь высыпались семена и зерна. Э, мне такого даром не надо!

Так это же мне, а не мышке-малютке!

Осенью она покидает высотные домики ради подземных нор, скирд соломы и стогов. Частью летние постройки забрасываются, частью, как моя находка, служат складами провизии.

Что ж, все верно: ешь пироги, а хлеб береги.

Сберегла малютка про черный день щепотку семян да щепотку зерна, в кошелек на зиму спрятала — пригодится!

ВАЛЕНКИ

РАЗВЕСЕЛИЛИ рябчики: промозгло, слякотно, а они поют, хоть бы что!

Скромен, неприхотлив окрас хохлатых лесных петушков. Рябчик, как зеркало, отражает своим оперением седину уве-

шанных лишайниками елей, серые их стволы, замшелые сучья, таинственную глубину чащи, белесые, с поникшей травой отшельнические поляны в темной пестрине подмоченной дождями опавшей листвы. Он взял от сумрака северного леса его спокойные тона, их чистоту, свежесть и оживил мелодичной песенкой. Из всех лесных кур рябчик наравне с глухарем самый лесной — житель хвойников. Но голос у него тонкий, нежный, переливчатый, как свирель. Когда слушаешь рябчика, то кажется: тихо, проникновенно звучат сами мохнатые недра чащи — им рябчик отдал свой голос. И будто завеса приподнимается перед тобой: дик, угрюм облик тайги осенней, но и она тебе родная, и у нее есть особая жизнь, которую надо понять и постичь...

За одним рябеньким певуном я следил в бинокль. Продрог, ноги в сапогах застыли. Собрался было уходить восвояси, когда разглядел: рябчик петь поет, а сам в валенках!

Известно, у рябчиков, тетеревов, глухарей, куропаток перед зимой лапки густо, плотно опушаются — для тепла, конечно. «Мохны» отрастают, как говорят северяне-охотники.

Привстав, качался мой рябчик на ольховой ветке, и «мохны» серели издали, словно пуховые валеночки.

Поеживаясь, я передернул плечами от холода.

— Мне бы сейчас валенки, я б тоже запел!

ПРОБА

Дожди лили ледяные, снег перепадал, прижимали крепкие заморозки-утренники, как опять распогодилось. Стойкость осени придают стаи дроздов, с бесшабашной удалью пирующие на рябинах; муравьи, что нет-нет и высыплют в солнечный денек на крыши своих жилищ; комарики — любители потанцевать в затишьях. В первую очередь, естественно, стойки сами деревья: пора бы им осыпаться — никак не уступают. Осины, те похожи на витязей в медных чешуйчатых панцирях: окружили рощи стойким караулом — и не подступись. Черемухи — алые, словно только что из сечи кровавой, все в ранах, но пока что держатся. И березы, и ивняк стоят в золоте, в желтой меди...

Ходил сегодня по лесу и нашел в берязняке раскопы: не барсук землю рыл, не кабаны кормились — медведь брал пробы грунта.

Озабочен старый космач, берлогу приискивает. Известно, укладываются медведи на зиму по-разному. В зависимости,

у кого какой нор и характер. Один муравьище разворотит и посчитает — довольно: бокам мягко, а сверху одно небо,— ничего, не сахарный, не размокну! Другой же на диво берлогу ухорошит, мхом пышным пол, как ковром, выстелит, из сучьев, хвойных лап навес изладит — кто бы от этакой благодати отказался!

Есть и такие, что зиму проводят в специально вырытых пещерках, в земле. Комфорт полный: тепло, сухо и сквозняки не беспокоят. Лежи-полеживай — потянулся, зевнул и на другой бок перевернулся!

Жаль, весной талая вода-снеговица может затопить угретое жилье.

Поэтому и бродит мишка, ищет, где мелок песок — легче копать, где суше бугор — можно весной в охотку спать, о талой воде не помнить.

В роще после инея траву влагой, будто летней росой, обдало, от мокрых просыхающих стволов струился пар, ярко и сочно блестели оранжево-красные шарики ягод ландышей и выглянул из травы одинокий цветок анютины глазки, как подмигнул мне лукаво: полно-ка... Полно, разве о зиме печаль?

А подошел я к березке, за ствол тронул, она и пала к моим ногам, не утаив единого листика...

Пора все-таки, пора зиму ждать — прав бурый космач, если бродит и пробы грунта берет!

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

ИЩУ сходство между сосной и заводской трубой.

Сосна — в лесу.

Труба — в городе...

Пряма сосна, стройна и высотой заводской трубе ровня, красная, будто из кирпича сложена, хвоя вверху, как зеленый дымок. Дуй, ветер, лютуй — не отнести тебе зеленый дымок в сторону!

Впрочем, весь вопрос: какой ветер и откуда?

Ветер — труженик. Тучи в поднебесье тащит, взвалив на плечо. Скинет ношу — ух, поднимется заваруха! Заметет, запуржит метель, тоскливая, безвременная, октябрьская — шагай, путник, не ленись, на ходу грейся!

На земле забот ветру не меньше: опавшие листья сметать в ямы, к валежинам-колодинам под бок, укрывать их снежком, под гнетом. Не придави, не прибей гвоздями дождя —

чего доброго, лиственный хлам разлетится, поля и луга замусорит.

Свищет ветер осанный, дело ищет, нет ему покоя. И кренится сосна, парусит хвойной кроной.

Могуч статный, крепкий, как из красных кирпичей, -ствол. Узловатые корни прочно держатся за землю, нипочем ее не выпустят.

А вершина сосны — лысая.

Заболело, занедужило дерево. Сосна чахнет всегда с вершины.

Близко отсюда заводские трубы. Для ветра-то, считай, рядом. Коптят трубы. Пускают чад: черный и белый, красный и лиловый, бурый и рыжий. Дым разный. От химических предприятий свой, от электростанции, домен и коксовых батарей свой, на отличку свой.

Высоки заводские трубы, вверх тянутся: помочь им надо ветру ношу дыма и копоты взвалить на плечи. Берет ветер, тащит ношу в рощи белые, березовые, в ельники синие, в травы луговые.

Зеленый лист, былинка, игла хвойная эту гарь, копоть, едкий дым как примут от ветра, так и не пустят дальше, в себя впитают. Ветру взамен отдают они свое чистое, свежее дыхание: ну-ка подставь плечо, прими от белых березняков свежинку, от елок хвойный запашок, от лугов аромат медовый. Прими и неси — людям на радость, на доброе здоровье!

Да вот незадача: осенью трава луговая никнет, листва осенью осыпается, как отпуск берет.

Без отпуска одна хвоя, как нет отпуска заводским трубам — дымят день и ночь круглый год.

Тяжело приходится хвое без лиственной подмоги.

Занедужила сосна. Надорвалась от непосильной работы...

Между сосной и заводской трубой нашел я связь нерасторжимую: трубы дымят, а деревья стоят как заслон, щит зеленый от копоты и дыма.

ДЕНЬ ЛЕБЕДЯ

БЕСКОНЕЧНА лента ледяного крошева, снежных полей, встающих на дыбы сине-зеленых глыб, и движет ее, несет водополь — в гуле, стеклянных шорохах, под слепящим солнцем, под бой колоколов:

— Ко-гонг! Клип-понг!

Еще не видя, узнаешь лебедей: их голоса похожи на коло-

кольный звон. Бьют колокола. То ли зиму хоронят, то ли встречают весну...

Думалось, что без лебедей и весна не весна. Как и осень не осень. Поэтому всегда лебеди будут. Пролетными стаями и поодиночке, россыпью, в заоблачной выси и на темной воде озер.

Помню одно таежное озеро. Оно оповещало о себе издали светом, который окатывал поверх головы. Это большая вода, отражая небо, как зеркало, насылала свет далеко в недра хвойника, и был свет мягкий, обволакивающий и ясный-ясный после лесных потемок.

У пристани, мостков в два-три осклизлых бревна, покачивался плот, шестом поставленный на прикол. Середину озера отмечал остров: утло кособочилась на нем вросшая в землю хибара с нависшей над кровлей шатровой елкой, чьи нижние сучья обломаны на растопку очага.

Мокла в заливе пестрая листва. Теснились, выпирая из воды, тронутые ржавью блюдца кувшинок. Припахивало горько болотными травами, мхом, и как зыбился под ногой топкий берег, жутко засасывали взгляд провалы омутов! Как прекрасны были птицы, с их длинными, настороженно вытянутыми шеями, сгрудившиеся всей массой в живой плавучий сугроб!

Отчего я не задержался на озере? Чтобы ночью звезды шевелились в заводях, словно золотые жуки. Чтобы от жарко натопленной печи-каменки бревна, просыхая, благодарно пощелкивали. Главное, пожить, чтобы привыкли ко мне лебеди, мы просыпались бы вместе в заволаживающе мягком белом тумане, который с восходом солнца превращался в золотой и обдает влагой, убирая иней с осок и хвощей, растопляя прозрачный, как стекло, лед в заводях. Были бы мы близки — услышь дыхание, загляни друг другу в глаза!

Ушел, не остался: будут весны, не одна ждет впереди осень, когда трава в серебре, золотой туман, птицы белые на черной воде.

Пусть будут! Выстрелил я в воздух раз за разом из обеих стволов. Закричали птицы, рассыпался плавучий сугроб. В хлопанье крыльев стая снялась с воды. Так-то... так-то лучше: не зевайте, ружья на свете не перевелись!

Сколько охотники возили со взморья лебедей: на палубах катеров, в лодках-карбасах от битой птицы бело.

Это было давно, четверть века назад. Было это, когда я жил возле Белого моря, и думалось мне: не от того ли море наше Белое, что лебедей там на весенних и осенних пролетах — сплошь воду закрывают...

Нынешний год излачился из ряда вон холодный. Лета, считай, вологжане не видали. Правда, сентябрь поначалу выдался сух, тепел, однако со второй его половины, едва деревенский люд справился с жатвой, начались заморозки. Земля залубенела. По утрам, наползая из болот, стылая мгла топила реку Кубену, луга ее заливные и бор. Бор так по самые маковки, черневшие тут и там, будто острова.

Пожалуй, бор — одно званье, что бор. Лучшие сосны вырублены. На дороге, пересекающей прибрежный массив, только отпечатки лосиных копыт, а в сырой низине — скважины, оставленные клювами долгоносых вальдшнепов.

Колея, прорезанная колесами телег, заросла травой: деревни кругом обезлюдели, избы пусты.

Мы с Алексеевичем, приезжая на выходные из города, пропадали в правобережных лесах Кубены с рассвета дотемна. Он — с неразлучной спутницей лайкой Азой, цыганистой ласковой собачкой, я — один.

В тот раз также намечалась подобная вылазка. Но еще на подходе к реке мы убедились, что планам не сбыться.

Морозило. Марлей кутал землю снег. Кубена застыла у берегов. Ни на лодке переехать, ни пешком не пройти.

— Смотри, — вдруг шепнул Алексеевич.

Тотчас и я увидел — лебеды! До птицы около ста метров. Она плавала у кромки ледового припая, спокойно выгребая против течения.

Собачка сбежала на лед, чтобы напиться.

Лебедь загоготал протяжно. От воды он оторвался неожиданно легко и потянул над льдинами, над прогалинами с камнями и кипящей водой. Через минуту лебедь притормозил и, вновь затрубив, сел. Опять напротив пустой деревни — окна, двери заколочены крест-накрест досками.

— Не подранок, — сказал Алексеевич.

День был как день. Солнце, объявившись накоротке, скрылось в рыхлой облачности. Серая пасмурь не редела и не сгущалась, храня под пологом леса постоянные сумерки. Иногда сеял снег, мелкий, сухой.

«Что с лебедем? — нет-нет и думал я. — О чем он кричал? Кого звал?»

Стар он. У молодых лебедей клювы розовые и перо сероватое, отдает в желтизну. Он стар, он бел, клюв желтый с чернишкой. Старый лебедь от своих не отобьется, не бросит своих без причины. Ну, а если нет никого, он последний из стаи?

Редки стали эти птицы. Где теперь прежняя глушь, берестяной рай? Тундру и тайгу искрестили газопроводы, линии

электропередач. Поднялись в былом безлюдье города. Шахты, рудники, нефтепромыслы там, где некогда в тиши на воле множились сказочные гуси-лебеди.

Лебедя, кстати, не сочтешь нелюдимым. Легко уживается с человеком. Он не только терпит наше присутствие, но тянется к нам. Исстари на Руси приваживали к прудам лебедей. Кстати, прежде всего ради голоса — пленительного, трогającego потаенные струны души, которые, может быть, не тронуть уже ничем иным. Чудный, право, голос: вблизи — труба, издали — колокол.

Видишь лебедя — и цвет его оперения, и облик и осанка птицы незаметно для тебя начинает переходить в музыку. Есть, должно быть, все-таки связь между цветом и звуками! Вероятно, невозможно постичь ее иначе, как чувством: рассудку она не поддается.

В ушах моих крик лебедя, услышанный с полыньи стынущей в предзимье реки. Не могу, как прежде, отдаться лесу, шагая через валежник по хрусткой, присыпанной мелким снегом листве, по трескучим мерзлым прутьям. Не умолкает в ушах бой колокола печальный.

По ком звонишь ты, колокол?

Переводятся лебеди. Не остается для них места, вот и все. Берет за душу тревога: исчезающее на земле исчезает безвозвратно. Можно по чертежам, по догадкам восстановить любую, наверное, машину. Любое существо из мертвых не воскресить никогда! Как не приживить отрубленную ветвь...

У вас в квартире газ? И у нас — газ. По трубам его пригнали в кухню. Через распуганную медвежью глухомань, через опустевшие птичьи гнездовья.

Земля одна, для всех общий дом. Пора бы нам научиться ладить с соседями. Нас не было, а они были — шмель на розовой кашке, медведь у колодины, серая цапля в мелководном заливе. Они старше нас, земные старожилы, и люди в сравнении с каким-нибудь пауком, что ловит мух паутинкой, просто напросто новоселы. А старших ведь уважают, а? В тесноте им место уступают и все такое...

Верю могуществу людей. Мы достигнем звезд и неведомых планет, вступим в контакт с братьями по разуму. Так неужто землянам удастся легче понять чужих, если не удосуживаемся понять своих, кто живет бок о бок с нами, напрасно добываясь нашего внимания и участия?

Опадал заледенелый лист: с берез желтый, с рябин, с ив салый и зеленый, с ольх черный, опаленный стужей. Пестрел



Осень, на шиповнике оранжевые плоды...
И цветы! Бывает и так!

снег, закиданный листвой, и она позванивала, перекатываясь, едва задувал ветер.

Не наводит грусти листопад. Обнажаются деревья, значит, избавляются от обветшавшей рухляди. Покидая сучья, дряхлый лист уступает место почкам, из них весной появятся новые листья, чтобы в свой срок упасть и удобрить почву.

Я спустился к реке. Смотри-ка, у излучины целиком она застыла!

Лед был, как бутылочное стекло, и мороз успел украсить его шершавыми иглистыми цветами, как оконные стекла при зимних стойких холодах.

Мое внимание привлекло движение в кустах шиповника: двое ребятишек щипали ягоды.

— Для чего это вам? — подошел я.

Мальчики переглянулись. Старший, глядя исподлобья и куда-то вкось, молча улыбнулся широким с вывернутыми губами ртом. Младший мне больше понравился: взгляд его черных и очень бойких глаз был более дружелюбный.

— Зеленая аптека. Витамины, — поторопился он ответить.

— Сдаете?

— Ну.

— Вы с того берега, ребятки?

— Ну, — мотнул ушами шапки младший. — А вы с города? На машине? У нас тоже есть машина. Новенькая! — И добавил скороговоркой: — Стиральная, но это без разницы.

Наверное, они братья. Оба в нейлоновых стеганках. На обоих зимние шапки: у старшего с солдатской звездочкой, у младшего... Господи, нож от мясорубки! Силен малый! Воображаю. было у него реву, что звезды-то нет! Нож начищен и крепко-накрепко пришит суровыми нитками.

Старший по-прежнему улыбался, стараясь загородить резиновым, не меньше сорокового размера сапогом цинковую бадью, над которой, как мне показалось, дрожал теплый парок.

Они собирали ягоды, каждый себе в горсть, потом засовывали под платок, прикрывавший бадью. Нутро бадьи и точно испускало пар.

— Знали бы вы, ребята, кого я видел!

— Ну? — откликнулся младший и даже уши его ушанки насторожились.

— Лебедя! Здесь, неподалеку.

Ребята переглянулись и, наклонившись друг к другу, зашептали, заспорили, восклицая попеременно: «А я что говорил!» — «А я что говорил!»

— Ты все... ты-и! «Нако-о-рмим», — наступал на старшего младший. — Накормили... Он, может, картошку и не ест вовсе. Ты сам говорил — «водоплавающий». Разве картошка в реке растет? Ну? Его пугнуть надо-о! Колом по льдине — и лети пасись! То ведь... С городу на машинах как понаедут! — сверкнул он в мою сторону черными глазами. — У кого сенокос, жнитво, у них одно на уме — природа... Да они живо его на мушку!

Не впервые я встречаю неприязнь деревенских к нам, приезжим из города. И сдается мне, догадываюсь о мотивах спора.

— Лебедей стрелять запрещено, — сказал я, точно оправдываясь.

— Один вон укатил в багажнике, — сердито буркнул старший. Он больше не улыбался. — Штраф? Пятьдесят рублей — не деньги.

— А кто приваживал? — снова начал наступление младший. — Лебедь целое лето под Харовской прожил. Напротив ихнего пионерлагеря. Ну? Они его подкармливали... Ну? Осенью стая лебедей по Кубене летала, и все у деревень, все у деревень!

Не стал я дожидаться, чем закончат спор ребята: то ли вывалят лебедю ведро вареной картошки с шиповником ради витаминов, то ли, трахнув о лед колом, пугнут его, чтобы по-дальше улетал.

Было поздно, когда я подходил к избе. В небе высыпали звезды. Поискал я созвездие Лебедя — не нашел...

Неужто когда-нибудь настанет такое время, что о белых птицах с голосом, как звон колоколов, будет напоминать людям всего лишь ночное звездное небо?

ЗАГАДКИ ДЕДА- ВСЕВЕДА

У КОГО МЕШОК,
У КОГО НА ПЕНЬКЕ
ПИРОЖОК



Уж как сказывается сказка, разливается по печи кашка: сквозь кирпичи капнула, прямо на противень ляпнула! Испекся пирожок, да не про нас с тобой, дружок. Сдобный, пышный под березой на пеньке он лежит, жаром пышет — с грибами, с рябиной-ягодой. Кому ж он достанется? Тому, кто в подземных хорах живет, у кого черный нос, полосатый лоб...

Пускай моя бывальщина не на ветер молвится: где затейка из хвойного тайничка взята, там семь верст правды! Давайте вместе проверим. Садитесь рядом, потолкуем о прежних загадках ладком.

Итак, куда у перелетных птиц

дороги лежат в пору хмурую, расстанную? Кому, куда определено: водным — к воде, лесным — к лесу, луговым — к лугам. Только отнюдь не всем на юг! Гагары вплавь отправляются к северным морям. И чайкам без воды не зимовье. От нас летят чайки вдоль рек, чтобы к зиме попасть в Скандинавию, Англию, Исландию. Часть уток от нас сразу летит строго на Запад. В Сибирь, то есть поначалу на Восток, держат путь чечевичи, пеночки-таловки, синехвостки, овсянки-дубровники. Из Сибири они улетят в Индию, во Вьетнам. Есть путешественник, который и летит, и пешком идет. Это — коростель-дергач. Где можно, бежит он, поджав куцый хвост, мелькая голенастыми ножками, а летит по ночам — все в Африку, на тамошние луга-луговины. Во второй загадке-потешке говорилось о звере, самом меньшем в лесу, о крошечной буроzubке. У нее зубы крошатся, головка, все тельце перед холодами ссыхаются. Такие-то бывают чудеса! А наш общий знакомый, хвост одуванчиком — это заяц. Пушистая зимняя шерсть у него отрастает сперва сзади, оказывается косой к холодам словно бы в пуховых трусиках. Внука моего Васи диловинка касалась бабочек. Перелетными бывают не одни птицы. Некоторые бабочки, репейницы, например, громадными стаями устремляются в теплые края — Средиземное море им не помеха. Весной большими перелетами отличаются бабочки-белянки.

Ну, как, знатоки-следопыты, сошлись у вас концы с концами, все правильно решили? Если так, за новые затейки возьмемся. Где моя-то заветная котомочка?

Ох, летала сова — веселая голова; вот она летала, летала и села, да хвостиком повертела, да по сторонам посмотрела, и опять полетела. Видно, непоседа вроде нас с вами, знатоки-следопыты, мои помощники!

Тс-с, молчок! Ай-я-яй, кабы не пришлось мне обещание о новых затейках назад брать...

То не белы снега во чистом поле забелели, не сизый дым вверх поднимался, не серая утица выплывала — старушка моя напускалась на меня с упреками. Огурцов мы насолили, вареньев наготовили, отборный грибок в маринад закатан, брусники натолчен ведрный туес.

— Чего еще-то изволишь, сударушка? Чем недовольна, моя клюковка?

— Клюквы-то на зиму и нет!

Перечить хозяйке не резон. Корзину я в руки — и на болото. Ничего, что иду без котомочки: как что увижу, не утаю от вас, до последнего раздам — берите, в лесу тайников не убудет. Берите, берите — кто самым дорогим с другом делится, тот вовек не обеднеет.

Светлы мои рощи, стихли, как пригорюнились.

Осень поздняя. Караван гусей вдаль плывет с прощальным гоготом. В перелесках ветер уныло в голых прутьях свищет... Печалиться бы, а я рад. Рад тому, что кругом пусто и голо: птицы вернутся, трава воспрянет, дайте срок! Дайте земле отдохнуть! Неужто не заслужила?

Не богат мой хвойный уголок: ни роз в нем, ни вишенья. Зато чистотой — воздуха, воды — с кем только не делимся! Как знать, может, и вы от нашенских лесов дышите, нашу воду пьете?

То-то и оно, не быть, не жить нам без лесу-то!

А лесу не быть без птиц, без зверья...

Как вам-то живется-можетесь нынче, мои земляки? Думку эту в уме я держал, на болото шел, да к подземному городку попал.

Тут как вылец, то отдельные хоромы. Каждому своя спальня, вход с крылечка, а выходов... Не сосчитать!

У одного крылечка вижу чистый песок, моховой пенек, на пеньке пи-рожок.

Город чудный, пирожок того чудней: опят груды и сверху кисточка рябины! Я-то понял, что это припас для кладовки. Чей, — вот к вам вопрос. Кто на ветерке у норы рябину вялит, грибки сушит?

По ручью опять кладовки в норах. Гораздо они диковинней, чем пирожок на пенёчке. Кто-то вдоль ручья шарил, лягушек хватал. Прикусит, на зубок попробует и в норку сложит. И живы лягушки, и лапками не двинуть, от напасти не разбежаться... Интересно, чья это кладовка лягушек полна?

Понял я, что над запасами впрок звери хлопотали. Может, хоть птицам, которых в отлет не лететь, дома оставаться, сейчас беспечальное житье. Зима им тяжко давалась, весной гнезда вили, летом птенцов выводили, жизни лесной учили — поди, нынче отдыхают.

Только подумал так — сойка сломя голову летит, крыльями машет, по сучьям бьет.

— Погоди, бурый хохол, синее оплечье! — окликнул я ее. — Погоди, со мной поговори. Наверно, жизнь твоя теперь — ни забот, ни хлопот, полный курорт...

Села сойка на ветку, едва отдышалась.

— Курорт под елкой был, да закрылся. Скворцы, зарянки, дрозды лечились, сороки, вороны целебный душ летом принимали. Одной мне все недосуг о собственном здоровье позаботиться.

— Ты бы, — укорял я, — поменьше по чужим гнездам шастала...

— Напраслина! — кричит сойка. — Поинтересуюсь, как соседи живут — так всяк упрекнет, а своими птенчиками занимаюсь — никто и не заметит. Выкормила, выпестовала птенчиков, в свет выпустила. Кто скажет, что не хороши? Голос — их и слышно, перышки голубые — их и видно! А всего своими силами добилась. Не то, что некоторые... Вон на сосне жила птичья парочка: ворованным молоком да творогом деток кормили!

Я растерялся:

— Ворованным?

— Уж не хочешь ли сказать, — орет сойка, — что есть на свете птичье молоко?

Нечем мне крыть, молчу.

— То-то! — надывается сойка. — Одну меня хают! Сейчас желуди пишу, под мох прячу, на зиму запасая. Да ведь по зернышку... А тут залетная гостья откуда-то взялась. Берет, как под метлу метет, мешками желуди носит. Меня, бедную, обирают, меня же и упрекают, дурную славу по лесу пускают!

Улетела сойка. Ну и трещотка, ну и балаболка — оглох, прямо оглох от нее.

Ну, с кого спрос за потешки-загадки, с вас, знатоки, за ответы-угадки. Правда ли, что летом под елкой работает курорт и что это такое? Кто птенцов в гнезде молоком-творогом кормит и откуда его берет? Птица с мешком — правда ли это? Откуда такая взялась?

Птица с мешком, я — с корзинкой. Пора и на болото. Набрать-то ягод наберу, вот о чем забота — кабы наша клюковка не испортилась. Варенья из нее не варим, не толчем, не мочим, то как ягоду ухраниять? Велика, шибко велика корзина: с краями ее засыплю, то клюквы до будущей осени нам с бабкой не приесть.

Стою, в затылке чешу: зачем стараться, коли ягодки небось попортятся и все равно выбросим. Может, взять на киселек — и хватит?

Так что последняя вам загадка, знатоки-следопыты: есть ли у нас ягоды, которые по году не портятся?

Загану загадку, брошу через грядку, — кто ее поднимет, у того прибует. Нут-ка, дружной налетай! Кому загадки не достанется, скажи — из-под земли достану да каждого наделю!



ТЫНЕТ. Чем-чем, а стужей
никого не обделит ноябрь—
сентябrev внук, октябrev
сын, зиме родной батюшка!
Тем не менее, месяцесловы
уточняли: «Холоден, да
не зима». Пока что в нояб-
ре «зима с осенью борют-
ся».

Порой тепло, уютно в хвойных затишьях. Комары-толкун-
цы хороводят. Забыв, что зима на пороге, напрягутся и зазе-
деуют почки жимолости.

На озерах — была б полынья пошире! — утиный гвалт. Кряквы бок о бок с гоголями полощутся. Утка-морянка восклицает протяжно: «Аулей! Аулей!»

Тучи влекутся рыхлые, серые, как волчьим мехом подбитые.

Беспросветна изморозная мгла. Прордеет в путанице сучьев гроздь рябины и заслонится хвоей, потухнет, как искры, тлевшие на ветру.

Светает поздно, темнеет рано.

Чем было деревенскому люду занять долгие вечера? Лучина коптила, жужжало точеное веретенце, выстукивали коклюшки кружевниц.

Мало ли надо — на всю семью напрясть! С веретена хозяйка мужа с детьми одевала. Или кружева — какой ни есть, все-таки заработок, копейка не лишняя. И нет минуты покоя веретену в проворных пальцах, без усталости стучат-выстукивают каленные коклюшки. Дивные узоры, плетиво чудное пускали мастерицы. Может, от снега белого чистоту, может, от инея искручего узоры вологодские кружевницы брали для своих знаменитых изделий, которые знавали уже встарь в Париже, Лондоне, в краях заморских...

А вышивки из бабкиного береженого сундука? Хоть сейчас их на выставку! А прялки-пресенки расписные? Что за яркость красок, богатство фантазии!

Людей мастеровых окружал почет. В деревнях говаривали: «Не дорого изделие, дорого умение». «Не то дорого, что чистого золота, а то дорого, что доброго мастерства».

Чего бы ни касался подлинный умелец: будь это изба — по околendam резьба, будь это дуга — коня запрячь; будь обычная солонка — на стол ее ставить, — на всем оставлял печать таланта, высокого вкуса.

Смотришь теперь в музеях на работы народных умельцев прошлого — и видятся избы серые, где печь с тараканами, кросна ткацкие в углу, половики дерюжные на полу. Что говорить, жилось не сладко, но бедностью не выставлялись: что похуже — при себе, что покраще — на народ, добрым людям на загляденье!

Не только уезды, каждая волость в прошлом выделялась каким-нибудь ремеслом, дававшим крестьянам побочный заработок. Где изрядно ладили дровни и тарантасы, где избы по подряду плотничали, где валенки катали, где шубы-сибирки шили. Так в Кадникове в славе были умельцы из рога изготовлять гребни, под Великим Устюгом — горшечники, под Кирилловом — гармонники. Больше того, народные мастера

сумели выработать свой стиль: скажем, те же пресницы настолько отличаются между собой росписью, орнаментом, красками, всем обликом, что не спутаешь грязовецкое изделие с нюксенским либо вытегорским.

Ноябрь — «тепло морозу не указ». Чем же он был в месяцесловах отмечен, выделен?

4 ноября — важная веха деревенского быта в прошлом: возвращались домой мужики с отхожих промыслов, из батраков от местных богатеев. В кабалу гнали нужда, безземелье, так как лучшие земли были у бар, монастырей, за царской казной. «Отчего бедняк — бедняк? — спрашивалось в поговорке тех дней. — Оттого, что две семьи кормит», то есть свою и богача. В другом присловье слышалась горькая усмешка: «Как доехалось, парень, из Питера?» — «А дородно, дядя, ехалось — на липовой машине!» Стало быть, ушел в лаптях на заработки, в лаптях и вернулся.

14 ноября — встреча зимы, «курячьи именины». Девушкам поручалось добыть курицу. Понятно, у тех, кто всех жадней и богаче, у кого не убудет. То-то было смеху, веселья на посиделках: курица-именинница, быть может, одна, зато девушек, парней в избе собралось — лавок не хватает!

Несколько раньше «курячьих именин» стоял в месяцесловах «зинькин день» — 12 ноября, от предков завещанный синичий праздник.

Кормушку сколотить и вывесить, крох накрошить, горсть подсолнухов сыпнуть — кого затруднит? Приучил птичек пользоваться кормушкой, значит и себе доставил радость, и возродил добрый обычай русской старины. Сейчас, не откладывая на потом, надо выставлять птичьи домики в садах, в парках, близ жилья: эти дуплянки, скворешни гораздо охотнее заселяются весной нашими крылатыми друзьями.

Все ж почему синицам честь такая? Главное, отчего им праздник отводился именно в ноябре? Что синицы полезны, человеку друзья, подмечено издавна. Поддержать друга в трудную для него минуту — долг совести. Синицам приходится тяжелее всех. Едва ли половина их выживает до весны: многие-многие гибнут с голоду. Потому-то синицы, предвидя беду, прибываются осенью к деревьям, городам, ищут у людей помощи.

Грохочут грузовики, улицы шумны, а из сквера, с бульваров сквозь городскую сутолоку слышится птичье треньканье. Щебечут синицы, как напоминают:

— Зинькин-день! Зинькин-день!

Со второй половины ноября все жестче, все суровой погода.

20 ноября — «Федот лед на воду ведет». Замерзают мелкие речки, ручьи.

22 ноября — «с Матрены зима встает на ноги».

28 ноября — «Гурьян на пегой кобыле».

По образному выражению месяцесловов, зима приезжает на пегой кобыле. Кует зимушка-зима седые морозы, стелет по рекам-озерам ледяные мосты, сыплет из правого рукава снег, из левого — иней. Следом за нею бегут метели, над мужиками потешаются, бабам в уши дуют, велют печи затапливать пожарче!

Кобыла однако пегая: стужа перемежается в ноябре с оттепелями, которые об эту пору назывались «грязями».

Вот и 29 ноября — «на Матвея зима потеет!»

Ясное дело, потеет, раз в белой шубе заявилась, на ноябрь понадеялась!

Погоди, пригодится шуба: осень кончается, зима начинается.

САМОЕ-САМОЕ



Буря в 10 баллов — из сильнейших для наших широт — разразилась в Вологде в 1940 году. Многие дома лишились крыш, на десятки деревьев поредело сады и парки.

Самый холодный ноябрь выпал на долю В. Устюга в 1956 году: среднемесячная температура приблизилась к январской, составил — 11°!

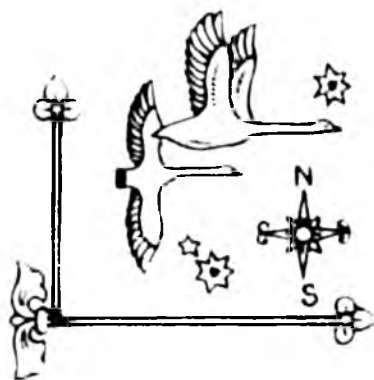
Самый теплый за последние годы ноябрь пришелся на 1977 год. После ледостава дважды вскрывалась р. Кубена, другие реки, озера. Одновременно этот ноябрь вошел в летопись

природы как наиболее «мочливый»: по области выпало 2—3 месячные нормы осадков...

Ледостав. На озере Кубенском ранний — 15 октября (1946 год), поздний — 11 ноября (1938 год). На Сухоне у Тотьмы самый ранний — 22 октября (1920 год). Поздний — 31 декабря, что бывало неоднократно. Лишь к Новому году Сухона замерзала в 1923, 1928 годах и в ряде 60—70 годов.

Река Вологда, в среднем, по многолетним наблюдениям, покрывается льдом в начале второй декады ноября, спустя неделю обычно устанавливается устойчивый снежный покров.

КТО И ГДЕ ? КУДА И ОТКУДА ?



ВОЛК — наконец оделся по-зимнему. Волчьи семьи — до 10—12 зверей — расширяют район поиска добычи, смыкают его в кольцо. Одни и те же места посещаются почти регулярно: побережья больших озер, болота, скотомогильники, мелколесье в луговых низинах, где скапливаются зайцы, лоси. Если повезет, то волк зараз съедает до полпуда мяса; нет удачи — голодает неделями.

ЛИСИЦА — есть поблизости железная дорога, линии электропередач — кумушка их навещает. Роемся в выброшенном из вагонов мусоре, объедках, подбирает разбившихся о провода птиц. Азартно, забывая об осторожности, ловит в полях мышей.

РОСОМАХА — участок, занимаемый этим зверем, иногда достигает тысячи квадратных километров. Ночей не хватает — днем рыщет по глухотам.

КУНИЦА — на «гряде», то есть поиск ведет по деревьям. Спускается наземь, чтобы разрыть мышьи норки. В трухлявых пнях ищет жуков. Не прочь погонять зайцев. Если вылазка удалась, сытая куница

спит сутками, словно силы к зиме копнит.

ВЫДРА — так как после ледостава в воду попадать сложнее, этот хвостатый рыболов предпочитает ручьи и реки с полынками, бурными, долго не замерзающими перекатами. В сутки на прокорм выдре нужно около килограмма рыбы.

БАРСУК — просить не будет! Но если осень длится теплая, барсук выходит из норы. Жирный, толстый, по снегу катается, шубу чистит. **ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА** — спит по-семейному в одной норе, так как щенята при матке остаются до весны.

ЛОСИ — группами подвигаются ближе к зимним стойбищам: в лиственное мелколесье, на вырубке, где поднялся хвойный молодняк. Копыта широкие, раздвигаясь, снабжены перепонкой, и лоси проходят по незамерзшим болотам, легко одолевают топи, куда никому нет ходу. В сутки взрослый лось потребляет 12—15 килограммов веточного корма, хвои.

КАБАНЫ — кормятся по полям, в болотах, заросших камышами, осокой, в низинах с долго не промерзающей почвой. На сутки кабану необходимо от 7 до 17 килограммов корма.

ГЛУХАРЬ — в глуши, в сосновых борах. Ночует по деревьям в сучьях. Холодно, да полуметровый пласт нужен, чтобы глухарю в снег зарыться. Где есть дубы, он с удовольствием клюет желуди.

КЛЕСТЫ — на белку батрачат. Которую шишку уронят, та и достанется белке — для весны запас, когда снег сойдет.

ЧЕЧЕТКА — по тундре была лебедю соседка, а осталась в тайге зимовать. «Чет-нечет», — вытренькивает птичка, привешиваясь к березо-

вым сережкам вниз головой. «Чет-нечет» — о чем гадают? Может, счет снежным дням повела?

БЕЛАЯ ТРЯСОГУЗКА — нет точного адреса: встречаются птичку в Скандинавии, на Кипре, в Африке...

ПЕНОЧКА-ТАЛОВКА — на зимовке в Малайе. Неблизок был ее путь откуда-нибудь из Прионежья! Весенние и осенние перелеты крошечных птичек достигают 12 тысяч километров.

ЗАРЯНКА — в Северной Африке, под пальмами, ведет себя, как дома под елкой. Заняла участок, разогнав соседей, местных птах, и поет, заливаясь: никто близко не подлетай — задаст задира выволочку!

ЖАВОРОНОК — может быть, остался зимовать на Памире? Высота 3—4 километра, холод, ветры, но корм есть, есть вода напиться — отчего ж не пожить?

Мой край родной

ВЕПСАН МА

Избы бревенчатые, золото хлебов. На речке женщины обряжают белье: нагрузив деревянную ступу, толкут его палками-пестами. Где полощут, где толкут, — действительно, что ни деревня, то обычай! К тому же странно, что часть изб стоит к дороге боком. Из раскрытого окна доносится колыбельная. Может, бабка укачивает внука? Поет на непонятном наречии, печально и протяжно...

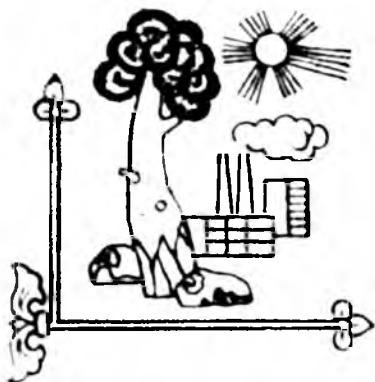
Вот ты какая — Вепсан ма!

Антенны над тесовыми крышами. Лес кольцом. Стучат песты, и бабка укачивает внука...

О чем поешь, старая? Не сказанье ли о земле своей древней?

Во тьме прошлого теряется история вепсов, потомков Веси, угро-финского племени, некогда многочисленного и влиятельного. Ранние упоминания о Веси в печатных источниках восходят к VI веку. Древний летописец Нестор называл центром Веси земли Белозерья. Наравне со славянами, мерью, кривичами, мордвой Весь вошла в союз племен, заложивший основы русской государственности. Разделяя труды и заботы славян, Весь не обособливалась, охотно перенимала их хозяйственные навыки, бытовые обычаи. Есть сведения, что воины Веси участвовали в войнах, раздвигавших пределы Руси, в том числе еще в походах Олега против кочевников и к далекому Царь-граду.

На старорусском языке слово «весь» означает деревню, селение. Возможно, тем самым отмечено, как рано племя перешло от кочевого к оседлому образу жизни. Из раскопок курганов, городищ известно: кроме рыболовства, охоты, племя издавна занималось земледелием, было искусно в ремеслах.



О широкой расселенности Веси, ее влиянии поныне свидетельствуют географические карты: Череповец — «Черепо-весь», Весьегонск — «Весь-Егонская»; Воже — «вожг», мелкая рыба...

Позднее Веси стали именовать чудью.

Легендами окружена Биармия, чудские поселения в устье Северной Двины. По преданиям старины глубокой, биармийцы вели торг пушниной, рыбой, воском, медом. Говорят, в языческом капище близ Холмогор стоял идол Йомала, отлитый из чистого золота в знак богатства и могущества Биармии. Зарясь на чужое добро, варяжские викинги, «короли открытых морей», неоднократно совершали кровавые набеги, но чудь в союзе со славянами дала насильникам достойный отпор — Белое море осталось за Русью.

Век сменялся веком... И вдруг весь исчезла! Точней, ее потеряли. Ученые XVIII — начала XIX веков сочли: она растворилась среди русских, подобно мери или муроме, другим древним племенам.

Однако весь уцелела — в вепсах. Жители таежных дебрей, они сберегли песни и предания племени, а главное, нетронуто свой язык. Оказалось, потомки веси со своим укладом, национальной самостоятельностью живут около Онежского и Белого озер, как и их предки.

Вепсан ма — это лесные чащи, реки с самой чистой водой. В традициях вепсов чтить природу, как корень всего сущего на земле. Зверя, птицу обидеть — себя обездолить! В реке искупаться, и то попроси у ней разрешения! Поклонись полю — даст урожай!

Во время Великой Отечественной войны Вепсан ма очутилась во фронтовой или прифронтовой полосе. Вместе с русскими вепсы отважно сражались, создавали партизанские отряды, давая клятву не посрамить славы предков, отстоять родные края. Клятву вепскую, древнюю — водой. Ведь для вепса вода свята.

Обелиски, обелиски — там, где проходил фронт.

Рокочет в полях трактор. Дребезжит бортами грузовик, таща за колесами облако пыли по проселку...

Поет бабка, качая колыбель внука. Сказ ведет о народе своем, за которым четырнадцать веков труда и войн за право жить на своей земле, говорить на своем языке...

Нельзя понять полно вологодский край, не узнав неповторимый уголок его — страну вепсов.

ЧЕРНОМОР

СМОТРЕТЬ, как опадает последняя листва, так же горько, как горек дым потухающего костра.

Три березы на уединенной поляне. Одна молочно-белая, сучья на ней белые — все, кроме самых тонких, собранных в висячие пряди. Жмутся к ее стволу две березки, юные, как у мамы дочки. Смуглые они, березовы дочки, будто запекло их солнцем. Шелушится с коры береста — загорели так уж загорели! А мама белая, не успела позагорать, некогда ей было, конечно.

По окраине поляны, от дерева к дереву скачет белка. Она тащит в зубах сивый клоч лишайника, каких много на старых елях. Цепляясь за сучья, развевается сивая прядь —

седая, пышная, точно борода. Пышная, холеная, ах, и борода — сказочному Черномору на зависть!

Лист последний осыпается.

Белка мох носит: спешит утеплить гнездо...

СИНИЧЬИ КЛАДОВКИ

С ОМКНУТЫМ строем тесно стоят сосны с медными стволами, прямыми, как туго натянутые струны. Ударить по этим струнам — какой мощный аккорд потряс бы стылый воздух, какую музыку, дивную, величавую, исторгнули бы мохнатые недра старого бора! И была бы эта музыка печальна, тоска прозвучала бы в ней по ушедшему лету.

Серебряной улейкой просверкнул в струях переката узкий листок, упавший с ивы.

Да нет, не играют, пуская по воде круги, быстрые улейки: залегли в глубокие ямы. И язи скопились по омутам, и лещи, и пескари. Затаились перед скорыми стужами.

Холодно, слякотно в обнаженных лесах.

Если кому поздняя осень не безвременье, то синицам. Стайками перелетают по просекам, опушкам леса, на горях. Свист, щебет, веселый гомон... Ужели, думаешь, их зима не страшит?

Страшит, как же! Потому и заняты сейчас... заготовками. Запасают кое-что впрок. Бойкая, с воинственным хохолком на голове синица-гренадерка прячет гусениц, коконы, яички бабочек. Запас, он карман не тянет. Зимой, в лютую стужу и бескормицу, гренадерка и крохотному яичку будет рада. Многие синицы подбирают с земли осыпавшиеся семена елей, сосен и носят в щели, под кору деревьев.

Осень — такое уж времечко: укуси пирожка да и в запашку!

В ГОСТЯХ

Л ИЛО и лило, снег расплывался. Глухарь продавливал его до земли. Мочить крылья птице неповадно, шагал глухарь пешочком. Воображаю, добер петух: борода черная, белый клюв, широкие красные брови, как спелой брусникой подведены. Солиден, основателен. Грудь отливает зеленью, точно дорогой шелк, по животу пестрины. Ни дать ни взять ходок в жилетке праздничной, рубаха навыпуск, бурые крылья — армяк внакидку.

Шествовал глухарь серединой дороги, через березовую рощу, сквозь берестяную ее глухомань. Ручей одолел по жердочке, грязь и лужи обходил, ног не пачкал.

Степенный, куда путь-то держишь, рубаха с горохом, армяк внакидку, полы до полу?

Темнеют следы на снегу. Дробит дождь по лужам.

Хоть бы синица пискнула, соек и тех не видно: все кто куда попрятался от дождя.

Тянутся птичьи крестики, конца нет.

Снег разжижнул в кисель. Ни нитки на мне сухой...

Вдруг след глухаря свернул с дороги в сторону бугров. Я огляделся и ахнул. Куда тебя понесло? Вернись, борода!

Бугры — остатки угольных ям. В этом лесу встарь промышляли углежоги. Древесный уголь пользовался широким спросом. На угле работали кузнецы, с его помощью выплавляли даже металл — из самородного железяка, добываемого в болотах. Ямы, где жгли уголь, обрушились, заросли громадными деревьями. Грунт — земля вперемешку с золой, копать легко, поэтому за десятки лет возникло множество звериных логовищ. Есть норы волчьи, енотовидных собак, больше же барсучьих и особенно лисьих.

К лисицам и приударил бегом глухарь. Следы не обманывают: рысцой надавал.

Можно торопиться, когда не знаешь, что тебя ждет...

Нет, знал, ведал ходок: точнехонько выбрел он по снегу к средней в ряду яме и, бороздя хвостом, не мешкая скатился вниз.

На дне ямы мешанина давнишних лисьих и свежих птичьих следов. Пушится на склонах вытаявшая зелень: сберегла яма траву от инеев, от леденящих ветров зазимка. Среди корневищ зияют отверстия лазов под землю, в одном колеблется рыжая, тонкая, как паутина, шерстинка.

Верьте не верьте, а приходил глухарь сюда ради травы. Обожает, страсть его — зелень. Головой готов рискнуть, чтобы досталась закуска посочней. Если осенью он на листья осин напускается, словно к теще попал на блины, то уж травку ему только подавай.

И щипал травку глухарь, и землю у нор, ногами по-куриному разгребая, переворошил — это перед самым-то лисьим носом!..

Чего ж рыжая зевала?

Сырость ей не по нутру. Чего хорошего шубку мочить? В оттепели, в затяжное слякотное ненастье лиса отлеживается,

забравшись куда ни есть поукомпнее. Возле ям недаром следы лисьи одни старые, расплывшиеся по талому снегу.

Вероятней всего, хозяйка логовища отсутствовала, когда гость пожаловал нежданный.

Бывает, ей-ей, случается — лучше по гостям ходить, когда хозяев нет дома никого!

НА ЛЕДНИКЕ

КАК узнала Оля, что хвост зайца охотниками зовется «цветком», вынь ей да положи: хочу! Пообещал ей с легким сердцем. Маленькая, думал, забудет.

Не тут-то было. Вернусь из лесу, она с визгом несется навстречу, подпрыгивая, обнимает колени. Рюкзак переверосит вверх дном, карманы обыщет — и вырвется криком обида:

— Папа, а цветок?

Осень шла затяжная. Снегу пора быть, морозам — лили дожди. Хмуро, тускло в лесу. Ни зорьки утром, ни заката вечером, укоротились дни, как обрубленные.

Однажды ночью выяснило. Погода установилась погоя. Что ж, пора мне и слово держать. Чуть свет я был далеко за городом.

План сложился простой. Зайцы побелели, переодевшись по-зимнему, но снега нет, стоял, и косые спасаются под елками. Проточится бячок сквозь нижние, опущенные до полу сучья, и лежит себе, пристроив уши вдоль спины. Он видит, он слышит, а ты попробуй угляди его, раз елка пустила этот пуховый комок под свое крылышко! Тепло ему, сверху не мочит. В самом деле благодать, как цыпленку у наседки под крылом!

Иду по тропе. Сухо — излишек влаги выморожен. Тепло на диво. Того и жди — увидишь, как играют комарики в столбушку. Прогалины в хвойных теснинах залиты солнцем и напоминают колодцы. Белку видел: что-то носила в дупло, раз за разом спускаясь наземь во мхи. Представилась она мне хозяйкой-молодаикой, бегающей к колодцу черпнуть солнышка полные ведерышки...

Всего я навиделся, елок разных — густых, тощих и так себе, серединка на половинку. А заяц вот не попался. И дело к вечеру, на автобус уж надо.

Просека вывела к полям. Продолжила ее дорога, разъезженная тракторами. Местами в глубине колеи уцелел снег. Синел лед, затененный сухой метельчатой травкой.

Провожать меня взялись сороки: стрекотали без умолку и перелетали сзади по изгороди.

Была надежда: стога в полях обшарю. Нет стогов, вывезена, убрана солома с полей.

Дорога спустилась в лошину. Обдало устоявшимся холодом. Ночью, видимо, опять будет крепко морозить.

Теперь островки снега встречались чаще. Вдруг ближний снежный клочок в колее шевельнулся, прынул вверх и на прыжке разом вырос в зайца. Как залились стрекотом сороки, как припустил белый, выставив уши словно рожки!

Колея узкая. Чудо, что заяц не спотыкается, скачет — хвост пушится одуванчиком. Кажется, дунь — полетят пушинки. Но поди дунь — вон как он улепетывает...

— Эй, рога обломаешь! — засмеялся я.

И вспомнил о своем обещании. Что я Оле скажу? Как что — правду. О колодце света в тесном ельнике, откуда белка черпала солнышко. О сороках, провожавших меня через поле к шоссе на автобус, когда жар-птицей горела вечерняя заря. О том, что хвост зайца-беляка впрямь цветок. Похож, очень похож пуховый хвостик зайца на одуванчик. Но у живого зайца, вот в чем дело...

На месте заячьей лежки ко льду прилипли шелковые пушинки. Плут-то каков, а? Искал его у елок под крылышком, а ему сегодня в шубейке-то зимней и без крылышка хвойного было жарко: на ледник плут забрался, клочком снега прикинулся!

ГРЕБЕШОК

«Что ни пень, что ни колода, кабану там свобода», — бурая туша, как танк, таранила бурелом. Небрежный кивок головой, и пала ольшина, срезанная клыком. Поддетый плечом, дрогнул пень-выворотень, высвобождая зверю проход. Затрещали впаянные в глину корневища, опрокинулся выворотень.

Горб в щетине, зеленым огнем налиты зрачки, — придержал кабан шаг, вскинул вверх узкое рыло. Ноздри с хрипом цедили холодный воздух. Клыки лязгали, издавая звук ножа на точиле.

Нет равных кабану-секачу по силам. Он секач, потому что способен наносить клыками секущие молниеносные удары. Одинцом старого вепря зовут, так как, угрюмый, раздражительный, держится он в лесу одиночкой. Танк, живой

танк — грудь его, бока покрыты под кожей хрящом, как броней!

Померещилось. Никого посторонних в угодьях. И опали мохнатые уши, беспечно закрутился хвост. Теперь кабан двинулся по ручью на удивление бесшумно: берегся, как всякий таежный житель.

Среди древесного лома ручей разливался на плесы: чуть-чуть воды, остальное грязь. Ввалился кабан в топь с ходу, забултыхался, перебалтывая месиво тины, торфяной жижи и битого льда.

Все прошлое лето заливы ручья служили ему купальной: целыми днями блаженствовал одинок, по уши зарывшись в грязь. После ванн чесался. Елки вокруг начисто ободраны, подножья как отполированы. Просмолилась шкура кабана, и корка так плотна — сталь ее не возьмет.

А ему мало... Утолщился непомерно, хрящ осенью отвердел — мало секачу, мало!

Одно рыло сухое осталось, когда он выволокся из трясины. Усердно чесал о еловый комель излюбленный свой «гребешок», будто нарочно втирал грязь, для крепости цементируя летние отложения смолы.

Ушел...

Подстывало. Смерзались космы хвои. Лед мостился, умиряя говорливые перекаты ручья.

Через прогалину, с оглядкой на лунные тени, заяц прокатил как на цыпочках. Пискнула где-то озябшая птичка.

Тс-с, тише! Молчите, не будите кабана!

Спит кабан, сил набирается. Подоспело время соединиться одинцу с кабаньим гуртом. Скоро бои, безжалостные и беспощадные, где за поражения платят кровью, часто и жизнью. Кому быть первым? Выдастся суровая зима, морозы, многоснежье — кому возглавлять гурт, охранять и спасать в непогоду? Готов секач принять на себя тяжелое бремя вожака: посмотри вон — весь в грязи «гребешок»...

НА ЗИМОВКУ

КОРА истрескалась, кое-как залеплена мхом, по стволу желтеют пятна лишайников, — стоит осина, сквозь сучья, сквозз обрывки дряблых листьев сеется снег.

Внутри дерева стукотня, внизу на снегу щепы, гнилушки.

Ожидалось, на приближение моих шагов дятел вылетит, хотя бы высунется из любопытства. А он мне хвост показал.

Перемаранный в смоле хвост замызган, как веник-голик. Понимаю, понимаю: хвост и короток, да мешает! Изрядно скопилось под деревом строительного мусора, плотнику тем не менее тесно. Чтобы удобнее было тесать дупло, он вынужден выставлять хвост наружу. Делом работник поглощен, не поинтересовался даже, кто там снегом скрипит.

А осина — ничего, заживется дятлу, словно в крепости...

То есть как это — заживется? Выходит, и по снегу, осеably у дятлов бывают новоселья? Не знал я... Впервые такое вижу!

Утром был город. Шум и лязг. Людская толчея. Небо, опоясанное заводскими дымами.

Сейчас обнимает меня лесная тишина, пахнет снегом, кругом шорох снега, который сеется, сыплет на мхи, палые листья, на щепу и гнилушки, скрывая их, как весной их прячет отрастающая трава.

Став доступнее, лес не стал открытым и, думаю, не для меня одного эти щепки, древесная труха — новость. Тот ключик, каким открывается лес с его маленькими и большими тайнами...

Прекратилась в дупле стукотня. Дятел по щепотке, — больше не получалось, — рывками, торопливо выбрасывал строительный хлам.

При падении вниз осколки древесины перемешивало со снегом, пыль трухи относило в сторону.

ДРУЗЬЯ

Ветер в полях. Пронзительный, изматывающий. Снег лепит в лицо.

Брезентовая куртка обледенела, снег лепит, зги не видать. Прикрываюсь локтем и бреду из поля в поле. Из поля в поле сквозь злую снежную круговерть. Проступит узкой полосой впереди что-то темное, расплывчатое — лес? Наконец-то! А дойду — кусты ивняка, скрюченные ольхи, березы и жидкий ельник. Это межа, вот что такое. Старая и заросшая межа. Груды камней, мешавшие пахоте и собранные с поля. Я карабкаюсь через них, в ивняке оступаюсь в припорошенные снегом лужи.

Пустяки, след бы только не потерять!

Потеряю. Непременно потеряю, — ветер в полях, и снег метет...

Медвежий след взят мной на озими. Ночью медведь кормился зеленью, изрядно помял загоны.

Направляясь отдыхать на дневку, медведь обычно запутывает след, совсем, как трусишка-заяц: за куст прыгнет, этак-кий-то верзила, петель накрутит, дважды или трижды пройдя по одному и тому же месту, и опять подальше прыгнет в попытке от собственных следов отделаться. Словом, изощряется, ловчит.

Но этот был какой-то беспечный: топал себе, топал напрямик, единственно заботясь о том, чтобы его прикрывали кусты, складки местности, груды камней.

Мало того, встречалась дорога, — а дороги в отпечатках рубчатых шин тракторов и грузовиков попадают часто, — медведь топал по ней, выходя к задворкам деревень, на перекрестке дорог выбирал нужную себе и шагал дальше. Ага, опять дорогой: в полях почва раскисла, вязнут лапы — то ли дело идти по наезженному проселку.

Снег. Ветер. На ходу зябну в резиновых сапогах. Вот бы мне медвежью шубу!

А следы медведя исчезли под снегом. И как назло, ветер начал стихать. И метель унялась.

Блеснуло солнце, лохматые тучи, не поредевшие от того, что вывалили столько снега, грузно отползали на восток — за поля, за цепочки изб на буграх.

Если след потерян, не все ли равно, куда брести? Все же подамся куда ни на есть подальше от деревень, авось попаду в лес. В здешней полевой стороне найти лес — задача, оказывается, сложная.

Мокро, как стеклом облитые, заблестели березы. Даже хвоя елок в широком перелеске обрела призрачную прозрачность, отсвечивая на солнце. Синицы подняли возню, обрадованные переменой погоды, и где-то гулко забарабанил дятел.

В перелеске я вышел на дорогу, в несколько слоев выстланную палой листвой, и зашагал по ней, стараясь, однако, не уклоняться от направления, которое избрал медведь, покидая озимь.

Поля сменились лугами-пожнями. Сенокос давно миновал, между тем пожни до сих пор хранили примятые колеи косилок: их не успело заровнять снегом.

Не устроить ли привал? Спозаранок на ногах. Издали любовал высокую осанистую елку с краю луга и направился к ней устало и неторопливо.

У елок, выросших на просторе, сучья начинаются низко от земли, хвоя гуще, чем у лесных, поднявшихся в тесноте, и не пропускает влаги. Всегда под сучьями отыщется укромный, похожий на пещеру, уголок.

Костерик разживлю, обсушусь и чаю напьюсь...

«Чис-чис», — раздалось от елки. — «Та-а...та!»

Пригляделся: вертелись на мохнатых сучьях синицы-гайки. Они то вспархивали на ветки, то исчезали в темени хвои. Несомненно, что-то и привлекало и отпугивало птичек...

Шершавый ствол, подернутый лишайником, отливал зеленовато-красным цветом, как тронутая окисью медь.

Метельчатая трава. Сучья. Муравейник. Сядут на муравейник синицы, повертятся, мелькая куцыми хвостиками — и пых-порх на ветки. Пищат, высвечивая белыми пухлыми щечками: «Чис... чис! Та-а! Та-а!» Что за базар у них, право!

Закурить я собрался, как вдруг то, что я принимал за муравейник, шевельнулось..

«Чис-чис», — завизжали синицы, кидаясь вниз. Синицы — на медведя! А я от медведя — за стол!

Медведь лежал, положив морду на лапу, а другой закрываясь от солнца, бьющего в щели хвои. Он спал пригревшись в уютной, образованной нависшими сучьями пещере. Лоснящийся темный мех блестел, переходя на кончиках шерстинок в буроватую рыжину. Лобастая голова была светлая и выглядела золотой.

Копошились синицы, исчезая в черно-бурой шерсти белощекиими головками, и, когда медведь шевелился спросонок, они в притворном страхе брызгали на еловые сучья.

Страх птичек был притворным, это я понимал. Лесные синицы-гайки медведя не боятся. Если хотите, у них с ним дружба. Дружба с обеих сторон не бескорыстная. Бродит медведь по лесам, по болотам — то-то всякой дряни к его шкуре налипнет, мух, козявок, пауков запутается в шерсти. Потому и получается: медведь на отдых — синицы обедать на медведя!

Ворочался он, толстый, гора горой. Подставлял бока белощекиим своим подружкам. И неряха же Михайло Иваныч! Не шуба у него — ковер дорогой, но ухода никакого: сплошь пышные меха в мусоре да репьях!

Гайки пытались растереть колючие головки репьев, ведь в них на зиму прячутся личинки и червячки, сутились и пищали наперебой: «Та-а! Та-а!..»

Похоже, что белощекие подружки просто баловались. Медведь спускал им проказы, развалившись под елкой. Густая шерсть лоснилась. Вздрагивали мохнатые уши (что это — во сне и то медведь чувствует?)

Раздобревший на малине и овсах, медведь был воплощением благодушия. Правда, сонный медведь.

От напряжения глаза у меня слезились. Ноги затекали, плечи наливались чугуной тяжестью. Прислонюсь-ка к столу!

Холодно. Опять ветер загудел. Солнце заволокли водянистые тучи, среди бела дня осмерклось, как вечером. Первая снежинка прочертила косо в траву.

Осина нашла единственный листок, забренчала, зароптала, споря с непогодью.

На миг, сдастся, всего на миг я отвел взгляд от хвойной ухоронки под елью, давая отдых глазам, а и того было довольно: медведь исчез. Беззвучно, тайком. Пропал как растаял — в серых стволах, в лиловых кустах, в рыжих, побитых инеем травах. Все-таки почуял меня, недаром ушами водил.

Пискнуло за стеной ельника: «Чис-чис!.. Та-а... та-а!» Пискнуло и заглохло. Валил сырой снег, шурша о траву, о мокрые сушня.

Я поправил ружье за плечами и направился к елке. Костер разложу, обогреюсь, чаю напьюсь...

КОГДА УХОДЯТ СЛОВА

Допоздна засиживаемся мы с Дмитрием Александровичем в его комнате, заваленной рукописями, журналами, книгами.

Иногда говорим об охоте. А чаще всего — о словах.

Заведена у Дмитрия Александровича тетрадка. Школьная, в клеточку. В нее старый учитель заносит слова. Те, которые уходят из обиходной речи.

— Снег... — посверкивает он очками. — Давайте о снеге. Сколько оттенков, неуловимых для непосвященного взгляда, подмечал в снеге народ! Пороша... Вы слышите? Согласитесь, не выкрикнешь, не произнесешь громко — до того это слово нежно и хрупко.

Забытая, дымит сигарета в самодельном мундштуке.

— Пороша — значит под утро выпавший снежок. Подчеркиваю: снежок. Все равно, выпал ли он на черную землю или на старый, отвердевший после морозов, отполированный вьюгами снеговой пласт. Четок и ясен на свежей пороше любой след. Ее и называют: печатная пороша. Идешь и читаешь, кто в школу раньше меня прошел. Пороша! Емкое слово, радостное. А вот другое слово — сугроб. Су-гроб... Страшилище! А снег? — Дмитрий Александрович пожимает плечами. — Что-

то стертое, обесцвеченное... Зато изморозь, наст, кухта! Кухта — скажете неблагозвучно, темно по смыслу? Но и тот, кто не понимает значения этого слова, ощутит в нем нечто мягкое, пухлое, как в слове «наст» — твердость, прочность. Кухта и есть пухлая навесь, скопившаяся на деревьях. Соберут за зиму деревья снегу — целые горы на весу! Куржа — тоже навесь на сучьях, но образованная не снегом, а инеем. Березы в курже — прелесть! Где тот художник, который передаст их красоту? А народ сумел, притом одним словом, колким и рассыпчатым, — куржа.

Я слушаю старого учителя, не возражаю, хотя, по мне, снег — тоже хорошо. Снег, нега, нежность... Ощущение слов у каждого свое. Звучание их отнюдь не совпадает с заложенным в них смыслом, но мне хочется верить: снег оттого снег, что под ним земля в неге отдыхает после летних трудов.

Стареют слова, изнашиваются. Что о них жалеть, если со словарем только и понимаешь? Так-то оно так. Но и то правда: поэтичные в своей основе, точные слова уходят. Из полей, лугов. Из речных просторов. Из леса. Особенно из леса много слов уходит: веретья, рада, рамень, релка, согра, сузём...

Это на карте лес однообразен. Между тем он даже в цельном массиве неодинаков. Вот рамень, то есть глухомань непроезжая, где лишь с краю, по опушкам, имеются пахотные, луговые угодья. Рада — болотистый лес, преимущественно хвойный, в низинах, весной затапливаемых водой из оврагов, ручьев. Согра схожа с радой, однако эти болотистые заросли из елок, можжевельника, ольхи весной не заливаются текучей водой. Слово «веретья» опять относится к болотным, низменным лесам, однако означает в них высокие сухие бугры — гряды. Между релкой и веретьем разница небольшая, но если веретья тянутся иногда на километры, то релка — просто одиночная возвышенная прогалина.

Помнится, получил я однажды весной от знакомого лесничего письмо. Прочел: «А у нас рады играют». Заволновался. Рады играют.. Значит, снег в ельниках тронулся дружно, талая вода топит овраги. Медуница цветет, верба распушилась, глухари токуют, в полях зайцы бегают средь бела дня... Радость-то — рады играют!

В рады я тогда попал. Заплесневелые елки, непролазная гущина ивняка, чахлые ольхи. Озябшая мокрая мышка дрожит на высоком пне. Рядом гадюка, выгнанная из норы водопольем, шипит и мерцает с сухостоинны узкой прорезью глаз. Утки за кустами полощутся, на елке дремлет глухарь — ночь-то на токовище прогулял...

Бредешь по колено в воде, перемок, ни нитки сухой. Рады, не в радость вы, рады, весной для лесных ходоков!

Своевольна память. Забылось, как в радах мок и зяб, а глухаря помню — в черном, как бы с металлической прозеленью пере; мышь помню на пне и зеленый бархат мхов, мерцавших под слоем текучей воды, будто немыслимая драгоценность, взятая под стекло...

Всему на свете отмерян срок. И словам тоже: одни тускнеют, другие уходят.

Образные и красочные понятия, точные знания заключены в лесных словах, а знания давались и даются нелегко. Неспроста была сложена поговорка, что ходить по лесу — видеть смерть на носу. Тяжкую дань брал дикий лес в былые времена с тех, кто его покорял, корчевал под пашни и покосы!

Уходят слова. Устарели, и ладно. А если потому слова лесные выпадают из нашей речи, что мы утрачиваем связь с зеленым другом, хуже видим и слышим природу? Если на забвение обрекает слова наша расточительность?

Перед топором все деревья равны, перед механической пилой — тем более: длинноногие березы-подростки, насупленные ели, мудрые хранители тайн леса, сосны, курчавые папахи набекрень... Равны-равны, все равны перед топором! И ясно — древесина. Эта получше, та подешевле, но древесина — вот что прежде всего. А жалко. Жалко, что привыкли в деревьях одну древесину видеть: от сосны — дороже, от берез — подешевле.

— Дмитрий Александрович, — спрашиваю я, — вы слышали такое слово — «сузём»?

— Нет, — откликнулся он.

Ну да, ведь здешняя сторона — искони полевая, полям иным по тысяче лет. Забыто здесь о суземьях, древних лесах, где ни жилья, ни дорог, ни следа человека. Невесть когда вырублены здесь суземья!

Слова не вечны. «Соха», «цеп» — кто их вспомнит? Не сохами пашут, не цепями молотят.

Но хотелось, чтобы долго, чтобы всегда понимали мы слово «пороша» и знали, что это такое — рамень...

— Как вы сказали? Сузёмье? — спрашивает Дмитрий Александрович и берет заветную тетрадь. — Запишем!

ЗАГАДКИ ДЕДА- ВСЕВЕДА

КТО КОСТЬ ГРЫЗЕТ,
КТО КАМЕНЬ ГЛОТАЕТ



Небылица в лицах, небывальщина да неслыхальщина! Что гулял-то наш гулейко сорок лет за печью, уж как выгулял гулейко да на высокий простор, увидал да в лохани воду: «А не то ли, братцы, сине море?» Еще увидал гулейко — из чашки ложкой щи хлебает: «А не то ли, братцы, корабли бегут, корабли бегут, да все гребцы гребут?»

Такая-то мудрость случилась утресь, знатоки-следопыты, мое вам почтенье, со желанным нас свиданьем!

Сижу, давненько вас жду, в котомке затеек по завязку держу: про то, как стало пусто в полях, широко в лесах, и заяц грамотку пишет, в лапки дышит, лисица его дозорит, за кляксы-помарки наказать хочет...

Что ж, в путь отправимся? День нынче короток, а обойти надо много, друзей лесных проведать, узнать, все ли у них ладно, все ли подобра-поздорову.

С утра иней, к вечеру снег. Однако, хотя ноябрь стужи и напустит, но для проверки, для последней примерки.

Звери в шубах новеньких с иголочки. Мышь — голы ножки, гол вихлючий хвост — и та получила меховой жилет. Зимовать ей под снегом, в трухлявых пнях, завалах хвороста, значит, жилетка вполне сойдет. Кунице в дар от осени на зиму достались, помимо мягкой теплой шубейки, меховые тапочки на лапки: по деревьям лазать — не мерзнуть, по сугробам скакать — не проваливаться. У белки на ушах кисти... Мороз, а она ушки не поморозит!

Зайцу досталась шубка первый сорт: пуховенькая, белая. Кого заботы одолевают, как бы свою шкурку сберечь, а зайчишку его шубка бережет. Грыз-погрыз он осиновый прут, влево скок, вправо скок-поскок, под елочку забился, — не заметишь его, белого, на белом снегу.

Все равно, косой, берегись: по твоим следам-каракулям лиса пустилась!

Учился косой летом, да, зная, ленился, уроки не впрок. Полагалось бы ему подальше от осинки ускакать, по лесу напутать, напетлять, а потом уж отдыхать ложиться.

Понадеялся косой на шубку — и зря. Лисица подкралась... Хоп! Прянул заяц-белячок из-под елочки... Поздно! Не хуже его лисица прыгать мастерица. Поела, остатки обеда она в листья, в снег зарыла и носом ткнула, будто печать поставила: мое!

В прошлый раз кладовками мы кончили, сейчас опять к ним подошли.

В чудном подземном городке залег барсук на мягкой, из сухих листьев и травяной ветоши перине. Спать бурсуку, спать, наружу носа не казать, однако не без пирожка в зиму уходит трудяга-землекоп!

Ах, курорты? Как же, не забыл, помню. Это муравейники. В них птицы летом купаются, целебный душ принимают, когда рассерженные муравьи брызгают своей едкой кислотой. Она птицам на пользу, изгоняет из оперенья блошек, пухоедов. Да и людей от ревматизма вылечивают этим же муравьиным снадобьем.

Молоко-творог птицы не воруют, сойка возвела поклеп! Ее соседи, лесные голуби, в пору гнездования обладают особым свойством: в их зобах вырабатывается молочно-творожная масса, ею голуби выкармливают своих птенцов. Есть, значит, на свете и птичье молоко...

Сойка желуди прячет в мох. Еще больше запасы кедровки. Вероятно, неурожай заставил ее скитаться. Может, залетела из самой Сибири! В наших лесах кедровки тоже встречаются. Точнее, их зовут ореховками. Есть у этих птиц под клювом мешок для переноски клади. Кладь же известная: орехи, желуди, ягоды, семена.

У глухарей, тетеревов, рябчиков запасов нет. О них сама осень позаботилась: клюква на болотах, брусника — вот-вот под снег уйдет — наберут сладости от мороза, от долгой вылежки — будет чем весной полакомиться таежным курам и петухам! Ни клюква, ни брусника, оттого что сок с кислинкой, подолгу не портятся; у нас дома — так по году.

Дал я вам отгадки, а лесных тайничков все не убывло. Кладовки, подземные хоромы, гнезда теплые, укромные логова, курорты под елкой, банька в песочке, школы без парт — чего-чего в лесу нет! Чомга на плотике, сычик в дупле, медведь в своей деревне, лось во дворце... Ох-хо-хо, уж я-то не лишний ли тут? На весь белый свет крикнул бы: свой... Свой я вам, белые березы, сосны кудрявые, елки-колоколенки! Но поймут ли? Думаю — поймут, если я их пойму. Когда пойдем мы, что живет лес для нас каждым вздохом хвойным, каждой бегучей струйкой ручья, — тогда будем своими под сводами чащи, на озерах синих. Только сделать-то это, ой, нелегко...

Нут-ка, ответьте, что такое медвежья деревня и где он, лосиный дворец? Нут-ка, знатоки-следопыты, нут-ка! Сам бы вам объяснил, что к чему — одна беда: по просеке гурт свиней бежит, копытцами дробит, надо его перенять.

— Стой! — машу руками. — Стой, куда вы?

Хотел их к деревне во хлевы гнать, да куда там — кинулись в лес. Ну и непослушная скотинка — бурая щетинка, нос черным пятчком!

К реке я вышел. Что за диво? Вдоль берега громадные черные и рябые птицы бродят. Собирают камешки — и в рот да в рот. С голоду, что ли? Но велик ли в камне прок, разве камнем сыт будешь?

Дальше я зашагал — на новую дикувинку наткнулся. Лежит рог лосиный. Кругом снежок следами зверей примят, вдоль и поперек прострочен. Сказать по правде, мало что от рога уцелело, весь изгрызен.

Ну и чудеса мне попадаются: птицы камнем зоб набивают, звери кости гложут... Э, может быть, звери так зубы точат?

Пойду-ка поближе к деревне, что-то далеко забрел.

На ржавых будылях бурьяна снегири от мороза хохлятся.

— Эй, молодцы, красные рубахи, чем сидеть да ежиться, вы б к нашей избе летели рябину клевать, калину убирать!

Они вполголоса журчат, поскрипывают:

— Сидели и сидим, зиму ждем. Мимо пойдем — в деревню ее поворотим.

Пора, пора зиму-то в деревню заворачивать, ведь ноябрь кончается!



ДЕКАБРЬ-КОРОТА ЗИМЫ



НЕГ иссечен лыжня-
ми: горяча пушная страда!

Колобком катится пес
от дерева к дереву по ель-
нику, по мелким березня-
кам и сосновым борам. Вы-
нюхивает, выведывает. Вот
залаял, и волнуется охот-
ник, спешит на зов. Сноров-

ка и опыт позволят ему различить зверька, засевшего в сучьях,
мастерство — сбить метким выстрелом и не попортить
шкурку...

С незапамятных пор знаменит наш Север дичью, зверем.

Князья и монастыри взимали дань и подати пушниной — «мягкой рухлядью». Меха были первыми деньгами на Руси: не в рублях, появившихся позднее, шел счет, а на куны и белы — шкурки белок и куниц. Батюшка Новгород Великий процветал, в том числе и за счет пушных богатств Заволочья, как в то время назывались Вологодский и Двинской края.

В XIX веке миллионами заготавливались рябчики, тетерева, глухари для Москвы и Питера, европейских столиц; кипами отправлялись шкуры белок, выдр, куниц, горностаев, лисиц. Охотничий промысел был сопряжен с постоянными тяготами и риском: «Ходить по лесу, видеть смерть на носу!» Чуть свет добытчик в тайге: «Первому — зверек, последнему — следок», «Как побродишь, так и добудешь». Неделями пропадал добытчик в тайге: коротал ночи в шалаше либо в землянке, крытой еловым корьем, а то и под открытым небом у костра — сам-друг с ружьишком да собакой.

Но ружье-то... «Ствол до Щукина, ложе с Лыкина, замок с Казани, курок с Рязани, а забойник-шомпол дядя из полена сделал!» К тому же порох, дробь были очень дороги. Оттого дичь и большую часть пушнины встарь добывали преимущественно ловушками на тропах-путиках, которые были семейной собственностью, как поля, как сенокосы.

...Негромко поскуливает пес. Так кто же в хвое прячется? Белка!

Тщателен прицел. Отрывист выстрел малокалиберной винтовки. Считая сучья, повалился зверек. Пес клацнул зубами, на лету подхватывая теплую обмякшую тушку.

Посыпал снег.

Неистошим снег на выдумки. Здесь его пухлая навесь сотворила из пня-выворотня сказочную бабу-ягу: пень как ступа, вместо метлы корявый сук. Там был куст можжевельника, но запуржило, завьюжило и слон появился: врос толстыми ножищами в сугроб, хобот вытянул, сейчас затрубит громогласно. Рядом зайцы замерли на прыжке, уши торчком...

Сыплет снег. Прядет зима пряжу, на хвойных иголках кружева вяжет, поля убирает в холсты чисто-начисто. Декабрь на дворе!

По народному присловию, «декабрь снегами тешит». И как было крестьянину не тешиться, не радоваться, если зима выдавалась обильная снегами. «Снег глубок — и хлеб хорош», — поучали месяцесловы. «Снегу надует — хлеба прибудет, вода разольется — сена наберется».

«Зима тепла не носит» — это, по старинным поверьям, добрая примета. «Если земля не промерзла, то летом соку не даст» (после теплой зимы неурожай). «Большой иней, снег буграми, глубоко промерзшая земля — к хлебородию».

По солнцу и дыму из труб, по звездам и даже нагару лучины деревенский люд старался предугадать погоду: дым столбом — к морозу, туманный круг около солнца — к метелям, если ночью пал иней, днем снегу не падет, много нагару на лучине — жди стужу.

Лучина? Нагар? Где ее взять, в песнях воспетую лучинушку? В избах давно электричество, прогноз погоды по радио, по телевизору передают! Все верно. Ученые агрономы в совхозах и колхозах заботятся об урожае. Служба прогнозов на высоте: метеорологические станции рассеяны от Арктики до Антарктиды, летают в космосе специальные спутники — дозорные погоды.

Всему свое время. Не о лучине печаль: покоптила избы — и довольно! О том забота, чтобы не отказаться от прошлого лишь потому, что оно прошлое: ведь в самом деле дым кверху идет перед морозами.

Своими обычаями, памятными строчками отмечался декабрь-студень в месяцесловах:

4 декабря — «ворота зимы», морозные, ледяные.

5 декабря — «Пришел Прокоп, разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает». Значит, установился санный путь.

7 декабря — «Катерина-санныца». Тем был знаменателен этот день, что им открывали извоз. Тянулись, скрипели обозы: из Тарноги в Тотьму — с овсом; на Великий Устюг из Никольска — за купеческим товаром; к железнодорожным станциям везли битую дичь, мороженую рыбу, бочки рыжиков. Не тоскуй дома, Катерина, с гостинцами вернись!.. Через поля и леса, с угора на угор, мимо деревень шли и шли обозы: долог волок, тяжка путина ямщичья.

9 декабря — «Юрьев день». На Руси два Юрья, — указывали месяцесловы. — Один Юрий холодный (зимний), другой — голодный (вешний). Зимний вошел в историю поговоркой: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

13 декабря — «Наум наставит на ум». Когда-то не осенью, а зимой отдавали детей обучаться грамоте у дьячка, отставного солдата или какого другого деревенского грамотея. Со слезами вела мать своего сынка (девочек тогда вообще не учили) по деревне. Не плакать ей было нельзя: худая молва пойдет по околотку, что она ребенка своего не жалеет. Перед учите-

лем будущий ученик кланялся трижды и трижды получал удары плетью либо розгами в зачет предстоящих провинностей!

17 декабря — «Варюха — береги нос и ухо». «Все тепло да тепло, вот морозы и заварварили».

19 декабря — Никольщина. В народных месяцесловах пьяные обычаи религиозных праздников высмеивались и строго порицались: «Никольщину мужик справляет, если шапка на голове не держится», «Наши заниколили, до сумы доникололили», то есть все добро пропили.

25 декабря — Спиридон-солноворот. «Ночи пошли на убыль (после 22 декабря), солнце на лето, зима на мороз поворачивает».

В день-солноворот у деревенской детворы был обычай на закате провожать солнце песнями:

Солнышко, повернись!
Красное, разожгись!
Красно солнышко, в дорогу выезжай,
Зимний холод забывай!

При этом с горы катали колесо:

Колесо, гори, катись,
С весной красною вернись!

Зима... Дятел оборудовал в бору кузницу. «Тук-тук», — потрошит шишки еловые, сосновые, семена клювом выколачивает, вымолачивает.

Зима... зима, если у дятла кузница гремит от зари до зари, серые куропатки к гумнам прижились, крот убрался в глубокие подземные галереи. А глухари спят ночью в сугробах — глубокие лежат снега! Деревья трещат от стужи, и гул, грохот то и дело будит снежное безмолвие. Как грянет, как треснет — точно пушка ударила, салют дает.

И кому салютует лес? Наверное, январю!

САМОЕ - САМОЕ



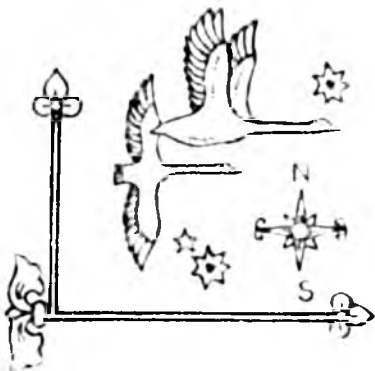
Установление снежного покрова — не поздновато ли? Бес-снежье в начале зимы довольно обыкновенно. В 1844 году снег выпал 16 декабря, того позднее в Вытегре в 1948 году — 23 декабря. В Великом Устюге устойчивый санный путь устанавливался и 27 января, в Никольске даже 31 января. Долгое бес-снежье было почти по всей Вологодчине в 1948 и 1953 годах. В среднем длительность периода с устойчивым снежным покровом для Вологды и ближайших к ней районов около 165 дней.

Выпадают и обильные осадки декабря: в 1967 году, например, на Чар-озере снег достиг глубины в 61 сантиметр.

Гроза... Как ни исключительно это явление зимой, обширный грозовой очаг наблюдался у нас в канун Нового года в 1976 году. В 1977 году 20 декабря в Вологде гремел гром, сверкали молнии, и это при сильном ветре и такой снежной замяти, что в двух шагах ничего не было видно.

Наводнение... Бывало и такое! «1517 года декабря 24 дня,— гласит летопись,— на Устюге Великом вода была велика, подобно весенней, и стояла две недели в одной мере».

КТО И ГДЕ? КУДА И ОТКУДА?



МЕДВЕДЬ — устраивается на зимовку когда как: поленится — и на голую землю ляжет, привалившись спиной к муравьищу. Благоустроенней берлоги медведиц: кровля — сучья нависшие, крона поваленного дерева, перина — хвойные лапы, мох. Располагаются медведи на зиму не обязательно в глуши. Наоборот, как говорят, медведь любит из берлоги слушать пение деревенских петухов.

ЛИСИЦА — в нору забирается разве что в стужу или, напротив, в сырую оттепель. По подсчетам охото-

ведоз, в вологодских угодьях водится примерно 15 000 лисец.

КУНИЦА — бегая в поисках добычи, зверек использует заячьи тропы, так как снег на земле рыхлый, плохо держит, а снежная завесь густа: не поскачешь, как бывало, с ветки на ветку — оборваться недолго. В вологодских лесах ежегодно держится 8500—9000 куниц. Дает куница самую ценную (после бобра) пушнину.

ХОРЬ ЛЕСНОЙ — около 4000 его на Вологодчине. Не зря хорька прозывают кошкой, не дает он покоя мышам! Да и на воротник хорош!

НОРКА — ее в вологодских лесах столько же, сколько и куниц — около 9000. Трудно зимой прокормиться, и не зазевается норка, если случится ей подкрасться к зайцу, тетереву. Ворует она и рыбу из сетей.

ВЫДРА — численность ее возрастает, сказываются строгие ограничения в промысле этого ценного пушного зверя, дающего самый прочный и ноский мех. Сейчас у нас насчитывается более 2000, а в стране 15—20 тысяч выдр.

РЫСЬ — и в сумерках, и ранним утром на охоте. Где зайцы, там и она! Голодная, делает заходы в деревни, рабочие поселки, даже на окраины городов. На Вологодчине примерно 600 рысей, причем мех их так красив, что одна из шкур недавно на международной выставке охотничьих трофеев в Чехословакии была признана лучшей в мире.

ЛОСЬ — могуч таежный великан: рост выше двух метров, рога пудо-

вые, ноги длинные... Но уж лежень, уж тихоход! Суточный путь зимой у лося сокращается до километра. Поел — и на бок. Вдобавок он «зяблик», поэтому выбирает места, где от ветра его заслоняют ели, поросль завьюженного кустарника. В стране, как полагают охотоведы, сейчас лосей около 400 тысяч, из них на Вологодчине 18—20 тысяч. **БЕЛКА** — козь мороз крепчает, из теплого гнезда носа не кажет. Бывает, что и по несколько зверьков в одно гнездо набивается: вместе, понятно, теплей! В урожайные годы заготавливается до миллиона белчихих шкурок, в недород — всего 7—10 тысяч. Мало, мало на всю-то вологодскую тайгу...

БОБР — добыча его разрешена при строгом контроле. За послевоенные годы десятки рек стали бобровыми, но первый бобр был отловлен лишь в 1968 году под городом Тотьмой, там же, где и последний в XIX веке.

ЗАЯЦ-БЕЛЯК — не менее миллиона его у нас, а все-таки мало. Могли бы вологодские угодья содержать и больше зайчишек! Заячьи тропами пользуются сейчас лисы, куницы, а сам он не прочь побегать по лосиным стойбищам, покормиться на бобровых поселениях. На день пристраивается в ямке под кустом либо к кочке бочком.

РЯБЧИК — ценнейшая боровая дичь. В наших лесах запасы ее невелики — тысяч двести (в стране — почти сорок миллионов). Зимой кормится почками березы, ольхи. Делая лазы под снегом, склевывает семена трав, ягоды.

МОЙ КОД РОДНОЙ



СЛЕДЫ НЕВИДАННЫХ ЗВЕРЕЙ

Как сказать, что западет в память туриста, оказавшегося в незнакомых местах? Может быть, бор, на закате золотой от солнца? Или тихая заводь, где он раскладывал на берегу костер и слушал поющую иволгу? А может, следы невиданных зверей?

...Ровные, точно по линейке, разноцветные напластования известняков, глин, песчаника, наглядно обозримы на склонах оврагов и срезях речных откосов. Они как страницы земной лето-

писи. Каменные страницы запечатлели эпохи давние. Тогда на месте окрестных полей плескались теплые моря, в джунглях гигантских хвощей бродили стадом неповоротливые ящеры, красное небо чертил птеродактиль, заливы-лагуны населяли ихтиозавры — пресмыкающиеся величинной с дом.

Ученому миру известно имя профессора Владимира Прохоровича Амалицкого, производившего раскопки на территории Вологодской губернии. Каждое лето он совершал лодочные походы по Сухоне, по Малой Северной Двине, бывал в Вытегре и на Вычегде.

Небывалым успехом увенчались раскопки, начатые в 1899 году. Удалось открыть целое кладбище древних ящеров. Вес костей скелетов, за миллионы лет превратившихся в камень, составил более ста девяноста тонн.

Поньше близ границы Вологодской и Архангельской областей, даже с проплывающего мимо парохода, видны на берегу Двины остатки раскопок В. П. Амалицкого. Часть находок выдающегося ученого-палеонтолога находится в музеях Великого Устюга и Вологды, основная же коллекция, получившая наименование Северодвинской галереи, теперь в Москве. Она не имеет себе равных в мире.

Остатки ископаемых животных обнаруживаются на Севере повсеместно. Например, в десяти километрах от сухонской деревни Березовая Слободка (Нюксенский район) найдены кости пеликозавров. По рекам Юг, Тарнога, Шаршенга встречены раковины морских моллюсков.

Бивни мамонтов, зубы, черепа шерстистых носорогов, рога туров, зубров — где только их не находят! Разумеется, гораздо вероятней обнаружить кости мамонта, чем окаменелые останки бронтозавра. Иногда скелеты ископаемых вымывает водой, дождями. Иногда на них натываются просто случайно при торфоразработках, в песчаных карьерах, при пахоте полей.

На Жидиховском болоте под Череповцом было столько находок костей мамонта, что из них можно было бы собрать почти полный скелет. Мно-

го раз находили кости мамонта близ Тотмы, а под Великим Устюгом — кости тура, овцебыка, зубра.

В Вологодском краеведческом музее около исполинских бивней мамонта всегда толпятся посетители. Доставлен экспонат вовсе не из глуши, а со станции Сухона Северной железной дороги. Ученые говорят: где нашел скелет мамонта, ищи следы его постоянных спутников — лошадей, пещерных львов, гигантских и благородных оленей. Запомнили это, краеведы?

Да, было бы отлично вернуться из похода с черепом пещерного медведя в рюкзаке! Но что ж, если и не вынесешь чего-то вещественного, все равно останутся навсегда с тобой тропы, по которым бродил, шум дождя о брезент палатки, дым привального костра... Останутся и позовут однажды снова в путь!

ПУЛИ В СТВОЛАХ

УТРОМ был город, слепая, желтая от уличных фонарей слякоть. А спустя три часа езды — мороз. Обзавелся и наш город, чадя в небо трубами, своим микроклиматом: раньше наступает весна, позже — осень...

Иней в лесу. Дупла словно ватой заткнуты. В бахrome трава. Соснам впору бы шубы примерять, елкам лапы бы в рукавицы, но снега нет, по чернотропу пришла зима. Деревья стоят, считай, голышом, едва прикрытые кисеей изморози.

К вечеру я попал в сосновый бор и шагал, загадывая: время позднее, не повернуть ли мне назад? Неожиданно напахнуло дымом.

Костер. Снятый с тагана котелок исходит паром.

Прислонясь спиной к сосне, сидит человек — закрыты глаза, морщинистое лицо искажено болью. Руки тискают двухстволку.

— Что с вами? — подбежал я.

— Прижало, — прошелестел он сипло. — Подай испить. С горячего скорее отпускает.

Кружку незнакомец чуть не вырвал у меня, припал к ней жадно. Заросший седым волосом кадык заходил, точно поршень. Чай плескался на фуфайку. Мало-помалу щеки, до этого мучнисто-серые, порозовели, взгляд прояснился, став цепким, колючим. Оторвавшись от кружки, человек потребовал враз окрепшим голосом:

— Документы! Шляется вас... Кто такой?

— Позвольте, — попятился я оторопело. — По какому праву?

— Брось, прав у нас столько — зашибись!

Наверное, местный егерь. Я подал охотничий билет и пуховку.

Он вернул их не глядя. Проворчав «носит вас леший», на колене разрядил ружье. В ладонь выскользнули патроны — пулевые, с новенькими латунными гильзами.

— Фронтальная контузия. Ломают перед сменой погоды. В городе не снег ли?

Я сказал о слякоти, сыром дымном тумане.

— А-а, припекает? — Он суживал глаза, уголки рта подергивались. — Дошло?

— Что «дошло?» О чем вы?

— О парнике! Не читал, что земля-то парнику уподобляется? Только вместо остекления дым заводской, гарь. Облегло планету этим слоем: пропуская свет, солнечное тепло, он препятствует излучению тепла от земли, — говорил егерь, как по писаному цитировал. — Парник, иначе не сказать. Разогревается земля. Между тем прибавки температуры на два-три градуса в год достаточно для того, чтобы затаяли льды на горах, в Заполярье и Антарктиде. Тепло заживем, жить вот будет негде, уйдут под воду целые материки... Слышал?

— Наслышан и о прямо противоположном: о том, что земля вступила в полосу очередного похолодания, сходного с ледниковым периодом.

— Пугают? — ощупал он меня цепким пронизывающим взглядом.

Я пожал плечами. Не люблю досужих разговоров, наипаче на серьезные темы, когда, как говорит один мой знакомый, «не владею данным вопросом».

— Подвигайся к огоньку. Чего стоишь? Чай пей, грейся.

Чай был дегтярно-черный, в меру горячий. Я отхлебывал из кружки и молчал, искоса наблюдая за нечаянным собеседником.

— По мне, так чем хуже, тем лучше. Авось, опомнимся поскорей. Как думаешь? — Егерь силло дышал, откашливался поминутно. — Народ... Понеси леший! Как корни оборвал, ничего не дорого. В квартире у себя тапочки надевает, курит на лестничной площадке, боится мебели закоптить. У телевизора киснет: «В мире животных», «Клуб путешественников» ему только подавай. Любитель природы... Что ты, зашибись, за нее горой! Машина, катер — для природы, да! Гриб белый пошел, так мох-то вверх дном перевернут: не дай бог, не оставить бы чего на расплод. Брусника, черника, клюква — дерут грабилками, ягодники портят. Осень, охота открылась — так истинно нашествие: машины едут, вертолеты летят. Подранков остается, особенно лосей... ой! Глаза бы не глядели! Оттого, думаю, волки расплодились, что тот же отстрел лосей идет — из рук вон.

Злой я, шибко злой! На фронте был? — спросил он без паузы. — Был, вижу. Отступал?

— При мне больше наступали.

— А я топал от самой границы. До приказа: «Ни шагу назад»... Эх, мне бы прежние-то годы! — скрипнул зубами егерь. — Перед лесом шапку сними, поклонись. Пошел — ступай на цыпочках! Навел бы я порядок... Сколько работал егерем, все будто в отступлении. На пенсии, вишь, здоровье хламит.

Он стоя зарядил ружье — скользнули в патронники медные, с пулевыми зарядами гильзы.

— На крупного зверя, — заметил я.

— Не мелочимся.

Пренебрежительная усмешка скривила его безгубый рот, под широкими бровями вспыхнули острые неприязненные искорки:

— Ты не зря ходишь-то? Обутку, одежду рвешь — не зря?

— Почему вам знать? — вспыхнул я.

— Костер залей. Котелок повесь на видное место. Обратно пойду — прихвачу. Чуешь: гончие за рекой? На лося лают. Надо проверить, кто там.

Ушел, не простился.

К закату клонилось солнце. С шоссе слышались автомобильные гудки. Меня вызывают, пора уезжать.

Тлея головнями костер. Он не грел, а я сидел и сидел, протягивая к нему руки. Тридцать лет бываю в лесу с ружьем, сегодня впервые у меня спросили о документах и кто я такой. Патронташ на мне заношенный. Нет в нем пулевых патронов. До сих пор не было в них необходимости. Что же, появилась она, необходимость, держать поближе пули — на случай «встречи с крупным зверем?» Свой у меня к ним счет...

От шоссе доносились короткие зовущие гудки. Далеко за рекой лаяли собаки.

НЕПОКОРНАЯ

По берегам ручья нагромождения колодника, пней-выворотней, коряг-кокор. Все в снегу, все так тускло, пасмурно: затоплен лес тенью. Холодный и серо-синий. Одни вершины елок чуть розовеют. Да местами на прогалинах оранжевые мерклые лужайки, где солнечный свет поборол тени, опрокинул их на сыпучий снег. Хвоя черная, тени густые, а солнце низкое, красное от морозной роздыми.

Давит стужа, давят, душат текучие тени. Трудно с осени привыкается к холодам...

Я сюда хаживал, бывало, когда после ночного дождика в лесу паровито и туманно. Пар поднимался от куполов муравьищ, просыхающих на солнце. Дымилась кора берез. Осины стояли замерев, боясь шелохнуться, чтобы не поделиться лишней каплей с землей. И стояли на белых ножках грибы, такие запашистые, с поджаристой корочкой — с пылу с жару, свежей выпечки. Клади в корзину, да не обожгись!

Не то теперь. Пни, колодины в снегу. Снегом пересыпана хвоя.

Кормились рябчики возле пней, склевывая с кочек мороженую бруснику. Следы птиц — крестики. Они будто зывают: чур!.. Чур нас, зима!

Поднажал морозец!

А неподалеку звенит, выплескивает вода. Незамысловата мелодия ручья. Почему же трогает и волнует? Постоишь, послушаешь — есть в ней сила.

Силу зимнего леса составляет молчание. А сила непокорной быстринки в движении. Ручью умолкнуть — значит замерзнуть до дна.

Родился ручей в болоте, в хлябях топких, заросших ядовитым багульником и осокой, где змеи меняют кожу. Вытек ручей из погибельных трясин, взяв себе начало в ржавых стоячих лужах. Но пробежался по лесу, очистил струи от наносной мути, на смородине настоял воду, солнцем высвеченную по омуткам, на перекатах — и обрели волю, прозрачны, звонки стали его струи. И непокорны.

К ручьям сходятся охотничьи тропы.

Здесь даже скамья для отдыха, срублена из березовых жердей. На виду в развилке сучьев висит поилка — черпачок, свернутый из бересты. Рогульки — таган для костра — готовы. Скинь с плеч рюкзак, разводи костер — таежную теплинку, кашу вари, чай пей на доброе здоровье!

Старой елке, уроненной ветровалом поперек ручья, обязан он тем, что в мороз не промерз. Ель запрудила его. Быстрота течения, глубина потока у запруды не дают воде остыть. В одну жилку, но жив ручеек! Лед у полыньи тонок, серебряно блестят пузыри воздуха, шевелятся водоросли. Шершавый, в наплывах смолы ствол елки подрагивает под напором воды, и его колебания передаются обледенелому сучку. Мерно дрожит сучок, на нем набухают и срываются в полынью светлые капли.

Лепечет, заливается звоночком быстринка, живая струей непокорной, чистой.

На глаза опять попадают птичьи следы. Серые-серые крестики, сколько в них смятения перед зимой и стужей: чур!.. Чур нас, холод, вьюги лютые! Чего бы бояться рябчикам? Умеют прятаться от стужи в снег. И спят в снегу, бывает, что кормятся, не выходя на поверхность: прокапывают подснежные туннели и клюют ягоды, семена, уцелевшие зеленые листики брусники, побеги черничника.

Но еще они любят ручьи, любят слушать переборы, плеск и говор перекатов. Способны часами сидеть на деревьях, внимая болтовне текучей воды, следить, как она несет разный хлам, прыгает по камням и взбивает рыхлую пену. Хочешь повидать рябчиков — найди ручей!

Я вынимаю нож из чехла. Закаменелое на стуже дерево поддается с трудом, не берет его, тупится лезвие. Тогда ломаю хвойные лапы. Выбираю самые густые сучья, ношу их к запруде и укрываю полынью, предварительно взломав лед.



Ушастая сова. Собираясь с осени в стайки или поодиночке, широко кочует, порой надолго улетая из северных лесов.

Засыпаю хвое снегом, утепляю полынью, как утепляют про-
руби, из которых берут воду.

Неважно, чем рожден ручей: родником, болотной трясинной
или топкой луговой низиной. Важно, что ручьями живы реки,
а реками живы моря. Не в истоке дело, а в исходе.

Живая непокорная быстринка стала отныне немножко и
моей. Пусть плещется в снежном затишье. Рябчикам нужна,
и то ладно.

Зачерпнув берестяным ковшиком воду, пью. Потом черпа-
чок вешаю обратно на видное место.

Хорошо мне, нет чувства одиночества, затерянности в этой
глуши, где мороз, заиндевелая хвоя и серые снега. Звенит,
заливается колокольчиком ручей у лесной плотинки!

ПРЯТКИ

То не снег, то мороз лютый березки, черемушник частый
в дугу гнет — на согбенных спинах навись мерзлая. Гнетет
стужа, жмет, и поля онемели, и лес цепенеет покорно.

Непробудна дрема. Звезды ведут разговор. Да молчком:
звезда звезде мигнет — искра инея отзовется и вспыхнет...

Вдруг из елей:

— Ку-ку-ку...

Над снегами в хвойной пустыне трель частая, тонкая:

— Ку-ку-ку-ку!

Кукушка? Нет, откуда ж ей сейчас взяться. Это мохноно-
гий сычик летает, зиму дразнит.

Трудная пора настала. Холод. Голод. Волку попадетсЯ
крупная добыча — клыками рвет, не жуя, глотает: наестсЯ
хоть бы на неделю вперед! Росомаха отыщет падаль — и то-то
урчит, старается: не столько себе в рот, сколько елке на сучок!
Растащит куски по закоулочкам и довольна: подальше поло-
жишь — поближе возьмешь!

Трудно всем, трудно, да не сычику. Мала совушка, зато
разумная головушка. Что сычику холод, коль крылья на пуху,
в густом пере цепкие лапки. Что ему голод: с осени запасалсЯ,
в дупла провизию складывал.

Теперь легота. Знай пари на пуховых крылышках, покри-
кивай:

— Ку-ку-ку...

С голодом сычик в прятки, с холодом в догонялки играет.
Возьми-ка его!

Но все ж отчего он, молчун глазастый, голосит, уж не
оттепель ли почуял?

У ПОРОГА

КОГДА сворачивал с укатанной машинами дороги, то было ощущение — ступаю на палубу. Куда-то меня занесет корабль, чьи паруса белый снег? Незнакомо расстилается засугробленное поле, чужой синее лес...

Как перепахано поле: сумет на сумете. Проваливаясь, карабкаются вверх лыжи, вниз катят с визгом по отлогим надувам, и ведет меня след горностае, перенятый у обочины.

Скок-поскок — летел горностае. И не позже, как прошлой ночью. Скок влево, скок вправо, где под камень горностае нырком, где наружу из сугроба броском и дальше, дальше скок-поскок, через борозды перескок. Слово сеть, окидывал он поле следами, пробираясь сквозь заросли бурьяна, ольховые перелески.

С ночлега вспорхнули куропатки. Горностае — это видно по следам — как споткнулся: привстал на задние лапки во весь рост — все равно высоко!

Стеганул заяц от ивовых кустов. Прянул за ним горностае и замер: ах, далеко!

Резко забирая на прыжках из стороны в сторону, разбрасывал он по снегу сдвоенные следки. Напаял лапками — в глазах у меня рябит. Долг его — мышей ловить, лес и поле охранять от потрав. Суется, рыскает, и, поди, мордочка в ине, разбиты усталостью лапки...

Был я маленький, любил тропить горностаев у гумен. Ледяное небо, пухлый иней на кустах, скрипучие выкрики красногрудых клестов, желтые овсянки на соломенной клади, сороки, сойки с их голубым оплечьем и бурными хохлами и снег, выстроченный мышами, мягкие, такие аккуратные следы горностаев — все это до сих пор сливается в одну картину. До чего интересно было ползать на лыжах возле гумен! Снегу начерпашь в валенки, иззябнешь... Ничего! И бросишь следы горностаев, увлечешься снежирками или на сороку заглядишься, как она по кровле скачет, снег мажет хвостом, — ничего, ничего! Приплетешься в избу, ручонки, как грабли — пуговицы не расстегнуть, бабушка бранится — все ничего... Перед глазами так и стоят голубые сугробы, ледяное небо, черный провал гумна, куда ночью залетают совы из лесу, где пахнет соломой и холодом. И следы, следы на искристом снегу... Они мне снились, эти следы, и тот морозный запах, и сны были радостными, как и породившая их явь.

Горностае стал чаще скрываться под снегом, выскакивая на поверхность иногда на десяток метров в стороне.

Под валежину он слазал, шубку поиспачкал в древесной трухе и отряхнулся походя. Надо бы шубу холить, беречь, раз одна, а все некогда!

Ценен мех горноста́я. Раньше коронованные особы, вельможная знать украшала им парадные туалеты. Впрочем, поныне модницы не откажутся от горноста́я, хотя стоит пушнина недешево.

Прыжками пересек горноста́й поле, спустился к ручью. Ага, есть за труды награда! Лазая в отдушины между льдом и берегом, горноста́й кого-то загрыз там и выволок наружу: примятый снег в катышках смерзшейся крови.

Пустился ловец от ручья строго напрямик. Прыжки короче, глубже вмятины лапок — тяжело, знать, волочить груз в зубах. Как бы то ни было, он не позволял себе поблажек, припускал вскачь, с сугроба на сугроб стлался. У добычи трясся хвост, чертил на снегу бороздку.

Куда бежишь? Попало — так ешь! В повадках горноста́я переспать, где день застиг, что отнюдь не означает, что нет у него пристанища. Кладовая — его домок. Возможно, туда он и скакал — сложить добычу впрок.

А день, денек-то сегодня волшебный! Солнце в кисее изморозной роздыми. Безветрие, тишь таковы, что скрипнула за полями дверь в хлеву — слышно. Перескакивая прясло изгороди, сронил заяц лапой ком снега, и, рассыпая искры, лежит он, как лег. Топят в деревне лежанки, дым столбом. Сорока трещит...

Хорошо! Уже от того хорошо, что воздух — не надыхаться, что на избах кровли парчовые, что есть еще следы на снегу, не перевелись сороки... Кстати, чего они так раскричались?

Лыжи вынесли меня к охалке соломы, забытой среди поля. Веером сбегались к заснеженной охалке знакомые стежки, испещряла снег сорочья мазня, измят он был широкими лыжами. Вел под солому круглый лаз — вход в нору-кладовку, и сталью синел капкан — в челюстях намертво зажата крыса.

Ясно, голову ломать не над чем! Мышей, крыс ловишь, поля сторожишь — спасибо! Прими благодарность, а шубку-то отдай... Не грехи, отдай!

Спешил ловец, крысу, пойманную на ручье, волок и не знал, что его у порога ждет. Примчал, скинул ношу — можно хоть дух перевести, устал. И попала крыса прямо в капкан, разинувший ненасытную пасть...

Как лязгнули пружины капкана! Как отскочил горноста́й!

Стрельнул прочь, на втором прыжке нырнул в снег и бесследно пропал.

Ладно, все путем обошлось. Без добычи горностайка, зато шубейка цела дорогая. Всем путем, все ладом: горностаю с шубой, охотник-капканщик с носом, сороке досталось крысу клевать, по хвостатой поминки справлять!

Я тоже не в накладе. Со мной морозный голубой денек, поле, где снег белым парусом. До вечера далеко, до потемок того дальше, и лыжам катить, кораблю моему плыть.

Плыть ему, плавать! А встретится однажды у порога на меня западня — что я-то брошу? Хотя все забирай, ловец, оставь лишь зимой снег белый, мороз да на сугробе следок, летом — реку и солнце, осенью — желтый лист...

Засугробленное стелется поле, чужой вдали темнеет лес.

ПЕНЕК

ГДЕ я был сегодня? В лугах и на реке, в низине болотистой, березняках и ельниках.

Что повидал? Кабаньи тропы и волчий след, меж сосен лосиные лежки. Еще чечеток в ольхах, лису у стога — издали, только издали!

Много где побывал, много чего повидал, но ничего чудней, чем заячий пенек, не попалось.

К опушке леса навило сугробов, снегу неупрочен на деревья наворочало — и не сунься. Стена снега и сучьев! Щелка, однако, нашлась, чтобы зайцу проточиться. Раз он пролез, два — образовался лаз. Пешком ковылять, может, щелки хватило бы, да заяц, он ведь торопыга. Вскачь носится — эй, пошире ворота отворяй! Летает косою взад-вперед, как шилья калит.

Скакал он, летал — тропу намял.

В воротах был прутик. Из снега торчит, мешает: враз на скаку по носу получишь.

Мешает — так сгрыз его косою, убрал с дороги.

Был прут — стал пенек...

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

РУСАК повадился на озимь. Из ночи в ночь бегают кормиться. Снег расковырял, по склону поля ямки, как оспицы.

В одной вдруг стеклянно блеснуло на солнце. Стекло и есть, что же еще! Синий осколок, издали мечет он искры, и

мне вспомнилось живо, как цветные стекляшки нравятся девочкам. В моем детстве во всяком случае это было: собирали, в каждом фартучке, бывало, бренчит. Обмен, споры у девчонок, чьи сокровища богаче. В «магазин» играют они — стекляшки сходят за деньги; в «гости», «дочки-матери» — за посуду. А мы, мелкота босоногая, дразнились. А то скажешь: покажи, да по протянутой руке раз — стекляшка звяк оземь, найди ее, если только не разлетелась вдребезги...

Для меня, признаться, стекляшки заключали жгучую сладость тайны. Глянь в синюю — получишь синюю страну с синим ослепительным солнцем, синей травой, где в сияющем великолепии соседний щелявый барак покажется сказочным замком. Зеленая, совсем ерундовая стекляшка дарит лето, какого в поселке у нас отродясь не бывало, а желтая — осень, пеструю, цветистую, пусть на дворе зима. Того невообразимей возможности алых, фиолетовых, бордовых, дымчато-голубых осколков. А если стекляшка с кривизной или в прозрачную массу вкраплен воздушный шарик, тогда такого насмотришься, такого! Прищурясь, вертишь перед глазом стеклышко — и дух замирает, как в чужую душу заглядываешь: вот ты, Настя, какая... А Рита, Рита-то — никак бы не подумал!

Ну да, я подбирал осколки. Вышибал — было. И подбираю — было. И были они словно ключи в мир тайный, куда никому, даже мысли, слову единому хода нет.

И это стеклышко подниму в поле.

Подошел я к заячьей копанке. Нет синего осколка. Его и не было. Добираясь к озими, русак выскреб лапами из-под снега травинку. Мерзлый, обледенелый стебель, но с цветком. Синий-синий цветок — полевая фиалка.

Стянув перчатку, берусь за ломкий, осыпанный искрами инея стебель — анютины глазки, летом их бывает!

Бережно держу я стебелек: он нежен, сквозь лед просвечивают жилки листьев — хочется обогреть его. Подышал осторожно, а стебель поник, по синим лепесткам как дрожь пробежала, и они сморщились. Спасая положение, я дохнул горячей, и синее растеклось в жидкую липкую грязь.

Обескураженно вытер я пальцы: фу ты, «глазки»! Сорняк, и больше ничего. О прополке забыли, развелась тут всякая дрянь!

Однако утешения, оттого что имел дело с сорняком, я не почувствовал. Бывало и раньше: дорогое самое, на что дохнуть не смеешь, обращалось в грязь, как этот нежный с синим, доверчиво распахнутым цветком выложенный инеем

стебель, заледенелый так, что издали сверкал он стеклянным осколком.

Полевой фиалке дано уходить осенью под снег прямо в цвету. Коченеет она под сугробами, зеленая, как ни лютуй стужа. Ждет весны, чтобы первой зазеленеть, расцвести раньше всех. Не знаю, все ли полевые фиалки столь стойки к холодам или только некоторые из них — какие-то особенные... Чего уж, сорняк!

Но какое дело мне, что фиалка в поле лишняя? Под снегом зиму перемотать, мерзнуть и все-таки не принять чужое тепло — это что-нибудь да стоит. Многое отныне они для меня значат — простенькие, такие вроде бы доступные аютины глазки, приди и сорви! Многое-многое, что не выразить словом...

МАТРЕШКА

ХВАТИЛ лиха! Долбишь лед пешней, соленый пот донимает, а у лунки засел — и ветер твой, и мороз. До берега — ого-го-го! И притулиться негде. Бросить бы все... Взять и бросить! Нельзя. Неловко. Потому что я не один. Компания, понимаете ли. И Сергей Васильевич упрямо верит в свою звезду. Посинел, с лица осунулся, но об отступлении с озера не веда с ним речи.

Завечерело наконец.

— Сматываемся?

Он ни слова. Рукой в косматой овчинной рукавице дрыг-дрыг. Подергивая коротким удилицем, соблазняет рыбу игрой блесны. Накануне Сергей Васильевич и меня соблазнял: «Жор, что ты! Окунь нахрапом прут, одни крупняки — по кило и больше! Жадничать не будем. Куда нам с рыбой? Возьмем килограммчика по три и пошабашим...

Снова делаю прозрачный намек, что пора уходить, и поглядываю в дальний конец озера. Там на снегу чернеют фигурки людей, лошади с санями — рыбаки приехали на тоню.

Сергей Васильевич — ни звука. Удилище, однако, задрывало пошибче.

— Пошел я, — сказал я и пошел.

Обернулся — он идет сзади.

Колхозным рыбакам повезло не больше нашего. Нагнали подвод, а грузить нечем. Посмеялись они над нами: на двоих один ерш! Но в подставленную авоську не скупой сыпнули окуней в придачу со здоровенным налимом.

Переживал Сергей Васильевич — страшное дело. Сопел, отворачивался, на скулах желваки.

До деревни нас довез в «газике» председатель. Дорогой налиим извивался, ловчил улизнуть. Мороз толстомясого не берет!

В избе хозяйка дала под рыбу таз с водой. Налим тотчас принялся буровить хвостом и выплескивать мерзлых окунишек на пол.

— Уху сварим? — спросил я компаньона. — Или на сковороду их?

Молчание. Сергей Васильевич дал понять — к рыбе, не им выловленной, он равнодушен.

Я достал нож. Примерился и располосовал налиму сытый белый живот. В прореху как вылетит окунь! Надо же, живой! Плесь — угодил в таз и заплывал, растопырив колючие плавники.

Живой и плавает, черт возьми! Пришлось его, как налима, оглушить. Чирк лезвием ножа — полезли из окуня снетки. Силен бродяга полосатый, наглотал же рыбешек! Белесые, обожженные желудочной кислотой, они просвечивают: кишочки зеленые — от водорослей, темные — от рачков и козявок.

Впервые за день Сергей Васильевич заулыбался.

— Матрешка! — воскликнул он и засучил рукава.

Мы принялись вместе чистить рыбу.

Следует, вижу, объясниться. Доказывать, почему не клевало, задача непосильная. Поэтому я сосредоточиваю внимание на том, как налиим превратился в «матрешку».

С окунем дело простое: не впадая на зиму в спячку, гуляет полосатик, и аппетит у него играет — берегись мелюзга! С налимом того проще: всем плохо — ему славненько. Подо льдом потемки, затхлая вода, холод, а у налима икромет. Испытывает толстяк прилив жизненных сил. Вообще он живуч! Попав в невод, щука, уж на что востра, и то теряется, а налиим и здесь отличится: почем зря лопает и лопает рыб.

А уха у нас была... М-м, до сих пор на языке тает, есть что вспомнить! Из «матрешки» уха! Ну ка, кто такую пробова?

УРОКИ

Ни свет, ни заря. Бегу, и колотит по боку самодельная сумка, визжит под катаниками снег. Перед Гольцовским полем оборачиваюсь, кидаю на деревню прощальный взгляд.

В окнах избы Анюхи-бригадирши багровеет огонь. Вот-вот постучится Дуня Рожина за угольками и унесет их на лопате: спичек нет, а печь топить и ей пора.

Зябнется. Ближе к рассвету сильнее мороз.

Темень — глаз коли. Дорога от Гольцова сплошь лесом. Впотьмах проскакиваю Куерму и Полюг, таежные ручьи с крутыми берегами. Вниз ноги несут, только держись, зато в гору карабкаться... Ладно, летом разве было легче? Когда учился косить, лен дергать, — легче, что ли, приходилось? Корчевали перелески под луга-новину, под пашню. Кусты вырубали на пожнях. А жатва? Уборка снопов с полей? Работа, работа с темна до темна...

Силуюсь представить первый выстрел войны. Или бомбу фашисты бросили на спящий город?

Фронт, он-то какой?

Гул канонады, грохот взрывов. Генерал («голова повязана, кровь на рукаве») саблей взмахнул: за мной... ур-ра!

Застрочит пулемет,
Полетит самолет,
И помчатся лихие тачанки...

шепчу я, переиначивая слова довоенной, любимой нами, мальчишками, песни.

На сколько километров зараз отбросят врага? В школу хожу пешком — и то получается в день двадцать четыре километра. А на тачанке, да кони-вихри, да пулемет «тра-та-та»...

Чего уж, далеко ускачут кони, не дождется меня война...

Почин утра принадлежал корольку: пикнет в хвое, как паутинку оборвет, и синиц перебудит, разгонит зайцев по укрomным лежкам.

Забрезжило. Слитно, единой громадой темнел лес, ствол к стволу — плечо к плечу. Утро внесло ясность, что держатся деревья всяк по себе, отчужденно щетинят хвою. Что же вы это? Худо, не продохнуть, до того тяжело в темень и стужу — вот и жметесь к плечу плечо; стало светлей — и сразу вы друг от друга подальше.

Снег мелкий. Не прикрыт им, зеленым-зелен брусничник. Корневища елок пересекают колею: будто леший разлежся, через дорогу ноги вытянул. Споткнись — он и захохочет. «Хо-хо-хо!»...

— Хо-хо,— замирая, теряется в увалах чащи совиный крик.

Лес... Хочу его раскрыть, но не дается. Ускользает, рассыпается на мелочи: там следок птичий, тут мох на пне подушечкой, здесь елка-скрипунья.

Цельную картину хочется получить, а лес взамен дает лишь свое настроение — хвойного покоя, снежной предзимней печали...

Час ранний. Белки спускаются наземь. Можно дятла позвать. Он мой хороший знакомый. С лета, как был дятел по-младше, он красную шапку носил. Во все темя! К зиме дело — сбил дятел шапку на затылок и задается, важничает.

Постучать по пню палкой, подражая стукотне клюва, тотчас дятел явится. Заорет, рывками бросаясь от лесины к лесине: «Ки, ки, ки!» Кто в мои пни бьет? Кто на моих червяков-закорышей зарится?

Вдоль кромки обрывистого берега Городишны петляет дорога и выводит в сосновый бор Пошкало. Шесть километров позади. Это тем не менее не середина пути. Другому отсчету учат дальние дороги, ведь всего трудней последние к цели шаги...

Рву походя бруснику. Проголодался? Какое там, если и сыт не бывал! О хлебе забыто давно, с собой беру в школу картофельные лепешки.

В городе бы жил. А то приехал к бабушке на каникулы... и вот — отец на фронте, мама под Кандалакшей на оборонных работах, старший брат в море матросом. Распалась семья...

Эх тачанка-ростовчанка,
Наша гордость и краса,
Пулеметная тачанка,
Все четыре колеса!

Расступился бор, впереди забелело: во весь оком светло и зыбко. Поля, луга. Холмы и холмы, синее залесье. Деревни россыпью изб, одиночные липы. Крошечные избы, серые-серые избы...

Выше других — холм Мыгра. Развалины церкви. Старинная, говорят, была церковь. Ее разобрали на кирпичи, а до нее холм венчала крепость. От тех времен крепость, когда Брусенец, сухонское селенье, слыло за город. Пролегала здесь дорога на Великий Устюг и дальше к Уралу, через Урал в Сибирь, вплоть до Великого океана. Наверняка помнит земля моих дедов-прадедов вековые эти деревеньки Быково, Киселево, помнит, как двигались ратники гонять мятежного князя Шемяку или биться у стен Троице-Сергиевой лавры, спасти Москву под Бородино... Было, было!

Перед волоком, путиной дальней, поди, крестились мои предки на избы, на поля и верили: быть полям на холмах, быть деревням — и Руси быть!

Ширь, простор. Земля и небо, и больше ничего.

Тихая моя родина, отчие края, чего ж я вас стыдился до сих пор и вспоминать избегал?

Вытягивается из Быкова обоз. Наверное, с хлебом...

Ну, давай-ка шагай, а то к звонку опоздаешь!

Так я ходил в школу. Дождь ли, мороз ли — изо дня в день. Иначе нельзя. От прежней жизни одно и уцелело — уроки... Шагай, шагай, не опоздай к звонку!

Зима нагрязнула рано, и, помню, мело в тот день. На Пошкале затерялась погребенная суметами дорога. Пришлось брести снегом-целиком. Ogлохший от воя вьюги, заплутал я, выбился куда-то на задворки деревни Пригорово, удлинив без того неблизкий путь на лишнюю версту.

В классе дуло в окна. Застывали чернила. Лепешка в сумке смерзлась в камень.

Нет-нет и мимо школы волоклись женщины, впрягшись в санки. На Тарногу они, солдаты, горожанки из эвакуированных, на Тарногу! Многие шли с ребятишками. Авось удастся поменять им барахлишко на что-нибудь съестное в хлебной стороне...

Осмерклось, когда утихла непогода. Занималось тусклое зарево, там, где вставать луне.

На Пошкале ни следа, дорогу заподлицо зализала метель. Стужа окрепла, жмет и давит. В плеске крыльев вырвались из сумета тетерева — я глазом не повел. Коснулась щеки белая пушинка, почувствовал ее, показалась теплой.

Тащился я, черпая в валенки. С утра ли вымотался, давала ли знать себя скопившаяся за последние месяцы усталость, постоянное недоедание, но заплетались ноги.

Спотыкаюсь и падаю. Встаю и бреду, местами проваливаюсь в снег по пояс.

Всего тяжелей последний урок. Ну же... Иди! Иди!

Лечь бы, свернуться калачиком и закрыть горячие веки... Иди!

Колоче лучились звезды. Преследовала неотступно луна: круглый ледяной зрак ее возникал то сзади, то справа, то слева, по мере того, как петляла дорога, высматривал и ждал чего-то. Шаталась луна, качались сосны. Опустившись на снег перевести дыхание — луна замрет, прянув выше деревьев, чтобы заливать испытным светом прогалины, непроницаемо сгущать тени. Поднимешься — луна ускользнет за стволы

и сучья, готовая опять паялить круглое свое око, ждать и ждать...

Волк, как выяснилось назавтра по следам, увязался за мной на Пошкале, напротив заречной деревни Чернецово. Не оглянись я невзначай — долго бы зверя не замечал.

Я сидел, преодолевая мучительную слабость, сидел и он — остроухий и лобастый. Зверь, осиянный луной, выглядел неправдоподобно светлым. Выпрямив передние лапы, волк вываливал красный язык. Шерсть на груди, на шее была густа, пушилась, точно воротник. Пар дыхания обволакивал морду, мерцая радужным ореолом.



Волк. В многоснежье он бродит, используя дороги, лыжни и просеки.

Бред? Наваждение? Откуда он взялся, только его не хватало!

— Чего ты... — поднялся я, шатаюсь. — Брысь!

Я зажмурился, помотал головой и разлепил склеиваемые морозом ресницы. Зверь исчез. Но что он мне отнюдь не почудился, это было ясно.

Полюг. Куерма. Под гору бегом, вверх на кручу с бато-жком...

Луна качалась, качались черные, в меховой оторочке изморози придорожные ели. Блестками сверкал снег.

Наклонясь, шагал я: упаду — так вперед, в снег лицом. Не смел остановиться: придержу шаг — дорогу заступит волк.

Он не показался больше.

Синели следы. Свежие, но только заячьи, да у Гольцова из болота к полям протрусила лиса.

На другой день удалось проверить: с дороги волк прыжком перенес грузное, вязнувшее в сыпучем, перемолотом метелью снегу тело за муравьище, пролез сквозь кусты, по берегу съехал на лед. По реке он промчал в карьер, перед Полюгом перемахнул изгородь и, забежав далеко вперед, лег у дороги. Снег, притаивая под ним, обледенел: зверь, вероятно, не покинул засаду и после того, как я ее миновал.

Что удержало зверя от броска?

Напасть — упасть... Видно, и у зверя есть что-то такое, что его сдерживает: упадешь — а как еще встанешь!

Потом, зимой, не раз встречались волчьи следы по дороге, я привык к ним.

То было в 1941 году, в декабре, и я теперь понимаю, что был я тогда счастлив. Сносить нужду, холод, когда терпят все, быть, как все, — чего ж еще-то желать?

Много уроков дает жизнь. И дороги — тоже. Сколько их было впереди, дорог! А дорога в школу помнится, уроки ее не забыты. Ими я держусь, если бывает мне тяжело, так, что невмочь. Трудно — это ничего. Это под гору бегают бегом...

ЗАГАДКИ ДЕДА- ВСЕВЕДА

В ЕЛЬНИКЕ СПАЛЬНЯ,
НА ОЛЬХЕ КУБЫШКА

Дожили, дождались: зима!

Туру-туру, пастушок,
Далеко ли трубишь?
От леса до леса,
Через болота, светлые полянки.
А за лесом что?
Трои сени,
Трои ворота —
Шелком шиты,
Гвоздями биты,
Серебром крыты...

Для морозов и снега, для ветров метельных ворота настезь стоят. Как мы за порог-то ступим, что найдем, если жизнь лесная стала тихая, от посторонних сама зима ее бережет сугробами, лютой стынью? А навестить земляков, под соснами, березками погостить мне надобно. Вася-внучек спрашивает: «Раскрой, дедушка, секрет».

Он, вишь, за городом бывал и ничего, мне пишет, не видал, зря ноги мям, нос морозил.

Ох-хо-хонюшки, жили-были два Афонюшки, третья Наташка, сладкая кулажка! Легко ли, ответьте, безногому бежать, безрукому хватать, голому в пазуху класть? Как у нас-то печка вприсядку пляшет, жаром пышет, комар мак толчет, курица избу метет — мела-мела, вымела, положила голичок под порожечек! Ну, это еще не сказка, не присказка, диво все впереди, где на ольшине кубышка, полна добра, где в ельнике спальенка, пуховая постель...

Вставай-ка на лыжи, двигай к бору поближе. Кто хочет, следопыты, с собой вас беру. Эй, передний, не убегай, задний, не отставай. Шуметь, кричать запрещается!

Мы в лесу дома, однако у птиц, у зверей в гостях, так что каждый, кто стар, кто мал, ведем себя по-людски. Наше дело смотреть и слушать, других заданий сейчас нету. Не загадки будем искать — отгадки.

Куда сперва отправимся — к лосиному дворцу или в медвежью деревню? День наш, везде поспеем, по пути нам ко всем секретам.

Слышите, дятел в сухостоину колотит? Известный старатель, долбит прокаленную стужей древесину, по бору стук-бряк.



Вася, неужто дятла ты за городом не встречал? Конечно, обыкновенный дятел, его имею в виду.

Встретил, так чего ж ты у лесного моего приятеля удочки с крючком не приметил? Вот-вот, был бы тебе и тайник, и диковинка: удит в красной шапке рыбачок по деревьям, по пням и постоянно на голый крючок!

Долбил дятел лесину клювом, как рыбак лед пешней. До гнили добрался — и раз, в пролом, как в лунку, сунул язычок. Длинный, что тебе леска, у дятла язык, на конце костяные зазубрины. Готово, зацепил букарашку, в рот поволок! Ай да рыбак — на сухом берегу с уловом!

Кончился бор. Лощина, густо заросшая ивняком, осинником, молодыми сосенками.

Тс-с, ну-ка молчок! Сойка кричит, не иначе, как о нас, гостях, оповещает таежную округу. Синицы-гайки крик подхватили, пищат, гомонят, и поручусь, что опустел дворец...

Точно, мы во дворце: снег вдоль и поперек примят, ископчен, везде по ивняку заломы, у сосен ветки обкусаны вместе с хвоей.

Зимой лоси сбиваются в небольшие стада. Выберут угол, укрытый от ветров, чтобы вдоволь корма, и держатся в нем подолгу. Следы, ведущие в угол, метель зарывает, новых звери не делают. Нипочем не заподозришь, где обретаются таежные исполины! Такие стойбища и носят название дворцов или дворов. Порой лоси ими пользуются из зимы в зиму.

Того не зная, синицы при лосиных дворцах сторожами, сойки — привратницами. Никого чужого не пропустят, обязательно окликнут, предупредят хозяев.

То и получается: мы с вами чужие, как ни набиваемся в друзья...

Смолкла птичья разноголосица. Тишина. Лишь чечетки под ольхами перепархивают, подбирают что-то, последние крохи со снега сметают.

Снег, по лесу снег, будто скатерти белые ради праздника. Поесть вот нечего, голодный и крошке рад!

Торчит из снега лосинный, с осени сброшенный рог — весь изгрызен.

Тоже с голоду, а? Может, волк зубы так точил?

Не пугайтесь, тут мышки пировали. Они лосиные рога гложут. А также белки, зайцы. Питаясь круглый год растительными кормами, эти зверюшки испытывают нужду в минеральных солях, какими не бедны, кстати, лосиные рога. Проста отгадка лесной загадки?

С рогами покончили, займемся копытами. Видите следы? Будто свиньи набродили. Свиньи и есть: бурая щетинка, черный пятачок. Кабаны. По-настоящему, их в деревню не угонишь, в хлев не запрешь!

До земли взрыт снег! Выбросы палых листьев, мха сверху заброшены прутьями, хвоей, травяной ветошью...

А там что? Поднимите-ка вверх глаза! Вон-вон чернеет в сучьях!

Не видите? Помочь не могу, раз не видите...

Но у подножья сосны заметили коврик? Мохнат он, зеленый. Между тем сеются и сеются с сосны хвоинки — пусть будет коврик шире и пышней!

Ну да, глухари. Наконец-то их разглядели! Щиплют глухари с сосны иголки, знать, обедают. Мерзлая хвоя — пища грубая. И жевать глухарям нечем, зубов нет. Ничего, они вышли из положения: каждый с собой мельницу носит, каменные жернова.

Осенью глухари вылетают к дорогам, на берега рек. Сотнями заглатывают камушки, дресву, которые зимой в их желудках будут, как жернова, перетирать, молоть мерзлые иголки, заледенелые пруточки.

Кто не знаком с птичьими повадками, тот дивится, что глухари — поди с голоду! — камни глотают.

Осина старая, ствол ее в дуплах. То-то, поди, в непогоду гудит — лещева дудка, да и только! В отверстии нижнего дупльца дрожит светлый волосок.

Рядом на ольхах гнезда дроздов. Где вы, голосистые таежные певцы? Сулит ли вам судьба вернуться обратно в родимый край? В одно гнездо с горкой снегу насыпало, соседние вроде бы пустые...

Эй, эй, знатоки, кому я говорил — не шуметь, не вольничать! В гостях мы и напомним, что близко медвежья деревня.

Не пора ли оглобелки назад поворачивать, как считаете? И так хлопот навели. Из дворца лосей выгнал кто? Кто синиц и сойку напугал? Не хватает того, чтобы в медвежьей деревне устроили переполох. Смотрите, медведь, он костоправ, не любит, когда его беспокоят.

Деревня-то где? А вон болото, так там, на сосновом островеке среди топей.

Чаще всего Михайло Иванович на зиму устраивается в одиночку. Бывают и скопления берлог — до двенадцати в одном месте. Как вот там, в болоте на сухом бугре. Если много берлог, целое скопление, тогда говорят — «медвежья деревня».

Просто, верно?

Просто, конечно, просто, да кругом нас пусто, хотя явились мы в гости, с добрыми намерениями — к медведю в берлоге, к лосю у осинки! С лесными жителями чтобы ладить по-соседски, мало добрых намерений: запасайся заранее умением. Ищи загадки, копи отгадки. Хочешь с природой жить в мире и согласии, держись правила: «Взял лычко — отдай ремешок». Возвращай ей долги, помни: «Задел рукой — заплатишься головой». Бывает и так, дорого платим...

Ну а новые тайнички взяли вы на заметку? Как же, попадались диковинки, раз обещал вам на ольхе кубышку, под елкой спаленку!

Осина — квартира летяги. Зверюшка в нижнем дупле сама живет, верхние, наверное, хотела приспособить под склады, но показались дупла мелкие. Под кладовку, дорогую кубышку, заняла летяга гнездо дрозда. Оттого оно, единственное, с верхом набито с берез почками, с ольшин сережками. Другие порожние. Дупце, в котором обосновалась летяга, помечено шелковистой пушинкой.

Спальня в ельнике устроена кабанами. Для глухарей, тетеревов, рябчиков снег зимой — одеяло. Зароются птицы в снег, как укутаются. Лось на снег ложится отдыхать, как в накрахмаленные хрустящие простыни. Кабаны же всех привередливее: мха навываывают и травяной ветоши, еловых лап наломают и ложатся на подстилку, словно на пуховую перинку...

На том прощаемся: мне о лесе говорить, то до веку не кончить!

СОДЕРЖАНИЕ

Январь — крыша зимы	3
Февраль-бокогрей	26
Март — позимье	47
Апрель — снегогон	63
Май — травень	78
Июнь — червень, лету почин	106
Июль — сенозарник, макушка лета	129
Август — жнивень, закат лета	156
Сентябрь — хмурень-новосел	179
Октябрь — листобой	204
Ноябрь — ледень	224
Декабрь — ворота зимы	245

МЕСЯЦЕСЛОВ

Полуянов Иван Дмитриевич

Редактор В. К. Лиханова

Оформление художника Э. В. Фролова

Художественный редактор В. С. Вежливцев

Технический редактор Н. Б. Буйновская

Корректоры Н. К. Галкина, Н. С. Дурасова, А. А. Фонтейнес

Сдано в наб. 17.V.1979 г. Подп. к печ. 8.VIII. 1979 г. Формат 60×84/16.
 Физ. печ. л. 17,0. Уч.-изд. л. 17,249. Усл. печ. л. 15,81. Тираж 50 000.
 Цена 1р. 20 к. ГЕ04560. Заказ 4419.

Северо-Западное книжное издательство,
 Вологодское отделение, Вологда, Урицкого, 2.
 Областная типография, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.